

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

---

ВОПРОСЫ  
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5

СЕНТЯБРЬ—ОКТЯБРЬ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»  
МОСКВА—1975

## СОДЕРЖАНИЕ

В. И. Георгиев (София). Индоевропейское языкознание сегодня . . . . .	3
---	---

### ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. С. Мельничук (Киев). Философские вопросы языкознания . . . . .	10
А. М. Щербак (Ленинград). К вопросу о происхождении глагола в тюркских языках . . . . .	18
Д. И. Эдельман (Москва). К генезису витезимальной системы числительных . . . . .	30
Э. М. Волоцкая (Москва). К сопоставительному описанию славянских языков . . . . .	38
Т. Г. Винокур (Москва). Синонимия в функционально-стилистическом аспекте . . . . .	54

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

И. А. Оссовецкий (Москва). О языке русского традиционного фольклора . . . . .	66
Э. В. Кузнецова (Свердловск). Части речи и лексико-семантические группы слов . . . . .	78
О. Д. Кузнецова (Ленинград). Слова с протетическим <i>i</i> в говорах русского языка . . . . .	87
А. Т. Кривонос (Калинин). Система «взаимопроницаемости» неизменяемых классов слов . . . . .	93
Э. Перуцци (Флоренция). Микенские языковые элементы в латыни. . . . .	104
П. Ондрус (Братислава). К вопросу о характеристике и классификации социальных диалектов . . . . .	110
К. И. Ходова (Москва). Варьирование и синонимия в грамматике старославянского существительного . . . . .	114

### ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

А. А. Алексеев (Ленинград). Академик А. И. Соболевский — историк русского литературного языка . . . . .	127
---	-----

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Рецензии

Н. А. Кондрашов (Москва). «O marxistickú jazykovedu v CSSR» . . . . .	140
Л. Р. Зиндер, В. Б. Касевич (Ленинград). <i>F. H. Kortlandt. Modelling the phoneme</i> . . . . .	144
В. В. Колесов (Ленинград). «Словарь русских народных говоров» . . . . .	148
Е. А. Левашов (Ленинград). А. А. Брагина. Неологизмы в русском языке . . . . .	153
Б. З. Букчина, Л. П. Калауцкая (Москва). «Орфографический морской словарь» . . . . .	156
Ф. М. Березин (Москва). По страницам новых журналов . . . . .	160
Новые издания . . . . .	163

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хронологические заметки . . . . .	164
-----------------------------------	-----

### РЕДКОЛЛЕГИЯ

О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев,  
Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), В. З. Панфилов (зам. главного редактора),  
Б. А. Серебrenников, В. М. Солнцев (зам. главного редактора),  
О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин (главный редактор), В. Н. Ярцева

Адрес редакции 103031, Москва К-31, Кузнецкий мост, д. 9/10 Тел. 228-75-55

Зав. редакцией Г. В. Строкова

В. П. ГЕОРГИЕВ

## ИНДОЕВРОПЕЙСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ СЕГОДНЯ

После дешифровки хеттского языка и языковедческих исследований тридцатых годов индоевропейское языкознание вступило в новый, современный период своего развития. В течение последних пятидесяти лет материал, которым располагают индоевропейцы, значительно увеличился по количеству и углубился по древности. В отношении хеттского языка ныне в нашем распоряжении находится новый лексический материал, объем которого превышает приблизительно на 50% словник «Словаря» Й. Фридриха и его трех дополнений, опубликованных между 1952 и 1966 гг. Новейшие исследования хеттского, лувийского и палаяского языков способствовали решению разнообразных проблем их грамматики и лексики. После открытия иероглифических надписей в 1949 г., дошедших до нас в виде билингвы, сведения об иероглифическом лувийском языке значительно расширились. Изучение этих языков II тысячелетия до н. э., древнейших из индоевропейского языкового семейства, революционизировало индоевропеистику и способствовало ее бурному развитию. Реконструкция индоевропейского праязыка младограмматиками, покосившаяся главным образом на данных греческого и древнеиндийского языков, в наши дни представляется устаревшей. Данные хетто-лувийских языков привели к существенным изменениям старых концепций. Вообще эти языки дали значительный толчок к обновлению индоевропеистики.

В 1933 г. К. Бак писал: «Большинство древних языков Малой Азии (лидийский, карийский, ликийский) — это неиндоевропейские языки, принадлежащие группе..., которую уместно назвать анатолийской»<sup>1</sup>, и такая была господствующая концепция того времени. В противоположность ей в наши дни известно, что лидийский, ликийский, а по всей вероятности, и карийский — языки индоевропейского происхождения.

Недавнее открытие обширной ликийско-греческо-арамейской трилингвы, которая уже опубликована, вносит значительный вклад в изучение этого позднелувийского диалекта и ставит перед индоевропеистикой новые проблемы. Доказано, что лидийский является позднехеттским диалектом или по крайней мере близко родствен хеттскому. Карийские надписи еще не дешифрованы, однако на основании карийских глосс и имен собственных ясно, что и этот язык I тысячелетия до н. э. принадлежит к хетто-лувийской группе. К этой же группе следует отнести также этрусский язык, являющийся западномалоазийским и близкородственным лидийскому и хеттскому. Эта концепция завоевывает в последнее время все больше сторонников.

Дешифровка микенских надписей, датируемых второй половиной II тысячелетия до н. э., внесла значительный вклад в изучение греческого языка и поставила совершенно новые проблемы перед индоевропеистикой. Эта дешифровка, как и так называемая «пеласгийская теория», т. е. уста-

<sup>1</sup> См.: C. D. Buck, Comparative grammar of Greek and Latin, Chicago, 1933.

новление индоевропейского происхождения догреческого языка, показала ошибочность господствовавшей долгое время теории П. Кречмера о наличии доиндоевропейских языков в Эгейской области.

Существенно пополнились наши знания и о других древних балканских языках. Если раньше считалось, что на Балканском полуострове в древности существовало только три древних индоевропейских языка — греческий, фракийский и иллирийский, то теперь установлено, что языковой материал, который приписывали фракийскому, принадлежит к трем достаточно различным индоевропейским языкам — к фракийскому, фригийскому и дакийскому. Тщательное изучение фригийских и нескольких фракийских надписей, а также одной дакийской, найденных в последнее время, несомненно внесли определенный вклад в индоевропеистику.

Несмотря на то, что данных о языках западной половины Балканского полуострова меньше, можно уже с большой вероятностью считать, что здесь в древности был распространен не только иллирийский язык, но еще два или три других индоевропейских языка: иллирийский на юго-западе, далматинский в центре, паннонский на севере (в Паннонии) и близкородственный венетскому либурнийский на западе.

После того как было выяснено, что венетский язык отличается от иллирийского, полностью отпала иллирийская теория Г. Крае, господствовавшая главным образом в немецком языкознании в сороковых и пятидесятых годах. Гораздо лучше стали известны и так называемые «малые языки» древней Италии. За последние несколько десятилетий были найдены новые венетские надписи и стало очевидно, что венетский язык — это не иллирийский, а особый индоевропейский язык, близкородственный латинскому. Уже окончательно доказано, что ретийский язык, на котором говорили в центральной области Альп в последние века до н. э., представлял собой диалект этрусского языка. Новейшие исследования лепонтийских надписей в западных Альпах показали, что это особый кельтский язык.

Значительно увеличилось число мессапских надписей, но, к сожалению, в них еще многое остается неясным. На основании найденных недавно элимских надписей в северо-западной Сицилии высказано очень вероятное предположение, что элимский язык близко родствен хеттскому и этрусскому.

В области изучения индоиранских языков также получены некоторые новые данные. Неоспорим тот факт, что кафирские (дардские) языки, сегодня по существу индийские, представляют третью арийскую языковую группу с характерными фонематическими особенностями. Найденные недавно хотано-сакские тексты внесли определенный вклад в изучение иранских языков.

В последнее время разгорелся спор о так называемых праиндийских словах и именах собственных, встречающихся в некоторых хеттских и Переднеазиатских документах. Тогда как прежде значительное количество таких имен некритически толковались как праиндийские, теперь почти все подобные интерпретации отрицаются. Нельзя, однако, отрицать праиндийское происхождение большинства этих слов и имен собственных, являющихся важным свидетельством праиндийского языка II тысячелетия до н. э. Изучение тохарских языков шаг за шагом продвигается вперед.

Если младограмматикам были известны в качестве древнейших индоевропейских языков лишь ведический и гомеровский, восходящие к концу II тысячелетия, но дошедшие до нас в более поздних записях, то теперь стал известен целый ряд языков II тысячелетия до н. э.: хеттский, лувийский, палайский, микенский греческий и праиндийский. Для индоевропеистики это исключительно ценно.

Новые данные дали возможность уточнить ряд вопросов реконструкции праиндоевропейского языка, а также решить некоторые глоттогонические проблемы.

Однако исследование индоевропейских языков обогатилось в наши дни не только за счет значительно возросшего количества материала, но главным образом вследствие применения различных методов, например, сравнительно-исторического, структурального, ареального, математических методов, индуктивного и дедуктивного и т. п. Особенно важные результаты получены в итоге комплексного применения двух, трех или даже более методов.

По сравнению с младограмматическим периодом существенно изменились наши взгляды на (диахроническую) фонологию индоевропейского праязыка. Тезис о наличии трех ларингалов  $l' = H_1$ ,  $h = H_2$ ,  $h' = H_3$  / уже принят почти всеми языковедами. Дальняя (ретроспективная) реконструкция при помощи ларингалов дала возможность проникнуть в далекое прошлое индоевропейского праязыка, революционизировала изучение его фонологии и морфологии. История хеттского языка явно указывает на сравнительно позднее возникновение долгих гласных. Тезис о моновокальной структуре индоевропейского корня или слова, представляющего собой однослоговое образование «согласный + гласный + согласный» ( $C_1eC_2$ ), уже находит многих сторонников. Это положение позволяет глубже проникнуть в развитие первоначальной праиндоевропейской речи. Отпала гипотеза К. Бругманна о существовании интердентальных спирантов в индоевропейском праязыке. Теория *septum — satem* и тройственное деление гуттуральных согласных, канонизированная К. Бругманном в его «Grundriss»'е, все еще имеет многих сторонников, преимущественно в немецкой лингвистике. Однако тезис о двойственном делении гуттуральных согласных и о возникновении аффрикат и шипящих путем палатализации приобретает все больше сторонников.

Наиболее значительные изменения произошли в области морфологии. Выдвинутое К. Бругманном в конце XIX в. предположение о вторичном происхождении разделения грамматического рода на мужской и женский можно уже считать окончательно установленным. Первоначальное положение сохранилось в хетто-лувийских языках, где существует лишь общий и средний род. В греческом и латинском языках более древнее состояние сохранилось в словах мужского и женского рода с основой на  $-ā$  и на  $-o-$ , а в славянском — в словах мужского и женского рода с основой на  $-ā-$ .

Индоевропейская форма основ на  $-ā-$  продолжает праиндоевропейскую форму на  $-ehi/y$  ( $i/y$  в зависимости от сандхи), сохранившуюся в лувийском ( $-ahi$ ), в хеттском ( $-aai$  из праи.-е.  $-ehi$ ), а также в различных флективных формах других индоевропейских языков, например, ед. ч. дат. пад.  $-āy-ai$ , род. и абл.  $-āy-ās$ , зват.  $-e$  и др. в древнеиндийском, зват. пад.  $γόναί$  в греческом, им. пад. *quae* (из праи.-е.  $*k^wehi$ ) в латинском, твор. пад. *женож* в древнеболгарском и др. В большинстве индоевропейских языков, однако, в им. пад. ед. ч. была обобщена форма сандхи  $-ā$ , оказавшая влияние на трансформацию других падежей.

В сущности, в некоторых индоевропейских языках в так называемых основах на  $-ā$  (праи.-е.  $-ehi/y$ ) совпали согласные основы, оканчивающиеся на  $-eh-s$ , как, например, хетт. *ishaas* «господин, государь» из праи.-е.  $*\text{ʷ}oys-eh-s$ , др.-инд. *panthāh* = авест. *panthā* «путь» из праи.-е.  $*\text{p}ont-eh-s$ , греч.  $\beta\omicron\rho\epsilon\acute{\iota}\varsigma$  «борей (северный ветер)» из праи.-е.  $*g^worey-eh-s$  и т. п.

В индоевропейском языке не было дифтонгических основ. Так называемые «дифтонгические основы» — не что иное, как обыкновенные основы на *-i-*, в которых исчез первоначальный ларингал перед *i*: праи.-е. \**dye<sup>h</sup>-i-s*, \**g<sup>w</sup>e<sup>h</sup>-i-s*, \**neh-i-s*. Это были *nomina agentis* с приблизительным значением «светящийся», «рыкающий, рыкач», «плавающий, пловец». С другой стороны, греческие личные имена и *nomina agentis*, оканчивающиеся на *-εως*, представляют собой первоначальные *nomina agentis* на *-i-s*, парадигма которых была трансформирована под воздействием формы звательного падежа на *-ευ* (при *nomina agentis* и личных именах звательный падеж имеет большую частотность употребления) и слова *Zsōs*.

Еще более значительные перемены и новые положения находим в области глагольных категорий. Теперь уже стало возможным представить общую картину возникновения глагольных категорий. В индоевропейском языке первоначально не было глагольных времен, а только три глагольных вида — несовершенный (или дуративный), совершенный (или моментальный) и перфектный (или результативный), выражавший состояние. Времена суть понятия абстрактные, логические. Виды выражают конкретные действия или состояния, которые можно наблюдать. Все абстрактные понятия произошли из конкретных. Так, категория глагольного времени возникла в праиндоевропейском или общиндоевропейском на основе глагольных видов праиндоевропейского языка. Настоящее время (презент), выражающее действие продолжающееся, возникло из несовершенного (дуративного) времени. Его первоначальная форма сохранилась лучше всего в греческом языке, а отчасти также в хеттском, ведическом, авестийском и некоторых других языках. Его праиндоевропейская парадигма следующая:

	Праи.-е.	Греч.	Хетт.	Индоиран.
Ед. 1.	$C_1eC_2-e^c$	φέρω	<i>sipantah(+ hi)</i>	авест. <i>spasy-ā</i>
	$C_1eC_2-eys$	φέρ-εις	<i>unn-is(-teni)</i>	
	$C_1eC_2-ey$	φέρ-ει	<i>sipant-i</i>	вед. <i>śáy-e</i>
Мн. 1.	$C_1eC_2-mes$		( <i>ess-weni</i> )	
	$C_1eC_2-tes$	лат. <i>fer-tis</i>		
	$C_1eC_2-onti$	φέρ-ουσι	<i>sipand-anzi</i>	<i>bhár-anti</i>

$C_1eC_2$  представляет собой корень или основу (этимологический минимум). Окончания — это личные или показательные местоимения или первоначально дейктические частицы. Относительно  $-e^c$  ср. греч.  $\acute{\epsilon}\tau\text{-}\acute{\omega}$  из праи.-е. \**e-g(e)-e^c*; относительно  $-eys$  ср. др.-инд. *eṣa* «этот» из \**ey-so*; относительно  $-ey$  ср. др.-инд. *ay-am* «этот» из \**ey-em*;  $-mes$  = литов. *mēs*, арм. *mek<sup>h</sup>* «мы»;  $-tes$ , вероятно, возникло из \**tu-es*, мн. ч. от \**tu* «ты».

Начальные гласные окончаний  $-e^c$ ,  $-eys$ ,  $-ey$ ,  $-onti$  были перенесены также на 1 и 2-е лицо мн. числа, так как существовала определенная трудность в спряжении глаголов, основа которых оканчивалась на носовой или дентальный. Таким образом возникли так называемые «тематические» гласные.

Первоначальная парадигма совершенного (моментального) вида была следующая:

Ед. число	Мн. число
1. $C_1eC_2-m$ ( $-m$ ).	$C_1eC_2-me$
2. $C_1eC_2-s$	$C_1eC_2-te$
3. $C_1eC_2-t$	$C_1eC_2-nt$ ( $-nt$ )

Различные формы морфем в рассмотренных двух парадигмах выражают собственно совершенный и несовершенный виды. В качестве окончаний совершенного вида выступают личные или указательные местоимения, а также первоначально дейктические частицы.

Эта парадигма сохранилась лучше всего в так называемом ведическом инъюнктиве, представляющем собой атемпоральное и амодальное выражение действия или состояния, например, вед. *dhāt* из праи.-е. *\*d<sup>h</sup>e'-t*, *sthāt* из праи.-е. *\*steh-t*.

В позднеиндоевропейском или общиндоевропейском из праи.-е. совершенного вида постепенно оформился аорист или претеритум. Например, в хеттском языке засвидетельствована следующая парадигма:

Ед. число	Мн. число
1. <i>ekun</i>	( <i>e</i> ) <i>es-wen</i> , <i>daa-wen</i> , <i>ekuen</i>
2. <i>daas</i> из <i>*de'-s</i>	( <i>e</i> ) <i>es-ten</i> , <i>daa-tten</i>
3. <i>arnu-t</i> , <i>tet</i>	<i>daa-er</i> , <i>eku-er</i>

В позднеиндоевропейском (по всей вероятности, в определенной диалектной области) прошедшее действие или состояние подчеркивалось особо с помощью наречия *é* «некогда», которое было ударным:

Греч.	из <i>*é-steh-m</i>	Др.-инд.
Ед. 1. $\xi\text{-}\sigma\tau\eta\text{-}\nu$		<i>á-sthām</i>
2. $\xi\text{-}\sigma\tau\eta\text{-}\varsigma$		<i>á-sthā-s</i>
3. $\xi\text{-}\sigma\tau\eta$		<i>á-sthā-t</i>
Мн. 1. ( $\xi\text{-}\sigma\tau\eta\text{-}\mu\epsilon\nu$ )		<i>á-sthā-ma</i>
2. $\xi\text{-}\sigma\tau\eta\text{-}\tau\epsilon$		<i>á-sthā-ta</i>
3. ( $\xi\text{-}\sigma\tau\eta\text{-}\sigma\alpha\nu$ )		( <i>á-sthāur</i> )

Так на основе парадигмы совершенного вида возникло глагольное время для обозначения прошедшего действия или состояния, т. е. так называемый корневой аорист в греческом и индоиранском языках.

С другой стороны, для обозначения того, что действие или состояние совершается или протекает на глазах у говорящего, в данный момент, т. е. в настоящее время, в конце форм парадигмы совершенного вида присоединялось наречие *i* «здесь (и теперь)». Таким образом возникла парадигма так называемых атематических глаголов:

Праи.-е.	Др.-инд.	Хетт.
Ед. 1. $C_1\acute{e}C_2\text{-}m\text{-}i$	<i>ásmi</i>	<i>eesmi</i>
2. $C_1\acute{e}C_2\text{-}s\text{-}i$	<i>ási</i>	<i>eessi</i>
3. $C_1\acute{e}C_2\text{-}t\text{-}i$	<i>ásti</i>	<i>eeszi</i>
Мн. 1. $C_1C_2\text{-}mes\text{-}i\text{-}(m\acute{e}\text{-}ni)$	вед. <i>smási</i>	<i>epuweni</i>
2. $C_1C_2\text{-}t\acute{e}\text{-}ni$	вед. <i>sthāna</i>	<i>epteni</i>
3. $C_1C_2\text{-}\acute{e}nt\text{-}i$ ( $\text{-}nt\text{-}i$ )	<i>sánti</i>	<i>asanzi</i>

Первоначальное различие в значениях этого в т о р о г о настоящего времени и рассмотренного выше п е р в о г о настоящего времени ( $C_1^cC_2\text{-}e^c$ ,  $C_1C_2\text{-}eys$  и пр.) было такое же, как в английском языке разница между present progressive tense и present simple tense, например, *he is writing* и *he writes*, или как в турецком языке между двумя настоящими временами — geniş zaman (например, *okurum* «читаю» и «буду читать») и şim diki zaman (например, *okuyorum* «читаю в данный момент»). Постепенно это различие исчезло уже в позднеиндоевропейском.

Первоначальная парадигма совершенного вида, в которой все окончания начинались согласным (*m, s, t, n*) не была подходящей для корней или основ, оканчивающихся на дентальный, носовой или на *s*. Поэтому она была преобразована по образцу парадигмы несовершенного вида (первого настоящего времени). Таким образом появилась новая парадигма:

Ед. число	Мн. число
1. $C_1eC_2-o-m$	$C_1(e)C_2-o-me$
2. $C_1eC_2-e-s$	$C_1(e)C_2-e-te$
3. $C_1eC_2-e-t$	$C_1(e)C_2-ə-nt$

Следовательно, перед носовым согласным появилось *o*, а перед *t* и *s* — *e* (как в *-eys, -ey*, однако *-e' > -oh* и *-onti*). Таким образом возникло так называемое тематическое спряжение.

Третий, или перфектный (результативный) вид выражал состояние. Его парадигма следующая:

	Праинд.-е.	Греч.	Др.-инд.
Ед.	1. $C_1\delta C_2-he$	$o\tilde{\delta}-\alpha$	<i>véd-a</i>
	2. $C_1\delta C_2-the$	$o\tilde{\delta}-\theta\alpha$	<i>vét-tha</i>
	3. $C_1\delta C_2-e$	$o\tilde{\delta}-\varepsilon$	<i>véd-a</i>
Мн.	1. $C_1C_2-me$	(гом. $\tilde{\delta}-\mu\varepsilon\nu$ , атт. $\tilde{\delta}-\mu\varepsilon\nu$ )	<i>vid-má</i>
	2. $C_1C_2-té$	$\tilde{\delta}-\tau\varepsilon$	( <i>vid-á</i> )
	3. $C_1C_2-(h)éyer(i)$	( $\tilde{\delta}\alpha\sigma t$ ), лат. ( <i>vid</i> )- <i>ēre</i>	( <i>vid-ūr</i> )

На основе этой парадигмы в позднейноевропейском возникло так называемое время *perfectum-praesens*. Как настоящее время оно смешалось (особенно в хеттском языке) с настоящим временем действительного залога, а также с настоящим временем среднего залога. Кроме того, как прошедшее время, оно оказало воздействие на претерит или аорист.

Здесь нет возможности изложить все подробности возникновения глагольных категорий. Хотелось бы указать лишь на возникновение среднего залога, которое произошло на основе следующих праиндоевропейских парадигм:

Ед.	1. $C_1éC_2-moy$	$C_1éC_2-me'm$
	2. $C_1éC_2-soy$	$C_1éC_2-so/-swe$
	3. $C_1éC_2-toy$	$C_1éC_2-to$
Мн.		1. $C_1éC_2-me(s)-dwo$
		2. $C_1éC_2-(y)u(s)-dwo$
	3. $C_1éC_2-ntoy$	$C_1éC_2-nto$

В этих парадигмах мы находим: дательный (*-moy*) или же винительный (*-me'm*) падежи личного местоимения 1-го лица ед. числа; *-soy, -toy* — дательный падеж возвратного и указательного местоимений; *-so, -to* — несклоняемые формы праиндоевропейского винительного падежа; *-swe* = др.-инд. *svá*, гомер.  $\tilde{\varepsilon}$  — возвратное местоимение. Относительно окончаний *-me(s)-dwo, -(y)u(s)-dwo* ср. литов. *mù-du* или *vè-du* «мы оба», *jù-du* «вы оба», гот. *wi-t* «мы оба», др.-исл. *i-t* «вы оба» (*-t* из *\*-dwo*). В семантическом отношении эти образования почти идентичны, с одной стороны, русскому *говорю себе, думаю себе*, болгарскому *говоря си, казвам си, мисля си*, французскому *je me dis, tu te dis, il se dit*, а с другой, — русскому *моюсь*, болгарскому *мия се*, французскому *je me lave, tu te laves*.

\*

В заключение мне хотелось бы остановиться также на двух существенных проблемах индоевропеистики — о прародине индоевропейских языков и о распаде индоевропейского праязыка.

Господствовавшая долгое время теория, определявшая прародиной индоевропейцев территорию Центрально-Северной Европы и временем их расселения или распада праязыка начало II тысячелетия до н. э., была окончательно отвергнута после открытия древних южноиндоевропейских языков.

Хеттский, микенский греческий и праиндийский, засвидетельствованные в середине II тысячелетия до н. э., сильно различаются между собой. Для наступления столь больших различий были нужны многие столетия и даже тысячелетия независимого развития упомянутых языков. Из этого следует, что индоевропейский праязык начал распадаться на отдельные группы или ветви в очень отдаленные времена, счет которым ведется в тысячелетиях. Несомненно, индоевропейский праязык существовал уже со времени появления современного человека, которое относится к позднему палеолиту (приблизительно 25 000 лет назад). Относительно того, где жили носители индоевропейского праязыка во время палеолита, нельзя утверждать ничего определенного.

С начала неолита и появления примитивного земледелия и скотоводства, приблизительно 8000 лет назад, население Европы начало оседать и множиться. К этому времени, по всей вероятности, восходят древние гидронимы и оронимы Европы. На основании изучения гидронимии древней Европы видно, что от Рейна на западе и до Дона на востоке, южнее Северного и Балтийского морей до Альп, включая Балканский полуостров, а, вероятно, также Западную Малую Азию, все названия крупнейших рек — индоевропейского происхождения. Этот факт указывает на то, что на этой огромной территории жили главным образом носители индоевропейских языков. При нынешнем состоянии индоевропеистики такая гипотеза представляется наиболее вероятной.

## ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. С. МЕЛЬНИЧУК

ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ<sup>1</sup>

Известно, что развитие языкознания, начиная с его выделения в самостоятельную дисциплину и на протяжении всей его истории, как и развитие ряда других наук, проходит в непосредственном взаимодействии с философией. Это объясняется не только тем, что коренные теоретические вопросы языкознания не могут решаться без ориентации на определенные общеполитические установки, но и тем, что научные данные языкознания имеют большое значение для самой философии. Вместе с тем использование и обобщение в философии результатов исследования языка, наряду с результатами разработки других частных наук, являются одной из форм все более усиливающейся взаимосвязи различных областей знания, которая способствует дальнейшей интенсификации познавательного процесса в целом. Эта взаимосвязь четко обнаруживает интегрирующую роль философии в синтезе различных областей научного знания<sup>2</sup>.

В системе марксистского языкознания философским аспектам изучения языка принадлежит ведущая роль. Методологический подход к решению любой проблемы марксистского языкознания целиком определяется философскими принципами диалектического материализма. В ряде работ советских и некоторых зарубежных лингвистов, посвященных различным теоретическим вопросам языкознания, рассматриваются отдельные положения диалектико-материалистической философии в их применении к изучению языка. Опубликованы также работы, в которых философские вопросы языкознания составляют основной объект рассмотрения<sup>3</sup>. При этом в различные периоды на передний план выдвигались то одни, то другие вопросы философии языка, хотя больше всего внимания в этих работах было уделено вопросам взаимоотношения языка и сознания. Само содержание философских проблем языкознания в опубликованных работах понимается неодинаково.

---

Настоящая статья представляет собой доклад, прочитанный на Первой Всесоюзной конференции по теоретическим вопросам языкознания, состоявшейся в Москве в ноябре 1974 г.

<sup>2</sup> Подробнее об этом см.: Ф. В. Константинов, *Современные проблемы марксистско-ленинской философии и задачи философской общественности*, ВФ, 1972, 1, стр. 34; Н. Р. Ставская, *Философские вопросы развития современной науки (Социологические и методологические проблемы интеграции науки)*, М., 1974, стр. 97—117, и др.

<sup>3</sup> См., например: Ф. П. Филипп, *О некоторых философских вопросах языкознания*, сб. «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970; В. З. Панфилов, *Взаимоотношение языка и мышления*, М., 1974; В. Г. Гак, *К проблеме соотношения языка и действительности*, ВЯ, 1972, 5; О. С. Ахманова, И. Е. Краснова, *О методологии языкознания*, ВЯ, 1974, 6, и др.

Рамки настоящей статьи не позволяют даже в самом общем плане рассмотреть проведенные до сих пор разработки философских проблем марксистского языкознания. Задачей статьи является рассмотрение лишь некоторых наиболее важных и актуальных на современном этапе философских вопросов языкознания независимо от того, в какой мере эти вопросы освещались уже в лингвистической и философской литературе. Цель такого рассмотрения заключается в том, чтобы еще раз подчеркнуть необходимость дальнейшей активизации работ в области философии марксистского языкознания.

Непременную предпосылку сколько-нибудь успешного рассмотрения указанных вопросов составляет определение того, какую именно проблематику следует относить к философии языкознания. В мировой лингвистической литературе этот термин нередко употребляется в слишком широком значении. Так, например, опубликованная в 1912 и 1927 гг. книга А. Доза под названием «Философия языка»<sup>4</sup> представляет собой изложение обычной лингвистической теории, обнаруживающей лишь отдаленную связь с философией. Книга О. Есперсена «Философия грамматики»<sup>5</sup> содержит не выходящую за пределы лингвистики авторскую интерпретацию некоторых общих свойств грамматической структуры языков, а также взаимоотношения между грамматическими и логическими категориями. Примеры подобного расширенного понимания философских вопросов языкознания можно встретить и в советском языкознании. Такое понимание сущности философских вопросов языкознания заметно расходится с принятым у нас пониманием предмета философии и ее отношения к частным наукам. С позиций марксизма-ленинизма философия определяется как наука о наиболее общих законах развития природы, человеческого общества и мышления и об отношении мышления к бытию<sup>6</sup>. Представляя собой своеобразный синтез самых общих выводов различных частных наук, философия вместе с тем проявляется в каждой науке в виде единых для всех наук теоретических и методологических моментов. Поэтому к философии языкознания может быть отнесено, с одной стороны, только рассмотрение общефилософских проблем на конкретном материале языка и науки о языке, с другой — только рассмотрение теоретических проблем языкознания (любой степени сложности и важности) с общефилософской точки зрения. отождествление философских вопросов языкознания со всей теоретической проблематикой языкознания как такового делает излишним употребление самого выражения «философские вопросы языкознания» и, вместе с тем, устраняет возможность выделения именно того круга вопросов, который, составляя важнейшую часть теории языкознания, одновременно относится и к собственно философской проблематике или же решается в языкознании с чисто философских позиций. Никакая собственно лингвистическая проблематика, рассматриваемая с позиций самого же языкознания (включая и такие наиболее общие проблемы, как, например, вопрос о коммуникативной функции языка, о критериях выделения частей речи или о соотношении лексического и грамматического в языке) к сфере философской проблематики языкознания не принадлежит. Не могут быть отнесены к этой сфере и конкретные вопросы взаимоотношения лингвистики с другими частными науками — математикой, психологией, историей и т. д. Единственное исключение здесь должно быть сделано для вопроса о взаимоотношении языкознания с самой философией.

<sup>4</sup> A. D o z a t, La philosophie du langage, Paris, 1927.

<sup>5</sup> О. Е с п е р с е н, Философия грамматики, М., 1958.

<sup>6</sup> «Философская энциклопедия», V, М., 1970, стр. 342—343

Определенное таким образом содержание философских вопросов языкознания существенно отличается от встречающегося преимущественно в философских работах понятия философии языка, выражаемого также в формулах «философские проблемы языка», «философский анализ языка» и т. п.<sup>7</sup> Под философией языка в последнее время становится обычным понимать раздел теории познания, разрабатываемый в основном философами и освещающий познавательную функцию языка, в частности, роль языка науки в построении и развитии научных теорий. Естественно, что основные положения понимаемой в таком смысле философии языка играют важную роль и при решении значительной части философских вопросов языкознания.

Наряду с выражением «философские вопросы (проблемы) языкознания» иногда употребляется его сокращенный вариант «философия языкознания». Однако это последнее выражение может иметь и особое значение, касающееся философского осмысления роли и задач языкознания, его места в общей системе наук.

Поскольку вопрос о взаимоотношении языкознания с философией в настоящее время приобрел исключительное значение в борьбе между диалектическим материализмом и неопозитивизмом, представляется целесообразным коснуться его здесь в первую очередь. Марксистское понимание взаимоотношения между языкознанием и философией основывается на приведенном выше общем положении о характере связи философии с частными науками. Вместе с тем, языкознание, как и другие науки, находится и в более конкретных связях с философией, специфических для каждой частной науки в отдельности. С одной стороны, языкознание представляет собой для философии объект рассмотрения и методологической организации с точки зрения теории познания. Только в этом смысле, и то с определенными оговорками, можно было бы сказать, что философия стоит над языкознанием, как и над другими частными науками. С другой стороны, в силу особой природы языка и его специфической функции в познавательной и практической деятельности человека, языкознание служит для философии источником важных сведений, касающихся главным образом конкретного характера взаимоотношений материального и идеального. При этом речь идет в первую очередь о специфической области материального, состоящей из материальных знаков языка. Именно различные аспекты этих взаимоотношений языкознания с философией и образуют основной комплекс философских вопросов языкознания.

В отличие от диалектического материализма, современный позитивизм, в частности философия лингвистического анализа, отказавшись от решения коренных философских проблем, пытается свести все задачи философии к анализу языка<sup>8</sup>. В большинстве случаев этот анализ заключается в описании семантики выражений языка и ее зависимости от контекста или ситуации речи, причем лингвистические философы иногда открывают в этом плане давно открытое языковедами. Важность «открываемых» таким образом особенностей языка иногда чрезмерно преувеличивается. Это касается, например, сравнительно хорошо освещенных в мировом языкознании фактов зависимости значений конкретных единиц языка от контекста или речевой ситуации, шире — от специфики функциональных сти-

<sup>7</sup> Ср., например: Г. А. Б р у г я н, Язык и философия, сб. «Философия и современность», М., 1971, стр. 322, 323, и др.

<sup>8</sup> См.: L. W i t t g e n s t e i n, Philosophical investigations, Oxford, 1953. Критический анализ лингвистической философии см. в работах: М. С. К о з л о в а, Философия и язык, М., 1972; М. К о р н ф о р т, Марксизм и лингвистическая философия, М., 1968; Э. Г е л л н е р, Слова и вещи, М., 1967; В. А. Л е к т о р с к и й, Аналитическая философия сегодня, ВФ, 1971. 2.

лей, — фактов, которые лингвистическая философия пытается представить в качестве подтверждения своей концепции о том, будто единый общенародный язык состоит из бесконечного множества частных языков, определяемых конкретной речевой ситуацией и содержащих языковые единицы, несоставимые в плане значения с формально тождественными им единицами, употребляемыми во всех других случаях. Выступивший на XIV Международном философском конгрессе (Вена, 1968) с острой критикой лингвистической философии английский философ С. У. К. Мандл в своем ранее опубликованном докладе писал: «Главный источник априорной лингвистики (разновидность лингвистической философии. — А. М.), по-видимому, заключается в том, что большинство британских философов не читали ничего из обычной (эмпирической) лингвистики»<sup>9</sup>.

Проводимая неопозитивистами подмена общефилософской проблематики специальными вопросами изучения языка основывается на позитивистском утверждении о том, будто свойства реальных объектов далеко не всегда поддаются непосредственному наблюдению и будто язык является единственной доступной для восприятия реальностью, структура которой при правильном употреблении языка адекватно отражает структуру мира. По-видимому, сторонники этой точки зрения некоторое время не замечали, что говорить об адекватном отражении действительности в языке можно лишь после того, когда точные сведения о свойствах действительности получены уже без посредства языка, т. е. тем путем, который неопозитивисты не признают возможным. Как известно, подобные внутренние противоречия, обнаруживающиеся в основаниях лингвистической философии, к настоящему времени уже заметно расшатали все ее здание. Однако начинающийся кризис этого направления неопозитивизма не мог бы оправдать беспечное игнорирование лингвистической философии со стороны марксистского языкознания.

Попыткам неопозитивистов использовать отдельные особенности структуры и функционирования естественного языка для построения своих псевдофилософских концепций марксистское языкознание противопоставляет подлинно научные разработки соответствующей лингвистической проблематики на многочисленных фактах исторического развития и современного состояния языков. Этим обеспечивается, с одной стороны, раскрытие конкретно-научного, нефилософского характера соответствующей проблематики, в которой пытаются замкнуться неопозитивисты, и, с другой — неуклонно углубляющееся марксистское освещение тех сторон языка, учет которых может играть определенную роль на новых этапах развития философии диалектического материализма.

Неопозитивистское сведение философии к лингвистическому анализу является одним из примеров заметно участвовавшего в последнее время преувеличения роли отдельных функций и свойств языка. Между тем любое преувеличение, допускаемое на уровне философии, влечет за собой далеко идущие отрицательные последствия.

Однако факты недопустимых преувеличений в науке выходят уже за пределы конкретного вопроса о взаимоотношении языкознания и философии. Эти факты подчеркивают исключительную актуальность другого философского вопроса языкознания, который касается применения к изучению языка положения марксистской диалектики о всеобщей связи явлений действительности. Необходимо отметить, что этому важному положению материалистической диалектики в последнее время уделяется недостаточное внимание. Некоторое оживление вокруг этого вопроса, наметившееся

<sup>9</sup> С. W. K. M u n d l e, *Anglo-linguistic philosophy*, «Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie», I, Wien, 1968, стр. 355—356.

с опубликованием интересных монографий И. И. Новинского, А. И. Умова и В. И. Свидерского свыше десяти лет назад<sup>10</sup>, к настоящему времени снова прекратилось. У нас слишком редко подчеркивается и раскрывается богатое содержание диалектического положения о всеобщей связи, не всегда учитывается, что речь должна идти не о связях и отношениях вообще, а об их бесконечном многообразии по характеру, степени интенсивности, прочности и устойчивости во времени, и что в каждом конкретном случае необходимо не только рассматривать всю совокупность тех связей и отношений данного явления, которые имеют решающее значение для его понимания и характеристики, но и выделять из них наиболее существенные, играющие основную роль в определении природы и специфики явления. Последовательное соблюдение этого требования сделало бы невозможным рассмотрение языка в отрыве от других сфер общественной жизни, без учета его действительных взаимоотношений с человеческой практикой, многоплановым общением и познавательной деятельностью. Трезвый учет реальных связей языка с другими сферами действительности неизбежно привел бы к единственно правильному выводу о том, что язык, при всей огромной важности его общественных функций, является все же лишь промежуточным звеном между тремя основными сферами человеческой деятельности — практикой, познанием и общением — звеном, ни в коей мере не способным заменить собой всю действительность в качестве объекта философского анализа.

Как уже сказано, неопозитивистское возведение языка в ранг единственного объекта философии представляет собой лишь один из примеров методологически неверных преувеличений на лингвистической почве. Другим подобным примером является концепция, согласно которой мировоззрение языкового коллектива определяется структурой принадлежащего ему языка. Эта концепция, известная в двух вариантах — американском (так называемая «гипотеза Сепира — Уорфа») <sup>11</sup> и западногерманском (теория Л. Вейсгербера) <sup>12</sup>, — теснейшим образом переплетается с концепцией языка как единственного объекта философии. В ней ярко проявляется игнорирование многообразных отношений и связей, которые соединяют общественное мировоззрение с различными определяющими его факторами, в первую очередь с общественным бытием, уровнем развития науки и культуры, международными контактами и т. д. Вместе с тем, сторонники этой концепции не приводят никаких сколько-нибудь убедительных данных, которые подтверждали бы саму возможность влияния структуры языка на особенности общественного или индивидуального мировоззрения <sup>13</sup>. Вопрос о степени влияния структуры языка на мировоззрение должен решаться комплексно лингвистами, психологами и философами с применением надежных методов исследования.

<sup>10</sup> И. И. Новинский, Понятие связи в марксистской философии, М., 1961; В. И. Свидерский, О диалектике элементов и структуры в объективном мире и в познании, М., 1962; А. И. Умов, Вещи, свойства и отношения, М., 1963.

<sup>11</sup> См.: E. Sapir, Conceptual categories in primitive languages, «Science», 74, 1931; Б. Л. Уорф, Отношение норм поведения и мышления к языку, сб. «Новое в лингвистике», I, М., 1960; его же, Наука и языкознание, там же, и др.

<sup>12</sup> L. Weisgerber, Das Gesetz der Sprache, Heidelberg, 1951; его же, Von den Kräften der deutschen Sprache, I—III, Düsseldorf, 1950—1954, и др.

<sup>13</sup> Критика этой концепции содержится в работах: С. В. Васильев, Философский анализ гипотезы лингвистической относительности, Киев, 1974; Л. С. Ермаолаева, Неогумбольдтианское направление в современном буржуазном языкознании, сб. «Проблемы общего и частного языкознания», М., 1960; М. М. Гухман, Лингвистическая теория Л. Вейсгербера, сб. «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике», М., 1961; E. Skála, Kritika lingvistického učení L. Weisgerbera, «Problémy marxistické jazykovědy», Praha, 1962; В. З. Панфилов, Язык, мышление, культура, ВЯ, 1975, 1, и др.

К ошибочному положению об определяющей роли структуры языка по отношению к общественному мировоззрению непосредственно примыкает широко распространенное преувеличение роли родного языка в развитии культуры. Правильное, подтвержденное историческим опытом многих стран, положение о том, что меры, направленные на подъем культуры временно отсталых народов, в частности, такие, как ликвидация массовой неграмотности, наиболее успешно могут быть осуществлены только при помощи родных языков (хотя и это невозможно без привлечения других языков), нередко без достаточных оснований распространяется на общества с высокоразвитой культурой, за которыми, вопреки многочисленным и очевидным фактам, не признается возможность использования неродных языков в целях дальнейшего культурного развития. В данном случае преувеличение роли родного языка ведет к проповеди национальной замкнутости и международной разобщенности.

Из числа преувеличений, касающихся роли отдельных компонентов или сторон структуры языка, в качестве хорошо известного примера можно упомянуть лежащее в основе лингвистического структурализма преувеличение роли отношений в языковой структуре за счет преуменьшения роли соотносящихся элементов структуры. Основные принципы лингвистического структурализма, зачатки которых можно усматривать уже в идеалистической философии Платона<sup>14</sup>, были перенесены из языкознания на истолкование других явлений действительности, и в первую очередь общественной жизни. Так на почве извращенного представления структуры языка, которое основывалось на недостаточном учете различных аспектов функционирования элементов в рамках языковой структуры, возник философский структурализм, получивший видное место в арсенале современной буржуазной идеологии. Из сказанного вытекает вывод, что и сам вопрос о роли отношений в системе необходимо решать в строгом соответствии с общим положением марксистской диалектики о всеобщей связи явлений действительности.

Одним из источников лингвистического структурализма было необоснованное преувеличение научной значимости данных, полученных при помощи методов структурного анализа языка. Созданные для изучения чистых отношений в структуре языка, абстрагируемых от качества соотносящихся элементов, структурные методы стали расцениваться их приверженцами как единственно приемлемый способ научного понимания языка, исключаящий какой-либо другой подход к языку. Таким образом, ряд специальных частнонаучных методов был поставлен на место общей научной методологии, а их важность неправомерно, по субъективным мотивам была преувеличена за счет отрицания роли других возможных методов. В этом тоже сказалась недооценка требования диалектики учитывать реальные отношения рассматриваемого объекта к другим объектам и, следовательно, четко определять то место, которое принадлежит рассматриваемому объекту среди остальных.

Не менее важное значение для дальнейшей разработки теории марксистского языкознания имеет применение к ней диалектических законов развития — как движения от низшего к высшему и перехода количества в качество, положения о единстве и борьбе противоположностей как основ-

<sup>14</sup> Ср. учение Платона об идее (уме), структура которой определяет природу порождаемого ею реального мира и всех конкретных вещей (П л а т о н, Сочинения, 3, кн. 1, М., 1971, стр. 34—36), или об образовании всех четырех первоэлементов мира из одинаковых идеальных треугольников, по-разному соединенных (там же, стр. 494—499). О близости философии структурализма к идеалистической философии Платона писали В. И. Свидерский (указ. соч., стр. 138), Т. Павлов (см.: Т. П а в л о в, Диалектическая идеалистическая эстетика на Хегел, в кн.: Т. П а в л о в, За марксистическа естетика, литературна наука и критика, София, 1954, стр. 250) и др.

ном факторе развития. В этом направлении перед марксистским языкознанием открываются широкие перспективы теоретических поисков.

Из общей системы категорий марксистской диалектики в настоящее время особый интерес представляет применение к изучению языка категорий общего, частного и отдельного. С одной стороны, эти категории обнаруживаются в соотношении элементов языка и соответствующих им элементов речи — таких, как фонема, позиционно обусловленный вариант фонемы и конкретный индивидуальный аллофон, морфема, морфонема и индивидуальный алломорф в конкретном речевом акте, лексема, словоформа и индивидуальное проявление словоформы в данном речевом акте, абстрактное словосочетание, конкретное словосочетание и функционирование словосочетания в индивидуальном речевом акте, общее значение данного элемента языка, специальное значение его в данной конструкции и индивидуальное понимание его отдельным собеседником в данной речевой ситуации и т. д. С другой стороны, указанные категории проявляются в соотношении устойчивых, многократно воспроизводимых речевых корпусов типа художественных произведений или научных сочинений, возможных вариантов их структуры (различных редакций) и их непосредственных конкретных реализаций (например, индивидуальных исполнений в каждом отдельном случае или отдельных экземпляров их письменной фиксации). В этом плане углубленного философского исследования требует вопрос о конкретном характере единства общего, частного и отдельного, и в первую очередь, о том, в какой степени и в каком отношении каждое отдельное в языке может рассматриваться как тождественное со своими вариантами, соотносимыми с одним и тем же общим. Важную роль при освещении этого вопроса играет сопоставление с аналогичными соотношениями в других сферах действительности, особенно в сфере общественного производства и потребления, и учет общественной значимости каждого данного отдельного и соответствующего ему общего в различных сферах действительности.

Еще более актуальными для языкознания являются категории формы и содержания. В применении к материалу всех уровней языка эти категории оказываются исключительно ёмкими. Однако такая их ёмкость, возможность подведения под общее соотношение формы и содержания самых разнообразных конкретных отношений языковых единиц делает их применение в языкознании крайне сложным. Интересы повышения эффективности научных исследований требуют от языковеда максимальной строгости и четкости в обращении с этими категориями.

Нетрудно заметить, что почти каждый из приведенных выше примеров несоблюдения одного из основных требований диалектики содержит в себе более или менее ярко выраженные элементы идеализма. В этом обнаруживается неразрывная связь марксистского диалектического метода с последовательно материалистическим пониманием мира и, в частности, языка. Основу материалистического истолкования языка составляет марксистское положение о материальной природе языка. Это положение, вытекающее из общего марксистско-ленинского понимания языка как средства человеческого общения, не допускает возможности представить язык в качестве идеальной структуры объективного или субъективного характера, не зависящей якобы от материального характера субстанции, в которой он манифестируется. Одна из важных задач философии марксистского языкознания заключается в дальнейшей конкретизации названного положения. В частности, существует настоятельная необходимость в углубленном и всестороннем освещении специфики материальной формы языка в сопоставлении с материальной формой других видов человеческой деятельности и их продуктов, а также естественных объектов и явлений.

Положение о материальной природе языка нуждается в других дополнительных разъяснениях, касающихся в первую очередь того факта, что язык является средством выражения мысли и что повседневное функционирование языка непосредственно зависит от деятельности сознания. В освещении указанной проблемы ведущая роль принадлежит философии, которая должна будет при этом широко использовать данные не только языкознания, но и психологии.

С положением о материальной природе языка теснейшим образом связана проблема соотношения материального и идеального в языке. Обстоятельная разработка этой проблемы как в общефилософском, так и в специально лингвистическом планах составляет важнейшую задачу философии марксистского языкознания. Проблема «язык и сознание» является специальной и весьма важной частью центральной для всей философии проблемы «сознание и действительность». Особого интереса эта философско-лингвистическая проблема заслуживает ввиду того, что именно на материале языкознания взаимоотношение идеального и материального может быть исследовано с такой степенью конкретности, какая остается недостижимой в других частнонаучных областях (разве что за исключением экспериментальной психологии). Решение этой проблемы может быть представлено в виде научно обоснованных ответов на вопросы о конкретном характере единства сознания и языка (степени их самостоятельности и взаимозависимости), о сущности и специфике знакового характера языковых единиц различных уровней, о природе значения языковых единиц, о характере соотношения значения и знака в языке, о соотношении языкового значения и понятия или суждения, о сущности содержания языковых единиц, о соотношении категорий и конструкций языка и сознания и т. д.

Приведенные примеры различных форм взаимосвязи языкознания с философией могут дать определенное представление об общем комплексе всех относящихся сюда проблем, включая также ряд специальных вопросов теории познания и методологии науки. Эти примеры убеждают в большой методологической важности и общенаучной актуальности тщательной разработки философско-лингвистической проблематики в рамках обеих наук. Для языкознания это обеспечит дальнейшее повышение теоретического уровня всех лингвистических исследований, значительное усиление практической действенности науки о языке и увеличение ее роли в общей системе наук.

А. М. ЩЕРБАК

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГЛАГОЛА  
В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

1. Как известно, в тюркских языках есть значительное количество корней, выступающих и в качестве именных, и в качестве глагольных основ, например, азерб. *dad*, кирг. *tat* «вкус» и «пробовать; вкушать»; алт. *kat* «ряд, слой» и «складывать»; кирг. *köç* «кочевка, перекочевка» и «кочевать, переселяться»; турецк. *tün* «вечер; ночь» и «смеркаться»; туркм. *bü* «углубление, рывина, яма» и «копать»; узб. *tün* «замерзший, мерзлый» и «мерзнуть, замерзать»; якут. *baĵ* «богатый» и «богатеть»<sup>1</sup>. Явление глагольно-именной омонимии постоянно вызывало интерес у тюркологов и рассматривалось многими из них как реликт «первобытной» недифференцированности имени и глагола. Например, П. М. Мелиоранский, впервые коснувшийся этого явления еще в конце прошлого столетия, писал, что «... в древности разделение корней на глагольные и именные не было так строго проведено в турецком языке (resp. в тюркских языках.— А. П.), как теперь»<sup>2</sup>. Аналогичную мысль, но конкретнее и с большей категоричностью, выразили несколькими десятилетиями позже И. А. Батманов<sup>3</sup> и Э. В. Севортян<sup>4</sup>. Нельзя не отметить, однако, что такому восприятию омонимии именных и глагольных основ всегда сопутствовало либо молчаливое игнорирование данного явления, либо недвусмысленно выраженное отрицание его редкости. Здесь можно сослаться на К. Грёнбека, подчеркивавшего редкость глагольно-именной омонимии и считавшего ее следствием случайного совпадения различных слов и аффиксов<sup>5</sup>. Необходимо также упомянуть о точке зрения Б. М. Юнусалиева, по мнению которого основной причиной возникновения глагольно-именных омонимов являлось морфологическое преобразование глагольных корней<sup>6</sup>.

Вообще говоря, внешнее совпадение именных и глагольных основ может быть следствием поздних процессов, не обязательно заключавшихся в изменениях формы и, очевидно, одним из таких совпадений является конверсия.

На вопрос о том, изначально ли омонимия именных и глагольных основ в тюркских языках, т. е. является ли она реликтом «первобытной» недифференцированности имени и глагола, или же она вторична, мы попытаемся

<sup>1</sup> См.: J. Децу, *Grammaire de la langue turque (dialecte osmanli)*, Paris, 1921, стр. 539; Б. М. Юнусалиев, *Киргизская лексикология*, I, Фрунзе, 1959, стр. 67 и сл.

<sup>2</sup> П. М. Мелиоранский, *Памятник в честь Кюль Тегина*, ЗВО РАО, XII, вып. II — III, 1899, стр. 98.

<sup>3</sup> И. А. Батманов, *Грамматика киргизского языка*, II, Имена, Фрунзе, 1940, стр. 5. См. также: Н. А. Баскаков, *Каракалпакский язык, Части речи и словообразование*. ДД, М., 1950, стр. 548.

<sup>4</sup> Э. В. Севортян, *Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке*, М., 1962, стр. 359 и сл. Здесь же приведен большой список глагольно-именных основ, стр. 365—373.

<sup>5</sup> К. Грёнбек, *Der türkische Sprachbau*, I, Kopenhagen, 1936, стр. 19.

<sup>6</sup> Б. М. Юнусалиев, *указ. соч.*, стр. 79.

ответить, опираясь на тюркские языковые факты и пользуясь материалами не-тюркских языков.

Прежде всего, обращает на себя внимание то, что в древнетюркском языке глагольно-именных основ больше, чем в современных языках, и что по мере приближения к нынешнему состоянию их количество постепенно уменьшается. Анализ же общетюркских односложных основ, реконструируемых на уровне праязыка, показывает заметное увеличение случаев омонимии по сравнению с тем, что выявляется в ходе исследования любых старописьменных текстов, ср. \**ār* «противоположная сторона; зад; спина» и «класть что-л., перевешивая на другую сторону; переходить какой-л. предел; превышать что-л.»; \**ān* «низ, низкий» и «сходить, спускаться»; \**kā* «сундук; ящик для пищи; чехол; карман; чрево» и «складывать вместе, класть по порядку»; \**kīj* «край, кайма» и «делать что-л. по краю; срезать наискось»; \**kok* «пыль, прах; пепел; нечисть» и «тлеть, обугливаться; тлеть, издавать запах»; \**kūr* «сухой» и «сохнуть, высыхать»; \**kōl* «упряжное животное» и «запрягать»; \**kōn* «пухлость, вздутость» и «пухнуть, вздуваться; пениться»; \**oĵ* «игра» и «играть, резвиться»; \**oŋ* «правый; удачливый; удача; доля; удел» и «налаживаться; исправляться; удаваться»; \**ōn* «втягивание в рот» и «брат в рот; глотать»; \**or* «ров, канава» и «рыть, копать»; \**ör* «верх, подъем» и «являться, показываться; подниматься»; \**nāk* «крепкий, прочный» и «укреплять, запираť»; \**nōk* «сытый, насытившийся» и «насыщаться»; \**saŋ* «нитка для шитья» и «вдевать нитку; соединять, составлять»; \**sač* «волосы» и «разбрасывать; рассеивать; рассыпать»; \**sič* «плотный, частый» и «давить, жать»; \**suč* «указательный палец» и «вкладывать, всовывать; втыкать»; \**там* «капля» и «капать»; \**tāš* «внешний, вне» и «переливаться через край; выходить из берегов»; \**tīn* «жизнь, дыхание» и «дышать» и т. д.

В одних тюркских языках глагольно-именная омонимия сохранилась, в других — произошло разграничение именных и глагольных основ, благодаря присоединению к последним специальных аффиксов, ср. турецк. *an* «сознание, мысль» и «вспоминать», татар. *aŋ* «сознание», *aŋla-* «понимать»; алт. *kat* «ряд, слой» и «складывать», туркм. *vat* «ряд, слой», *vatla-* «складывать»; якут. *baĵ* «богатый» и «богатеть», туркм. *baĵ* «богатый» и *baĵi-* «богатеть».

Бросается в глаза чрезвычайно широкое использование в тюркских языках синтаксических структур именного типа, ср. азерб. *o mākṭub jažilasiđir* «он должен написать письмо», *jažilasi mākṭub* «письмо, которое должно быть написано [им]»; турецк. *bən mākṭub jažaĵaĵim* «я напишу письмо», *jažaĵaĵim mākṭub* «письмо, которое должно быть написано мной», *bən kitabı okumuştum* «я читал книгу», *okumuş öğrenci* «читавший ученик»; шор. *kiĵi aĵdar* «человек скажет», *aĵdar kiĵi* «человек, который скажет»; якут. *kihi kälär* «человек приходит», *kälär kihi* «приходящий человек». Явное преобладание именных конструкций предложения над собственно глагольными<sup>7</sup> свидетельствует о недостаточно большой исторической глубине процесса разграничения имени и глагола<sup>8</sup>, а также о значительной вероятности их синкретизма в недавнем прошлом.

Что касается предположения Б. М. Юнусалиева о наличии в прошлом у глагольных основ, входящих в омонимические пары, различных аффиксов и, следовательно, о вторичности омонимии, то в отношении некоторых

<sup>7</sup> См.: J. Deny, указ. соч., стр. 144, 381—384; A. von Gabelin, Die Natur des Prädikats in den Türk Sprachen, «Körösi Csoma-Archivum», III, 1, Budapest — Leipzig, 1940, стр. 85 и сл.; C. Brockelmann, Osttürkische Grammatik der islamischen Literatursprachen Mittelasiens, 1—7, Leiden, 1951—1954, стр. 283.

<sup>8</sup> Ср. у Ж. Дени: «Можно сказать, что во многих случаях глагол грамматически не отличается от имени» (указ. соч., стр. 384).

примеров оно представляется обоснованным и конструктивным. В целом же объяснить появление омонимических пар формальными преобразованиями глагольных основ не удастся. В самом деле, есть ли у тюркологов аргументы в пользу морфологического членения основ \**ār*, \**kok*, \**köl*, \**kā*, \**ön*, \**sac* и многих других? По-видимому, нет и вряд ли когда-либо будут, хотя было бы излишней смелостью утверждать, что приведенный список в дальнейшем не подвергнется изменениям.

Выход за пределы тюркских языков преследует цель установить, насколько широко распространено явление глагольно-именной омонимии и какова степень разграничения именных и глагольных основ в языках разных групп.

Сразу же напомним о любопытном высказывании В. Вундта относительно существования такого этапа в эволюции языков, когда имя и глагол не различались и когда одни и те же слова функционировали и в качестве имен, и в качестве глаголов<sup>9</sup>. Это высказывание не нашло ощутимой поддержки у лингвистов и все же оно сыграло важную роль, так как способствовало тому, что происхождение глагола, отношение глагола к имени, совпадение именных и глагольных основ стали популярными темами лингвистических исследований: наметился новый подход к историко-морфологической характеристике причастий, появились понятия глагольных имен и омонимичных глагольно-именных основ и прочно вошли в научный обиход соответствующие термины (ср. *verbalnomina* и *nomenverba*).

В таких языках, как индоевропейские, имя и глагол четко разграничены и это разграничение осуществляется, в частности, в пределах самих основ, характерным признаком которых становится большая степень морфологической определенности (формально выделены не только именные и глагольные основы, но и типы именных и глагольных основ)<sup>10</sup>. Тем не менее, и в индоевропейских языках есть следы утраченной близости двух основных грамматических классов. О морфологическом сходстве индоевропейского глагола с именем неоднократно писал Э. Бенвенист, считавший, что из всех теорий, предложенных по поводу происхождения глагола и глагольных форм, больше всего совпадает с его собственными предварительными замечаниями теория Г. Хирта<sup>11</sup>. А. А. Потебня, который проявлял особый интерес к исторической морфологии русского глагола, сделал вывод, что «в русском языке по направлению к нашему времени увеличивается противоположность имени и глагола». «Высказывая вышеприведенное мнение о невозможности в наших языках предложения без глагола, — пишет он. — я не утверждал, что *vb. fin.* есть явление первобытное, и не отвергал возможности найти под последним наслоением этих языков следы другого порядка вещей...»<sup>12</sup>.

В ряде языков различия между именем и глаголом не достаточно резкие<sup>13</sup>. Например, в финно-угорских языках, как и в тюркских, отмечены случаи внешнего совпадения именных и глагольных основ, причем наличие омонимических пар является, по мнению специалистов, реликтом доуральской нераздельности имени и глагола, ср. венг. *lep* «покрывало» и «покрывать», *fagy* «мороз» и «морозить», *les* «засада» и «караулить», *nyom* «след; отпечаток» и «нажимать, давить; печатать»; фин. *tuule* «ветер» и

<sup>9</sup> W. W u n d t, *Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Myths and Sitte*, I. Die Sprache, Zweiter Teil, Leipzig, 1904, стр. 9.

<sup>10</sup> См.: А. М е й е, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М. — Л., 1938, стр. 211 и сл.

<sup>11</sup> E. B e n v e n i s t e, *Origines de la formation des noms en indo-européen*, I, Paris, 1935, стр. 173. Ср.: H. H i r t, *Über den Ursprung der Verbalflexion im Indogermanischen*, IF, XVII, 1904/1905, стр. 38, 84.

<sup>12</sup> А. А. П о т е б н я, Из записок по русской грамматике, I—II, М., 1958, стр. 84.

<sup>13</sup> См.: Ö. V e k e, *Nomen und Verbum*, «Acta ling. hung.», X, 3—4. 1960, стр. 381

и «дуть», *sykke* «слюна» и «плевать», *kuiva* «сухой» и «сохнуть, высухать», *sula* «талый» и «таять, расплавляться»<sup>14</sup>.

Случаи внешнего совпадения именных и глагольных основ встречаются также в тунгусо-маньчжурских языках, ср. нан. *tugdэ* «дождь» и «идти» (о дожде), *боно* «град» и «идти» (о граде), *далан* «наводнение» и «подниматься» (о воде в реке, озере), *тала* «кушанье из сырой рыбы» и «разрезать сырую рыбу на куски», *куку* «лебедь» и «кричать» (о лебеде)<sup>15</sup>; эвенк. *арба* «мель» и «мелеть», *колто* «кулак» и «ударять» (кулаком), *агди* «гром» и «греметь» (о громе)<sup>16</sup>.

Подобное явление отмечено и в эскимосском языке: *ки* «рана» и «ранить», *уси* «груз» и «грузить», *пина* «краска» и «красить», *ана* ~ *ава* «снег» и «покрывать снегом», *тук'у* «смерть» и «умирать», *аг'у* «корма лодки» и «сидеть на корме» и т. д.<sup>17</sup>.

От материально единых основ образуются многие именные и глагольные формы в дравидийских языках<sup>18</sup>.

В тесной связи с вопросом о природе глагольно-именной омонимии находится проблема соотносительной древности имени и глагола, разделяющая лингвистов на два противоположных лагеря: для одних — имя древнее глагола, по мнению других, более древним является глагол. Признавая, что в отношении языков, не обнаруживающих четких формальных границ между частями речи, бессмысленно говорить об имени и глаголе, что имя и глагол как грамматические классы слов появились одновременно. В. Таули вместе с тем справедливо утверждает, что если обратиться к морфологической стороне, то в некоторых языках совершенно очевидно большая древность имени и развитие собственно глагольных форм (the finite forms) из именных<sup>19</sup>.

В разное время были высказаны предположения об именной природе финитных форм глагола в индоевропейских<sup>20</sup>, семитских<sup>21</sup> и монгольских<sup>22</sup> языках.

У тюркологов спор о том, что раньше, имя или глагол, лишен той остроты, которую он приобрел в кругу индоевропейцев. На протяжении нескольких десятилетий тюркологи неизменно подчеркивали господствующее положение имени и воспринимали как само собой разумеющийся факт довольно позднее морфологическое выделение глагола. Однако в настоящее время и тюркологи не единодушны в предлагаемых решениях

<sup>14</sup> См.: Л. Х а к у л и н е н, Развитие и структура финского языка, I. Фонетика и морфология, М., 1953, стр. 65; О. В е к е, указ. соч., стр. 369 и сл.; Б. А. С е р е б р е н н и к о в, Историческая морфология пермских языков, М., 1963, стр. 140; К. Е. М а й т и н с к а я, Сравнительная морфология финно-угорских языков, в кн.: «Основы финно-угорского языкознания. Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков», М., 1974, стр. 214.

<sup>15</sup> См.: В. А. А в р о р и н, Грамматика нанайского языка, II. Морфология глагольных и наречных частей речи, междометий, служебных слов и частиц, М.—Л., 1961 стр. 12.

<sup>16</sup> См.: О. А. К о н с т а н т и н о в а, Эвенкийский язык. Фонетика и морфология, М.—Л., 1964, стр. 31.

<sup>17</sup> См.: Г. А. М е н о в щ и к о в, Грамматика языка азиатских эскимосов, II, Л., 1967, стр. 18, 19.

<sup>18</sup> См.: R. C a l d w e l l, A comparative grammar of the Dravidian or South-Indian family of languages, London, 1913, стр. 445.

<sup>19</sup> V. T a u l i, On the origin of verb, UAJb, XXVIII, 3—4, 1956, стр. 138, 139.

<sup>20</sup> См.: Н. Н и г т, Die Hauptprobleme der indogermanischen Sprachwissenschaft, Halle, 1939, стр. 78; е г о ж е, Indogermanische Grammatik, VI, Heidelberg, 1934, стр. 12, 177—181.

<sup>21</sup> См.: И. М. Д љ а к о н о в, Языки древней Передней Азии, М., 1967, стр. 201 (И. М. Дьяконов говорит о возникновении глагола из «нерасчлененного комплекса, содержащего черты также и имени»).

<sup>22</sup> См.: N. P o r p e, Introduction to Mongolian comparative studies, MSFOu, 110, 1955, стр. 267.

названной проблемы. С предельной отчетливостью мнение, идущее вразрез с традиционным, выражено П. И. Кузнецовым, не допускающим возможности образования собственно глагольных, или финитных, форм глагола из имен действия (гезр. причастий) и придерживающимся той точки зрения, что финитные глагольные формы появились раньше причастий<sup>23</sup>.

Попытки пересмотреть устоявшиеся и, на наш взгляд, хорошо аргументированные положения традиционной тюркологии являются не столько отзвуком тенденций, возникших при обсуждении проблемы исторической взаимосвязи имени и глагола в индоевропеистике, сколько следствием недоразумения. Авторы описательных грамматик тюркских языков называют субстантивные имена действия и причастия от глагольных имен и именами, что, естественно, побуждает думать об их относительно позднем развитии и дает повод рассматривать их как образованные от глаголов. Может быть, именно так и нужно определять структурную взаимосвязь именных и глагольных основ при анализе современного синхронного среза, ср. кирг. *сўйлөшмөктө* «он говорит» (*сўйлөш-* «говорить» — глагольная основа, внешне совпадающая с формой повелительного наклонения 2-го лица ед. числа, *-мөк* — аффикс имени действия, *-тө* — аффикс местн. падежа), кум. *гэлгэниңгэ* «твоему приходу» (*гэл-* «приходить» — глагольная основа, *-гэни* — аффикс имени действия, *-ңгэ* — аффикс принадлежности 2-го лица ед. числа, *-гэ* — аффикс дат. падежа). При историческом же подходе дело существенно меняется. То, что в описательных грамматиках носит наименование глагольных основ, не всегда имело морфологический статус глагольности: первоначально это были недифференцированные глагольно-именные основы. Поэтому А. А. Потебня был безусловно прав, когда решительно заявил, что «не нужно себе представлять причастия непременно словом отглагольным: оно не происходит от глагола, а появляется вместе с ним»<sup>24</sup>. И, конечно, прав также Э. В. Севортян, пользующийся термином «глагольное имя»<sup>25</sup>.

Из сказанного следует, что внешнее совпадение именных и глагольных основ в тюркских языках не является случайным и, по всей видимости, отражает своеобразие исторического процесса становления и развития частей речи. Факты глагольно-именной омонимии в древних и современных тюркских языках, результаты проведенных в этой области исследований и, отчасти, соображения теоретического порядка, подкрепленные ссылками на материалы не-тюркских языков, позволяют думать, что в тюркском языке почти любой первичный корень обозначал и предмет и действие-состояние, т. е. был синкретичным<sup>26</sup>.

<sup>23</sup> П. И. Кузнецов, Происхождение прошедшего времени на *-ды* и имен действия в тюркских языках, сб. «Тюрко-монгольское языкознание и фольклористика», М., 1960, стр. 54, 66, 69.

<sup>24</sup> А. А. Потебня, указ. соч., стр. 95.

<sup>25</sup> Э. В. Севортян, О некоторых вопросах структуры предложения в тюркских языках, в кн.: «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков, III. Синтаксис», М., 1961, стр. 9.

<sup>26</sup> Не исключено, что грамматический синкретизм был унаследован и производными корнями-основами. Впервые В. В. Радлов обратил внимание на идентичность аффиксов имен действия и залоговых форм глагола. См.: W. R a d l o f f, Die alttürkischen Inschriften der Mongolei, N. F., СПб., 1897, стр. 57, 58. Мысль В. В. Радлова развил Дж. Клоусон, указавший на связь внешнего совпадения производных именных и глагольных основ с той ступенью в эволюции грамматического строя тюркских языков, когда еще не было четкой границы между именем и глаголом. См.: G. C l a u s o n, Three notes on Early Turkish, «Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 1966' dan ayırtılmamış», Ankara, 1967, стр. 6, 7. См. также: J. D e n ц у, указ. соч., стр. 540, 544; Н. К. А н т о н о в, К вопросу о словообразовании имен в якутском языке, «Уч. зап. ИЯЛ Якутск. филиала АН СССР», 5, 1958, стр. 68—75. Ср.: Б. М. Ю н у с а л и е в, указ. соч., стр. 77—79.

2. Исходным материалом для собственно глагольных форм в тюркских языках явились имена действия. Вероятно, так же обстояло дело и в других языках. «Когда я говорю, что глагол должен быть именного происхождения, — заявляет Г. Хирт, имея в виду индоевропейские языки, — то этим не отрицается понятие глагола как выражения состояния или деятельности. На месте *verbum finitum* можно употреблять *verbalnomina*»<sup>27</sup>. Э. Н. Сетяля, констатирующий совпадение показателей финно-угорских временных форм с показателями именных образований (*nomen agentis*, *nomen actionis* и *nomen acti*), высказал сходные мысли в отношении финно-угорских языков<sup>28</sup>. О связи личных форм глагола с причастиями и глагольными именами в дравидийских языках пишет Р. Колдуэлл<sup>29</sup>.

Роль имен действия велика: без них не могло произойти выделение глагола как самостоятельного грамматического класса. Образуюсь от недифференцированных, синкретичных глагольно-именных основ в тех случаях, когда они выступали как наименования процессов и состояний, имена действия создавали почву для передачи языковыми средствами отношения действия к моменту речи и точки зрения говорящего на отношение действия к его исполнителю. Иными словами, в именах действия находятся истоки семантического многообразия глагольных форм современных тюркских языков, заложены черты, предопределившие семантическую структуру времен и наклонений, несмотря на то, что соотносительность их с конкретными видо-временными и модальными значениями отсутствовала.

Для полного уяснения морфологического своеобразия имен действия необходимо иметь в виду, что и они совмещают признаки имени и глагола, хотя в меньшей степени, чем «первобытные» глагольно-именные основы. Будучи исходным материалом для образования глагольных форм, имена действия вместе с тем обнаруживают расположенность к избирательной интенсификации именных признаков и становятся источником пополнения отдельных разрядов имени. Достаточно сказать, что порядковые, собирательные, разделительные и приблизительные числительные являются по происхождению именами действия. К ним же восходят и некоторые формы прилагательных.

Количество имен действия в тюркских языках достигает трех-четыре десятков. Самые распространенные из них — на *-ñi ~ -ñu*, *-inç ~ -unç*, *-mak*, *-ma*, *-iş ~ -uş*, *-ik ~ -uk*, *-iç ~ -uç*, *-i ~ -u ~ -a*, *-it ~ -ut*, *-in ~ -un*, *-miş*, *-bin ~ -bun ~ -ban*, *-dik ~ -duk*, *-diç ~ -duç*, *-ir ~ -ur ~ -ar*, *-ür ~ -ur*, составляющие общий древнейший пласт морфологических образований. И если одни из них типичны для одной группы языков, а другие — для второй или третьей, то это связано с конкретными историческими условиями формирования каждого отдельного языка или каждой языковой группы. По разным причинам сфера использования имен действия с течением времени суживалась, они включались в сложные словообразовательные процессы, подвергались значительным изменениям и поэтому нередко их общетюркская принадлежность становится очевидной лишь в результате специальных поисков и этимологических исследований. Например, имена действия на *-mak* и *-ma* во многих тюркских языках, в особенности в языках Сибири и Алтая, полностью перешли в разряд существительных и прилагательных, ср. алт. *basnak* «терка; жернов», *ukmak* «слух», *ilmək* «крючок; вешалка», *ojmok* «наперсток», *kaknak* «крышка», *çärtmë* «балалайка», *d'ıldırма* «задвигка», *d'андірма* «склон горы», *kanтірма*

<sup>27</sup> H. Hirt, *Indogermanische Grammatik*, VI, стр. 12.

<sup>28</sup> E. N. Setälä, *Zur Geschichte der Tempus- und Modusstambildung in den finnisch-ugrischen Sprachen*, JSFOu, II, 1887, стр. 171—174.

<sup>29</sup> R. Caldwell, указ. соч., стр. 486 и сл. См. также: М. С. Андронов, *Дравидийские языки*, М., 1965, стр. 69—71.

«крючок», *улама* «оглобли»; хакас. *чарба* «крупа»; шор. *авісна* «невод», *сö-зүрбэ* «сеть»; якут. *хаппах* «крышка», *тāмах* «догадка», *хаспах* «яма, рытвина». Другой пример — имя действия на *-інч* ~ *-унч*. В современных тюркских языках оно фактически отсутствует, а употребление его в письменных памятниках предельно ограничено. Между тем данная форма бесспорно общетюркская, о чем свидетельствует наличие аффикса *-інч* ~ *-унч* в составе порядковых числительных абсолютного большинства тюркских языков. Еще один пример — имя действия на *-бі* ~ *-бу*, к которому восходит распространенная разновидность собирательных числительных, ср. др.-тюрк. *йүггү* «трое» (> *йүгө*).

По характеру выполняемых функций имена действия подразделяются на две группы: субстантивные и адъективные имена действия (иначе: субстантивные имена действия и причастия). Причастия чаще, чем субстантивные имена действия, выступают в атрибутивной функции, а также в функции предиката. Субстантивные имена действия выполняют разные синтаксические функции, типичные для собственно имен, прежде всего для существительных. В старописьменных текстах граница между субстантивными и адъективными именами действия очень условна, если не сказать, что ее вообще нет.

Наряду с первичными, известны образованные от них вторичные имена действия, роль которых в становлении и развитии глагола также велика. В эту группу входят имена действия типа *барйүсак*, *барйшак*, *барсакчи*, *барйүчи*, *барвучи*, *бардачи*, *бармачи*, *бармакчи*, *барйүма*, *барйүли*, *барвулу*, *барвалли*, *барванли*, *бармалли*, *бармакли*, *барарли*, *барали*, *барйүлик*, *барвулук*, *барвалик*, *барванлик*, *бармалик*, *бармаклик*, *барарлик*, *баралик*, *бараҗак*, *бардйҗак*, *бараси*, *барвудај* и т. д. Многие из них, прослеживаемые главным образом в памятниках, очень рано утратили продуктивность и подверглись субстантивации и адъективации; вторичные имена действия на *-валли*, *-ванли*, *-арли* преобразовались в деепричастия.

Из двух упомянутых функциональных групп имен действия наиболее расположенными к вербализации были причастия, первичные и вторичные. В сравнительно поздний период процесс вербализации широко охватил также перифрастические формы, состоявшие из субстантивных имен действия и причастий настоящего-будущего времени *турур*, *јатар*, *јорур* и *отурур*. Редкое и не совсем обычное для тюркских языков явление — вербализация имен действия в форме местн. падежа. Примеры: кирг. *сүј-лөшмөктө* «говорит», турецк. *вэрмәктәјим* «даю», узб. *күрсатмокда* «показывает»; уйг. *јавап бэришти* «отвечает»; казах. *күтйүвдөміз* «ждем».

Семантическая специализация имен действия происходила путем закрепления за каждой формой какого-либо одного значения и постепенной утраты других значений<sup>30</sup>. И так как этот процесс был сложным и длительным, грамматическая семантика форм наклонений в разных тюркских языках далеко не одинакова. Например, имя действия на *-а* стало основой формы настоящего-будущего времени изъявительного наклонения и основой форм желательного наклонения. О том, что для содержания имени действия на *-а* были характерны модальные оттенки, свидетельствует его использование в значении супина. Заслуживает внимания и такой факт: в азербайджанском, гагаузском и турецком языках рассматриваемое морфологическое образование является формой желательного наклонения, тогда как в письменных памятниках азербайджанского и турецкого языков, по крайней мере до XVIII в., оно использовалось также в системе

<sup>30</sup> См.: М. Ш. Рагимов, История формирования наклонений глагола в азербайджанском языке. АДД, Баку, 1966, стр. 8, 11.

временных форм изъявительного наклонения<sup>31</sup>. Причастие на *-aci*, выступающее в ряде тюркских языков как форма долженствования, в некоторых языках выражает намерение совершить действие, а в якутском языке является формой «утвердительного наклонения»<sup>32</sup>, ср. азерб. *jazaciŋam* «я должен написать»; якут. *барҕһибин* «я, очевидно, пойду».

Ничто не мешает считать исходным материалом для собственно глагольных форм и первичные недифференцированные основы: от них образовывались имена действия и в ходе вербализации последних эти основы приобрели грамматическую определенность.

Далее, формам имен действия, содержанием которых была констатация действия или состояния в общем смысле, оказалась противопоставленной форма, не имевшая морфологических показателей и получившая значение 2-го лица ед. числа повелительного наклонения. Выделением формы повелительного наклонения завершилось образование двух оппозиций, явившихся фундаментом грамматической системы языка: 1) глагольно-именной, с противопоставлением именных и глагольных основ и внешне совпадающих с ними безаффиксных форм им. надежа и повелительного наклонения и 2) внутриглагольной, с противопоставлением форм изъявительного и повелительного наклонений. При этом форма повелительного наклонения, имея своеобразную семантику, обособилась и как бы остановилась в своем развитии; в отличие от нее формы изъявительного наклонения постоянно находились в тесной связи между собой, претерпели сложную семантическую эволюцию и в конечном итоге вошли в парадигмы разных наклонений. Кстати, в тюркских языках и по сию пору временные значения части форм изъявительного наклонения «отягощены» модальными оттенками.

Использование безаффиксной формы глагола, внешне совпадающей с глагольной основой, в качестве формы повелительного наклонения 2-го лица ед. числа не было простой случайностью: аналогичное явление имело место в индоевропейских<sup>33</sup>, монгольских<sup>34</sup>, дравидийских<sup>35</sup> и других языках. Характерно, что для некоторых языковедов «выражение повелительного наклонения чистой основой» служит доказательством его принадлежности к числу древнейших категорий глагола<sup>36</sup>.

Безаффиксная форма глагола (resp. чистая основа) являлась наименованием действия или состояния, и в употреблении ее в значении повелительного наклонения есть нечто общее с употреблением безаффиксной формы имени в значении вокатива. В. А. Богородицкий, не без оснований, сравнивал эти две формы и был склонен рассматривать форму вокатива «как род подлежащего» к первой форме<sup>37</sup>. На сходство императива с вокативом указывал также Э. Бенвенист<sup>38</sup>.

<sup>31</sup> См.: М. Ш. Рагимов, указ. соч., стр. 56, 57; Э. А. Грунина, Форма времени на *-a/-e* по памятникам турецкого языка, «Тюркологический сборник. К шестидесятилетию А. Н. Кононова», М., 1966, стр. 28.

<sup>32</sup> См.: В. И. Коркина, Наклонения глагола в якутском языке, М., 1970, стр. 195 и сл.

<sup>33</sup> См.: R. Thurneysen, Der indogermanische Imperativ, KZ, XXVII, N. F. VII, 1885, стр. 172—180; А. Мейе, указ. соч., стр. 249; O. Szemerényi, Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft, Darmstadt, 1970, стр. 229.

<sup>34</sup> См.: N. Porre, указ. соч., стр. 252.

<sup>35</sup> См.: R. Caldwell, указ. соч., стр. 446.

<sup>36</sup> См.: А. Н. Савченко, Древнейшие грамматические категории глагола в индоевропейском языке, ВЯ, 1955, 4, стр. 120.

<sup>37</sup> В. А. Богородицкий, Введение в татарское языковедение, 2-е изд., Казань, 1953, стр. 186.

<sup>38</sup> Э. Бенвенист, указ. соч., стр. 173. Ср.: W. Winter, Vocative and imperative, сб. «Substance and structure of language», Los Angeles, 1969, стр. 211 и сл., 218, 221.

Г. Хирт отнес к реликтам именного способа выражения действия наряду с причастием инфинитив<sup>39</sup> и таким образом включил его в число форм, ставших исходными для *verbi finiti*<sup>40</sup>. Воздерживаясь от каких-либо категорических высказываний по существу изложенного Г. Хиртом взгляда на инфинитив, заметим, что в отношении тюркских языков он едва ли приемлем. В древнетюркских письменных памятниках нет следов инфинитива, и нетрудно понять позицию Н. К. Дмитриева, проявившего большую осторожность при обсуждении вопроса о возможности выделения инфинитива в современных тюркских языках<sup>41</sup>. В последних, за редкими исключениями, специальную несклоняемую и неспрягаемую форму, сопоставимую с индоевропейским инфинитивом, обнаружить не удастся, и присвязочная часть составного сказуемого, а также глагольное дополнение русского языка выражаются в них разными способами.

Тщательный анализ материалов современных тюркских языков позволяет лишь в отдельных из них выявить формы, чем-то напоминающие инфинитив. Так, субстантивное имя действия на *-mak* в турецком языке, которое может сочетаться с глаголами, будучи неоформленным, ближе к индоевропейскому инфинитиву, чем то же самое имя действия в узбекском и уйгурском языках, где в позиции приглагольного дополнения оно непременно должно иметь падежные аффиксы. Явная тенденция к сближению с инфинитивом наблюдается у обособившихся падежных форм имен действия, в особенности у формы дат. падежа от имени действия на *-ip* ~ *-ur* ~ *-ar* в алтайском, башкирском, татарском и других языках<sup>42</sup>. Все это говорит о том, что тюркский инфинитив не реликтовая, а развивающаяся категория, исходным материалом для которой, как и для собственно глагольных форм, служат имена действия.

3. В попытках дать исчерпывающее объяснение дополнительным обстоятельствам происхождения глагола тюркологи, монголисты и специалисты по финно-угорским языкам пришли к более или менее единому выводу, смысл которого заключается в признании особой роли позиционных условий.

Нет нужды доказывать, учитывая сказанное в предыдущих разделах, что первоначально любое сочетание было именным и что характер выражавшихся в нем отношений — предикативность или атрибутивность — был обусловлен соположением компонентов, занимаемыми ими позициями и интонационными средствами. Впрочем нельзя исключать и первичную недифференцированность синтаксических связей, отсутствие «принципиального разделения словесных групп на предикативные и атрибутивные», постулированное Э. В. Севортьяном<sup>43</sup>.

Имена действия, не содержавшие признаков предикативности, одинаково широко использовались, наряду с другими именами, и в начале и в конце сочетания. Однако вследствие своеобразия передаваемого содержания, они в гораздо большей мере были потенциальными носителями предикативности, чем предметные и качественные имена, и поскольку конечная позиция для тюркских языков — достаточно строго фиксированная

<sup>39</sup> Н. Н и р т, *Indogermanische Grammatik*, VI, стр. 13.

<sup>40</sup> Ср. у А. А. Потебни: «... в настоящее время можно считать решительно и прочно господствующим мнение, что инфинитив только б ы л некогда именем, но не остался им...» (указ. соч., стр. 338).

<sup>41</sup> Н. К. Д м и т р и е в, *Грамматика башкирского языка*, М.—Л., 1948, стр. 170.

<sup>42</sup> См.: Н. К. Д м и т р и е в, указ. соч., стр. 171; Л. С. Г а д е л ь ш и н, Инфинитивная форма глагола в современном татарском литературном языке. АКД, Казань, 1957, стр. 4—6; В. Н. Т а д ы г и н, К вопросу о глагольной форме на *-arga* в алтайском языке, «Зап. Горно-Алтайского НИИЯЛ», 5, 1962, стр. 54.

<sup>43</sup> Э. В. С е в о р т ья н, О некоторых вопросах структуры предложения в тюркских языках, стр. 8.

позиция предиката, уже само по себе нахождение имен действия в конце сочетания способствовало устойчивому выражению ими предикативности.

Другой чрезвычайно важный фактор, обеспечивший окончательное закрепление за именами действия в конечной позиции предикативных функций, — присоединение к ним личных местоимений. Личные местоимения, заняв крайнее конечное положение, явились основным средством выражения предикативности, но сами по себе, так же как и имена действия в соответствующей позиции, не предопределяли развития глагольных форм. Их сочетания с предметными и качественными именами лежали и продолжают лежать в основе именных предложений тюркских языков, не обнаруживая никаких признаков грамматической трансформации, ср. др.-тюрк. *sān kišisān kīmüñ ovlısān* «ты человек, чей ты сын?»; турецк. *zengin adamın* «ты богатый человек»; узб. *san ўзимизни маҳаллани боласан* «ты дитя нашего квартала»; хакас. *мэн хакас мэн* «я хакас», *сърэр хакассар* «вы хакасы»; якут. *балыксыһын* «я рыбак», *сахаларбит* «мы якуты». Лишь инкорпорируясь в состав имен действия и формально преобразуясь, личные местоимения «вносят» свой вклад в развитие глагола. Благодаря их присоединению осуществляется обозначение агенса в пределах выражения действия: лицо, включая число, входит неотъемлемым компонентом в категориальное содержание нового грамматического класса, а передающие его показатели дополняют черты морфологического своеобразия единиц этого класса.

Трудно сказать, когда началось действие последнего фактора, от чего зависела степень его интенсивности и насколько обязательным было его проявление<sup>44</sup>. В некоторых языках, в частности в монгольском письменном, глагольные формы изъявительного и условного наклонений не включают в себя обозначение лица и последнее обозначается, как правило, за пределами действия, ср. *bi abuba (~abubai)* «я взял», *či abuba (~abubai)* «ты взял», *bi abubasu* «если я возьму», *či abubasu* «если ты возьмешь», *bi abutumi* «я беру», *bida abutumi* «мы берем», *či abuqu* «ты возьмешь», *bida abuqu* «мы возьмем»<sup>45</sup>. Какими бы ни были ответы на перечисленные выше вопросы, суть общего взгляда на роль присоединения личных местоимений 1 и 2-го лица в вербализации имен действия останется неизменной и необходимо согласиться с В. Таули, что обычный путь развития финитного глагола — из сочетания: имя, обозначающее действие, + личное местоимение (для первых двух лиц)<sup>46</sup>. Более того, выражение лица в пределах обозначения действия следует считать одним из определяющих моментов становления глагола и не будет большой смелостью сказать, что степень глагольности устойчиво выполняющих предикативные функции имен действия находится в прямой зависимости от уровня формализации слившихся с ними личных местоимений.

Сложным, но не принципиальным для нас, является вопрос о правомерности и обоснованности выдвинутой несколько десятилетий тому назад гипотезы о посессивной природе предикативных отношений в реконструируемой модели пратюркского (у Г. Винклера — праалтайского)<sup>47</sup> именного предложения. Сопоставляя материалы алтайских языков и анализируя особенности их структуры, Г. Винклер сделал вывод, что древнейшим и исходным для названных языков является предложение с посессивной

<sup>44</sup> А. Габен полагает, что вначале глагол был безличным. См. A. von Gaben, указ. соч., стр. 85, 86.

<sup>45</sup> См.: L. Hambis, Grammaire de la langue mongole écrite, I, Paris, 1946, стр. 49—52.

<sup>46</sup> В. Таули, указ. соч., стр. 143. См. также: E. N. Setälä, указ. соч., стр. 172.

<sup>47</sup> H. Winkler, Die altaische Völker- und Sprachenwelt, Leipzig — Berlin, 1921, стр. 34.

связью<sup>48</sup>. Позднее К. Брокельман, придававший большое значение совпадению в тюркских языках личных показателей некоторых глагольных форм с аффиксами принадлежности имени, ср. кум. *бардѣм* «я пошел», *барсам* «если пойду» (но: *бараман* «иду»), высказал мысль, что предложения типа *tānrī tōbrūtmi* и *mān ajdīm* в древнетюркском языке восходят к посессивно воспринимавшейся констатации бытия-существования: «творение бога (есть)» и «мое сказанное (есть)»<sup>49</sup>. Ср. у К. Грэнбека: *ол олурур* «он сидит» или «его сидение»<sup>50</sup>. Сделанный Г. Винклером вывод явился своеобразной опорой для концепции так называемого посессивного строя предложения, интерес к которой до недавнего времени проявляло значительное число лингвистов-теоретиков.

Не считая целесообразным и уместным возвращаться к вопросу о возможности существования посессивного строя как особого этапа в развитии языка вообще, остановимся подробнее на проблеме двойственности личных окончаний тюркского глагола.

В настоящее время разграничение двух типов спряжения, лично-местоименного и притяжательного, настолько бесспорно и очевидно, что было бы, по меньшей мере, странным не замечать его или игнорировать, ср. узб. *борганман* «я ходил, я сходил», *борганим* «мое хождение». Тем не менее, мы не вправе думать, что рассматриваемая двойственность возникла непременно как следствие отражения в языке принципиально различного восприятия отношений между лицом и действием или состоянием<sup>51</sup>. Есть достаточно убедительные основания говорить о наличии в прошлом одного типа спряжения, развитие которого происходило по линии размежевания средств передачи предикативности и принадлежности. Одни формы — претерит, или прошедшее категорическое, и условное наклонение — раньше других были вовлечены в процесс вербализации и присоединявшиеся к ним лично-местоименные аффиксы упростились в наибольшей степени. Все прочие временные формы вплоть до настоящего времени не утратили полностью именные признаки и их лично-местоименные окончания находятся на разных ступенях упрощения, ср. кум. *бараман* «иду, пойду», карач.-балк. *барам*, кирг., татар. *барам*. Почему именно претерит, а не какая-либо иная форма, стал первой собственно глагольной формой времени и и очень рано занял особое положение в плане передачи лица, установить пока трудно. Вероятно, объяснение этому надо искать в истории самого претерита, в особенностях его грамматического содержания<sup>52</sup>.

Доказательством того, что спряжение всех форм изъявительного и условного наклонений некогда было единым, являются следующие факты. Во-первых, нет сомнений, что форма условного наклонения типа *барсам* более поздняя, чем форма типа *барсаман*: древнейшая разновидность формы условного наклонения, встречающаяся в старописьменных памятниках — с конечным *p* — присоединяет к себе не аффиксы принадлежности, а личные местоимения: *барсарман* «если пойду», *барсарсан* «если пойдешь»,

<sup>48</sup> Там же, стр. 37.

<sup>49</sup> С. В г о с к е л м а н, указ. соч., стр. 283.

<sup>50</sup> К. Г р э н б е к, указ. соч., стр. 85.

<sup>51</sup> Ср.: «Выяснение вопроса об историческом приоритете сравниваемых форм предикативных отношений в значительной мере зависит от решения вопроса о первичности личных местоимений или посессивных аффиксов, преемственность между которыми по тюркским материалам не может считаться бесспорной и должна быть еще доказана» (Э. В. С е в о р т я н, О некоторых вопросах структуры предложения в тюркских языках, стр. 8).

<sup>52</sup> По мнению Б. А. Серебрянникова, исходным значением формы на *-dē* было перфективное. См.: Б. А. С е р е б р е н н и к о в, Тюркологические этюды, I. К проблеме происхождения двух типов личных глагольных окончаний в тюркских языках, в кн.: «Вопросы тюркологии», Баку, 1971, стр. 111.

ср. узб. (диалектн.) *боссовуз* ~ *борсовуз*, *боссојиз* ~ *борсојиз*<sup>53</sup>, алт. *барзабіс*, хакас. *парзабіс* «если пойдем»; тув. *алзівісса*, якут. *йларбіт* «если возьмем»; пор. *шіксабіс* «если выйдем». Во-вторых, совершенно очевидна общая тенденция к упрощению лично-местоименных окончаний в составе временных форм. Дополнительный аргумент в пользу предположения об отсутствии принципиальной разницы между спряжением разных форм — наличие в отдельных тюркских языках частичного или почти полного совпадения личных окончаний у формы претерита и, например, у формы настоящего-будущего времени на *-а*, ср. башк. (диалектн.) *бардїм*, *бардїң* и *барїм*, *бараң*<sup>54</sup>; др.-тюрк. *бардїміз* (< *бардїбіз*) и *барабіз*.

4. В связи с обнаружением многочисленных следов первоначальной нераздельности имени и глагола в кавказских языках было высказано мнение, что эта нераздельность являлась основным «движущим механизмом» эргативности<sup>55</sup>. Приведенное мнение может быть истолковано так, что синкретичность именных и глагольных основ обуславливала наличие строго определенной синтаксической структуры и что она не совместима с существованием номинативного строя. Означает ли это, что номинативная конструкция появилась в тюркских языках сравнительно поздно и что ее возникновению обязательно предшествовало типологически иное состояние, например, господство эргативных построений? Скорее всего, нет, не означает: слишком мало фактов, позволяющих говорить о трансформации синтаксических конструкций как единственном и абсолютно обязательном пути перехода из одного качественного состояния в другое.

\*

Такова в общих чертах древнейшая история тюркского глагола, изложенная в виде обобщения некоторых наблюдений над фактами морфологии тюркских языков. Охватываемый период представляет собой один из важнейших этапов в развитии грамматической системы языка и многое из того, что происходило на этом этапе, должно носить характер общих или относительно общих закономерностей. Разумеется, теоретическое осмысление приведенных фактов может быть и несколько иным, чем предложенное, но в любом случае нельзя обойти молчанием их удивительное сходство и последовательную, устойчивую повторяемость в языках разных групп.

<sup>53</sup> См.: А. Ш е р м а т о в, Каршинский говор узбекского языка. АҚД, Ташкент, 1960, стр. 31; О. Ш а р и п о в, Папский говор узбекского языка. АҚД, Ташкент, 1962, стр. 15, 16.

<sup>54</sup> См.: Н. Х. М а к с ю т о в а, Говор айских башкир. АҚД, М., 1964, стр. 18, 19.

<sup>55</sup> Обстоятельное изложение различных взглядов по вопросу о связи эргативности с недифференцированностью глагола см. в кн.: Г. А. К л и м о в, Очерк общей теории эргативности, М., 1973, стр. 20—23.

Д. И. ЭДЕЛЬМАН

К ГЕНЕЗИСУ ВИГЕЗИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

Исследования большой совокупности разноструктурных языков мира, особенно расширившиеся в последние десятилетия, дают богатый материал, составляющий базу для верификации гипотез, в изобилии представленных в различных областях лингвистической теории. Одной из таких областей, вызвавшей самые противоречивые толкования, явился принцип вигезимального словообразования числительных.

Известно, что любая система числительных, какой бы ни была этимология ее ингредиентов, является системой слов, выражающих абстрактное понятие числа. Вместе с тем, «Понятия числа и фигуры — писал Ф. Энгельс, — взяты не откуда-нибудь, а только из действительного мира. Десять пальцев, на которых люди учились считать, т. е. производить первую арифметическую операцию, представляют собой все, что угодно, только не продукт свободного творчества разума. Чтобы считать, надо иметь не только предметы, подлежащие счету, но обладать уже и способностью отвлекаться при рассматривании этих предметов от всех прочих их свойств кроме числа, а эта способность есть результат долгого, опирающегося на опыт, исторического развития»<sup>1</sup>.

Естественно поэтому, что факт наличия в языках мира, наряду с десятиричным счетом, четверичного, пятеричного, восьмиричного, двадцатиричного и др., оказывается объяснимым именно с этих позиций. Действительно, только абстрагируясь от конкретных качеств реально исчисляемых предметов, человек выбирает за единицу их количественной группировки не их возможную естественную группировку (например, все яблоки с данной яблони, с каждой ее ветки и т. п.), а группировку других предметов — эталонных единиц счета (например, определенной величины кучку раковин или пальцы одной руки и т. п.). Иными словами, человек абстрагируется при счете не только от качественной специфики предметов, но и от возможных типов их естественного объединения, и группирует их в некие множества — единицы второго порядка — так, как группируются предметы, служащие эталонными единицами счета.

В задачу данной статьи не входит анализ общих закономерностей становления системы счета вообще, составляющий предмет особого направления исследований<sup>2</sup>. Отметим лишь, что упоминаемые в ряде работ «вещные» обозначения определенных чисел, типа англ. *score* «двадцатка» (первоначально — «зарубка», употреблявшаяся при счете), нем. *Schock* «шестьдесят штук» (предположительно — от названия кучи из 60 снопов), н.-нем. *Stiege*, в.-нем. *Steige* «двадцатка» (от названия либо лестницы в 20 ступеней, либо клева для мелкого скота), англ. *sneis*, голл. *snees*, дат. *snes* «двадцатка» (первоначально, возможно, шнур или прут, на который нанизывалось 20 определенных предметов)<sup>3</sup> и т. п. не передают еще аб-

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 20, стр. 37.

<sup>2</sup> Ср.: В. З. Панфилов, Категории мышления и языка. Становление и развитие категории количества в языке, ВЯ, 1971, 5.

<sup>3</sup> В. А. Брим, Система числительных в германских языках, «Языковедные проблемы по числительным», I, Л., 1927, стр. 157—158.

солютно абстрактных числовых понятий. Они объединяют группы считае-  
мых предметов естественным для данного хозяйственного уклада способом,  
что связано в конечном счете с конкретными качествами предметов и с теми  
или иными особенностями хозяйства, т. е. с элементами этнокультуры.  
Лишь в тех случаях, когда подобные названия полностью переходят в  
разряд числительных (например, русск. *сорок* из первоначального назва-  
ния вида одежды, авар. *нусго «сто»* от *нус* «нож, ножевая зарубка» с фор-  
мантом числительного -*го* и др.), можно говорить о полной абстрагирован-  
ности в них идеи числа от качественной специфики считаемых предметов.

Далее будут рассмотрены лишь случаи, где слова, обозначающие еди-  
ницы второго порядка, абстрагированные от специфики предметов и пол-  
ностью входящие в состав числительных, отражают счет по пальцам.

Казалось бы, при подобной технике счета единицы второго порядка во  
всех случаях должны были бы иметь одинаковое образование и содержание.  
Однако на деле это не так.

При наличии в разных языках различных систем счета (четверичной,  
пятеричной, восьмиричной и т. д.) наиболее широко и последовательно в  
большинстве современных языков представлены две: десятичная, где чис-  
лительные типа «сорок», «шестьдесят», «восемьдесят» и т. д. строятся по  
принципу « $4 \times 10$ », « $6 \times 10$ », « $8 \times 10$ » . . ., и вигезимальная, где они по-  
строены по модели « $2 \times 20$ », « $3 \times 20$ », « $4 \times 20$ » . . . Наиболее распростра-  
нена в настоящее время первая система, хотя и вторая охватывает огром-  
ные ареалы, объединяющие генетически не связанные языки<sup>4</sup>. Неодно-  
кратно отмечалось при этом, что во многих языках вигезимальная система,  
возникшая первоначально, по-видимому, как нейтральная, т. е. стилисти-  
чески не ограниченная, ныне обнаруживает тенденцию отходить на роль  
второстепенной «хозяйственной», ограниченной определенными бытовыми  
сферами (счетом скота, плодов, яиц, петель на вязании и т. п.), уступая  
роль основной — десятичной системе. Таково, например, положение  
в осетинском<sup>5</sup>, курдском<sup>6</sup>, некоторых памирских языках (в последних  
десятичная система обычно заимствуется вместе с таджикскими числи-  
тельными)<sup>7</sup>.

Совершенно очевидно, что в обеих системах счета в качестве эталонной  
единицы первого порядка принят палец (мы не будем рассматривать здесь  
другие системы счета, имеющие иные опорные единицы, например, двоич-  
ную систему, где единица первого порядка соотносится с рукой, или систе-  
му дюжин, которая основана на счете по трем фалангам четырех пальцев  
одной руки, исключая большой палец)<sup>8</sup>, за единицу второго порядка при-  
нимается один человек, его пальцы, причем первая система основана на

<sup>4</sup> См., например, ареал Индостана и прилегающих районов, Кавказ и частично Закавказье, ряд районов Европы, ряд языков Африки, Америки, островов Тихого океана и др., см.: Ф. Розенберг, Материалы по двадцатному счету, «Языковедные проблемы по числительным», I, Л., 1927, стр. 169—170; E. F e t t w e i s, Das Rechnen der Naturvölker, Leipzig — Berlin, 1927, стр. 37—39, 50, 66—68, 73 и сл. Карту и характеристику ареала двадцатичного счета в индоиранских языках см.: Д. И. Эдельман, Основные вопросы лингвистической географии (на материале индоиранских языков), М., 1968, стр. 92—93, карта 11.

<sup>5</sup> В. И. Абаев, Грамматический очерк осетинского языка, в кн.: «Осетинско-русский словарь», Орджоникидзе, 1962, стр. 517—518.

<sup>6</sup> К. К. Курдов, Грамматика курдского языка, М.—Л., 1957, стр. 139—140; Ч. Х. Бакаев, Язык азербайджанских курдов, М., 1965, стр. 55.

<sup>7</sup> Д. И. Эдельман, Язгулямский язык, М., 1966, стр. 33; Т. Н. Пахалин, Памирские языки, М., 1969, стр. 92.

<sup>8</sup> О естественной связи систем счета с человеческим телом, его конечностями см.: Fr. A. P o t t, Die Sprachverschiedenheit in Europa. An den Zahlwörtern Nachgewiesen, sowie die quinäre und vigesimale Zählmethode, Halle, 1868, стр. 2; см. также: F. S o m m e r, Zum Zahlwort, München, 1951, стр. 62.

числе пальцев рук, вторая — на числе пальцев и рук и ног. Выбор именно этих эталонных единиц хорошо прослеживается на материале ряда языков, где числительные сохраняют этимологическую связь с названиями пальцев, конечностей, человека.

Так, например, в одном из языков группы на-дене — динджйе (кучин), где мизинец обозначает единицу, безымянный палец — число «два», средний — «три», большой «четыре», число «пять» выражается сочетанием «на руке готово», или «на руке»<sup>9</sup>. Понятием «рука» и словами «рука», «одна рука», «рука умерла», «рука готова» (т. е. загнуты все пальцы, а загнутый палец как бы «умирает») выражается число «пять» во многих языках мира. см., например, чукот. *мытлың-эн* «пять» от основы *мынгытлың-ын* «рука», *мынгыт-кэн* «десять» от *мынгыт* «руки», эск. *талгымат* «пять» от *талгык* «рука», алеут. *сау* «пять» от *сах* «рука», ср. *porotei* «пять» (букв. «рука-одна») в языке гуарани (группа тупи-гуарани, Южная Америка), выражения типа *kimsa táki* «пятнадцать» (букв. «три руки»), *táca táki* «двадцать» («четыре руки») в просторечном кечуа Кочабамбы, «пять рук» в значении «двадцать пять» в саравека (одном из аравакских языков) и т. д.<sup>10</sup> В отдельных индоевропейских языках понятие «пять» связано с понятием «кулак».

При счете по пальцам рук и ног во многих языках, где число «пять», т. е. пять пальцев, как бы «завершает» руку, десять — обе руки, пятнадцать — обе руки и ногу, число «двадцать» — обе руки и ноги, человека в целом, для обозначения «двадцати» употребляются выражения типа «человек готов», «человек умер», «человек кончился», «весь человек», «один человек» и т. д.<sup>11</sup>

Естественно, что различие в единицах второго порядка при наличии единой системы как единиц первого порядка (пальцы), так и принципа их объединения (человек), не может быть случайным. Должно существовать основание, побуждающее в одних языках учитывать только пальцы рук, в других — и рук, и ног.

Каузальный план происхождения вигезимальной (а не децимальной) системы в различных языках еще не служил предметом специального рассмотрения. Правда, в целом ряде работ встречаются те или иные попутно высказанные соображения по этому поводу — от тезиса о вероятном его возникновении в период охотничьего или скотоводческого уклада хозяйства соответствующего общества<sup>12</sup> или при счете раковин кучка-

<sup>9</sup> Л. Леви-Брюль, *Первобытное мышление*, М., 1930, стр. 134.

<sup>10</sup> Общая характеристика данной и других систем счета и их анализа даны в работе: К. Меннингера, *Zahlwort und Ziffer (Eine Kulturgeschichte der Zeit)*, I — *Zählreiche und Zahlsprache*, 2. Aufl., Göttingen, 1957, стр. 46 и сл. О передаче «пятерки» словом «рука» см. также: Л. Леви-Брюль, указ. соч., стр. 126 и сл.; E. Feltweis, указ. соч., стр. 62—63; Z. Salzmann, *A method for analyzing numerical systems*, «Word», 6, 1, стр. 80, примеч. 9; D. Baumgartl, *Bemerkungen zu hohen Zahlwörtern*, «Zeitschr. für vergleichende Sprachforschung», 70, 3/4, 1952, стр. 242—243; Г. А. Меновщикова, *Из истории образования числительных в эскимосском языке*, ВЯ, 1956, 4, стр. 65; П. Я. Скорики, *Грамматика чукотского языка*, I, М.—Л., 1961, стр. 386; е го же, *Керекский язык*, «Языки народов СССР», V, М., 1968, стр. 320; В. З. Панфилов, указ. соч., стр. 7, и др.

<sup>11</sup> См., например: К. Меннигер, указ. соч., стр. 46—48, 60 и сл.; J. R. Swanton, *Tlingit*, «Handbook of American Indian languages» (ed. Fr. Boas), pt. 1, Washington, 1911, стр. 198; А. А. Леонтьев, *Папуасские языки*, М., 1974, стр. 68; Г. А. Меновщикова, указ. соч., стр. 69; П. Я. Скорики, *Грамматика чукотского языка*, стр. 386; е го же, *Керекский язык*, стр. 320.

<sup>12</sup> См., например: А. Холодович, *Патер Шмидт и яфетическая теория*, «Языковедение и материализм», вып. II, М.—Л., 1931, стр. 63. При этом утверждение Шмидта том, что десятиричная и двадцатиричная системы не происходят друг из друга и являются самостоятельными, параллельно развивающимися рядами (стр. 73), не вызывает сомнения.

ми<sup>13</sup> до наивного предположения о том, что в Исландии, Дании, Англии, где люди могли ходить дома босиком, счет мог вестись и по пальцам ног<sup>14</sup>. В отдельных работах формирование вигезимальной системы без особых на то оснований вообще прямо или косвенно привязывается к так называемым «примитивным» народам, в то время, как создание десятичной системы признается атрибутом «цивилизованных». Подобные предположения, всецело апеллирующие к тем или иным экстралингвистическим факторам, не дают сколько-нибудь убедительного причинного истолкования возникновения в языке вигезимальной системы.

Чтобы выявить это основание, целесообразно рассмотреть, на чем базируются единицы второго порядка в более элементарных системах счета. Удобный материал для этого представляют языки, в которых единица первого порядка соотносится также с пальцем, но где координатой для единиц второго порядка оказывается не человек в целом, а одна рука. Как уже говорилось выше, во многих языках мира со словом «рука» (и в отдельных — «кулак») этимологически связано числительное «пять». Однако известен целый ряд случаев, где единицей второго порядка, связанной с понятием «рука», оказывается число «четыре». Показателен, например, в этом плане папуасский язык кева, где система счета — четверичная. Здесь понятие «четыре» передается словом *ki*, этимологически связанным с *ki* «рука». При этом большой палец имеет особое название *kode*, отличное от названий других пальцев, и считается отдельно. Таким образом, число «десять» передается здесь как «две руки и два больших пальца»<sup>15</sup>.

Следы четверичной системы можно найти в настоящее время в разных языках мира в виде рудиментов, прослеживаемых этимологически в других системах, ср., например, происхождение числительного «восемь» от «четыре» (а не из сложения «пятерки» с «тройкой», как, например, в чукотском, эскимосском, или самостоятельного образования). Ср. в этой связи факты этимологической зависимости числительного «восемь» от «четыре» в ряде финно-угорских и океанийских языков, в языках кечумара (ср. кечуа *púsaq* «восемь» при аймара *púsi* «четыре»), трактовку общиндо-европейского \**oktō(u)* «восемь» как формы двойственного числа от \**okto* «четыре» (сохранившегося в виде вторичного суффиксального образования на *-i* в авест. *ašti-* «мера длины в четыре пальца»), выводимость общекартвельского числительного «восемь» из исторического обозначения «четырёх», специфический статус (в частности, наличие префиксального классного изменения) лексемы «четыре» в нахско-дагестанских языках и т. д.<sup>16</sup>.

Особенно показательными рудиментами четверичной системы оказываются в тех языках, в которых большой палец и поныне сохраняет специфическое название. Поэтому вполне правомерным представляется высказанное рядом авторов положение о каузальной зависимости функцио-

<sup>13</sup> Ср. предположение Л. Леви-Брюля, что система числительных йоруба, основанная на двадцатичном счете с вычитанием (т. е.  $70 = 20 \times 4 - 10$ ) объясняется употреблением в функции денег раковин каури, которые раскладывали на кучки по пять, двадцать, двести штук (см.: Л. Леви-Брюль, указ. соч., стр. 135).

<sup>14</sup> К. Меннингер, указ. соч., стр. 63. Автор, впрочем, там же отмечает, что эскимосы, считающие на «людях», т. е. на двадцатки, не могли ходить босиком.

<sup>15</sup> А. А. Леонтьев, указ. соч., стр. 68.

<sup>16</sup> Ср.: Б. А. Серебряников, Историческая морфология пермских языков, М., 1963, стр. 216; W. W. Schumacher, Linguistic evidence of Amerindian Sea Routes to Polynesia? A first approach, «Norwegian journal of linguistics», 28, 1, 1974, стр. 42—43; E. Matteson (et alia), Comparative studies in Amerindian languages, The Hague — Paris, 1972, стр. 59; W. B. Henning, Oktō(u), «Transactions of the philological society (1948)», London, 1949, стр. 69; Г. А. Климов, Заимствованные числительные в общекартвельском?, «Этимология — 1965», М., 1967, стр. 308—309, ср. также отмеченную тем же автором загадочную близость общекартвельского \**otxo* «четыре» к индоевропейскому \**oktō(u)* «восемь».

нирования этой системы от принятых в языке правил номинации пальцев; счет пятерками учитывает все пальцы руки, счет четверками — все, кроме большого, обозначающегося особой лексемой и не объединяемого поэтому с остальными<sup>17</sup>.

По-видимому, аналогичная закономерность — различие или общность в принципах номинации пальцев рук и ног — должна лежать и в основе становления десятичной и вигезимальной систем. При наличии единой координаты — человека — для выработки единиц второго порядка возникновение десятичной или вигезимальной системы может зависеть от различия или тождества в названиях пальцев рук и ног<sup>18</sup>.

Если обратиться к конкретному материалу языков с десятичной и вигезимальной системами счета (оставляя пока в стороне индоевропейские), действительно, можно обнаружить определенную закономерность в соотношении систем числительных и названий пальцев.

Так, в эскимосском языке при лексемном единстве обозначения пальцев руки и ноги наблюдается последовательно вигезимальная система, причем лексема «двадцать» связана со словом «человек». Аналогичная картина налицо в большинстве дагестанских языков; названия пальцев рук и ног едины, счет в большинстве языков вигезимальный, но в некоторых языках и диалектах — десятичный (изредка отмечается различие систем по диалектам одного языка)<sup>19</sup>. При этом показательно, что десятичная система функционирует в тех языках, где названия пальцев рук и ног этимологически различны (в табасаранском, даргинском, рутульском). В абхазском языке при едином обозначении пальцев налицо вигезимальная система; в кабардинском литературном языке названия пальцев рук и ног различаются (хотя этимологически восходят к одному корню), счет — десятичный. В картвельских языках (кроме верхнебалльского и лашхского диалектов сванского языка) при единых обозначениях пальцев рук и ног система счета вигезимальная. Та же система отмечена в языке бурушаски (при едином -*mtlš* «палец») Аналогичное положение засвидетельствовано в языке тлингит (Северная Америка, группа на-дене), где к тому же внутренняя форма лексемы «двадцать» — «один человек»<sup>20</sup>.

В языках кечумара при едином названии пальцев руки и ноги (в аймара возможно и описательное разграничение — «руки-палец», «ноги-палец»), счет — десятичный. Такое же соотношение и в тюркских языках (в балкарском, кроме того, зафиксирована вигезимальная система субстратного происхождения).

Для финно-угорских языков характерна десятичная система<sup>21</sup> при этимологически различных обозначениях пальцев руки и ног (ср. фин. *sormi* ~ *varvas*, эст. *sõrm*, *näpp* ~ *varvas*). Аналогичная картина налицо в языке гуарани.

<sup>17</sup> См., например: К. M e n n i n g e r, указ. соч., стр. 33; D. B a u m g a r t l, указ. соч., стр. 243; W. H a r t n e r, *Zahlen und Zahlssysteme bei Primitiv- und Hochkulturvölkern*, «Paideuma», 2, 1941—1943, repr. London — New York, 1966, стр. 300.

<sup>18</sup> Кстати, на той же единой материальной базе — человеке — строился, по-видимому, и восьмиричный счет, учитывающий обе руки человека, но без больших пальцев (см., например, восьмиричный счет в протодравидийском: М. С. А н д р о н о в, *Дравидийские языки*, М., 1965, стр. 58—59).

<sup>19</sup> «Сравнительно-историческая лексика дагестанских языков», М., 1971, стр. 120—121; 238—239; С. М. Х а й д а к о в, *Сравнительно-сопоставительный словарь дагестанских языков*, М., 1973, стр. 39—40, 114—117.

<sup>20</sup> Ср.: J. R. S w a n t o n указ. соч., стр. 198 и Н.-J. P i n n o w, *Grundzüge einer historischen Lautlehre des Tlingit. Ein Versuch*, Wiesbaden, 1966, стр. 65—66, 85.

<sup>21</sup> Б. А. С е р е б р е н н и к о в, указ. соч., стр. 222—225; Н. Н. П о п п е, *О десятках в финно-угорских языках*, «Языковедные проблемы по числительным», 1, Л. 1927.

Даже такой выборочный обзор материала позволяет констатировать следующую закономерность: в языках с вигезимальной системой пальцы рук и ног обозначаются единой лексемой, в языках с десятичной — как единой, так и различными. Эта закономерность обнаруживает определенную связь генезиса вигезимальной и десятичной систем счета в языке с различием в принципах номинации в сфере названий пальцев рук и ног и использования их как счетных единиц.

Если пальцы рук и ног имеют общее название, и, следовательно, семантика «палец», принятая в качестве единицы первого порядка при абстрактном счете, может относиться к любому из них, то единица второго порядка, реальной базой которой является человек, может объединять максимум, т. е. двадцать таких единиц первого порядка, хотя в ряде языков учитывается только десять — по числу пальцев рук, по которым ведется наглядный счет. При этом в одних языках вигезимальная система может проводиться очень последовательно до весьма больших чисел (например, баббийское 1453, выражаемое как  $3 \times [20 \times 20] + [12 \times 20] + 13$ )<sup>22</sup>, в других наблюдается сочетание двадцаток с десятками, а числа, обозначающие сотни, носят чисто десятичный характер<sup>23</sup>.

Если же пальцы рук имеют обозначение, отличное от обозначения пальцев ног, то семантика «палец», способная стать единицей первого порядка, соотносится только с пальцами рук. В таком случае единица второго порядка может объединять самое большее десять единиц первого порядка (либо восемь — в тех языках, где большие пальцы имеют особое название и не считаются в едином ряду с остальными), здесь нет условий для спонтанного возникновения вигезимальной системы.

Таким образом, различие в происхождении разных систем счета по пальцам — четверичной/пятеричной и восьмиричной/десятиричной/двадцатиричной — связано с различными типами номинации в подсистеме названий пальцев и, следовательно, типами объединения пальцев в группы и, в зависимости от этого — с различными типами объединения единиц первого порядка в единицы второго порядка. Очевидно, этот факт может служить одним из примеров обратного воздействия языковых категорий на абстрактные мыслительные категории.

Следует подчеркнуть, что рассмотренная закономерность относится лишь к спонтанному формированию систем счета в том или ином языке, но не к их функционированию в условиях языковых контактов, субстратных влияний и т. п. При относительной закономерности десятичной системы в языках с единым названием для пальцев рук и ног (что является просто результатом «нерезализованных возможностей» языка, имевшего предпосылки и для вигезимальной системы), известно немало примеров вигезимального счета в языках, где названия пальцев рук и ног этимологически различны и где этот счет, следовательно, не мог сложиться спонтанно и, очевидно, может являться результатом какого-то внешнего воздействия.

Яркие примеры разного типа воздействий в системе счета наблюдаются в индоевропейских языках<sup>24</sup>.

<sup>22</sup> А. Г. Ш а н и д з е, Влияние двадцатиричной системы счета на десятиричную систему письма в грузинском языке (1923), в кн.: А. Ш а н и д з е, Вопросы структуры и истории грузинского языка, I, Тбилиси, 1957 (на груз. яз.), стр. 304; см. также: П. Я. С к о р и к, Грамматика чукотского языка, стр. 391.

<sup>23</sup> А. Г. Ш а н и д з е, указ. соч., стр. 303—305.

<sup>24</sup> О других случаях появления двадцатиричного счета под внешним воздействием см., например: V. D. H u m e s, Atapaskan numeral systems, IJAL, 21, 1, 1955, стр. 30, 34, впрочем, ср. там же, стр. 43.

Известно, что зафиксированная поздняя индоевропейская система счета была десятичной, свидетельством чему являются единые построенные на десятичной основе праформы для названий десятков по всем индоевропейским языкам<sup>25</sup>. Каковы же были древнейшие названия пальцев, установить трудно, поскольку в разных группах индоевропейских языков они имеют различную этимологию и часто являются относительно поздними образованиями, иногда отглагольного характера, при этом в одних языках названия пальцев рук и ног различаются, в других — совпадают. Так, в германских языках название пальца руки (нем. *der Finger*, англ. *finger*), связанное происхождением с «пятеркой» через праформу \**penk<sup>u</sup>ros*<sup>26</sup>, этимологически отлично от названия пальца ноги (нем. *die Zehe*, англ. *toe*), однако, последнее связано с индоевропейским корнем \**deik-* «указывать»<sup>27</sup>, что свидетельствует о первоначальном употреблении данного названия и для пальца руки. Об этом же говорит и принадлежность к тому же этимологическому гнезду лат. *digitus* «палец руки и ноги» (<\**dicitus*) и — далее — франц. *doigt* «палец руки»<sup>28</sup> (при наличии во франц. *orteil* «палец ноги» — названия, известного галло-романским языкам и связанного с латинским *articulus* от *artus* «сустав, член»<sup>29</sup>). Индоиранские названия пальца, связанные с индоевропейским корнем \**ang-*, \**ank-* «гнуть(ся); сгибать(ся)»<sup>30</sup>, употребляются для пальцев рук и ног (ср. др.-инд. *angūli-*, *angūri-* «палец руки и ноги», *angūsthā-* «большой палец на руке и ноге», авест. *angušta-* «палец руки и ноги», совр. перс *āngōšt* и т. д.

Характерно при этом, что в отдельных ареалах распространения индоевропейских языков выявляются вигезимальные числительные — от последовательной системы числительных, построенных по двадцатичному принципу (например, в ряде дардских, восточноиранских и индоарийских языков) до единичных «вкрапленных» — вигезимального словообразования отдельных числительных в общей десятичной системе счета (например, во французском). Во всех этих случаях, учитывая изначальность десятичной индоевропейской системы и неавтохтонность индоевропейских языков на большей части территории их нынешнего распространения, можно предположить, что вигезимальные числительные возникли здесь не спонтанно, а в условиях контакта, что и подчеркивается обычно исследователями различных языков европейского ареала.

Для азиатского ареала, где вигезимальная система довольно последовательна и относительно единообразна и где индоевропейские языки сосуществуют с неиндоевропейскими, в том числе и автохтонными, субстратные прототипы прослеживаются относительно четко. На Кавказе для осетинского и курдского языков, а также говоров татского языка — это языки Кавказа, для индоиранских языков Памира, Гиндукуша и смежных районов — прежде всего, язык бурушаски, ср. также вигезимальную систему в гималайских языках, тибето-бирманских языках Ассамы, в ряде языков группы мунда и в дравидийских (где, кстати, вигезимальная система тоже не всегда возникла спонтанно).

<sup>25</sup> См., например: В. П. М а ж у л и с, Индоевропейская десятичная система числительных, ВЯ, 1956, 4.

<sup>26</sup> J. P o k o r n y, *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*, Bern, 1959, стр. 808 (или, по мнению О. Н. Трубачева, со словом «кулак»).

<sup>27</sup> J. P o k o r n y, указ. соч., стр. 188—189.

<sup>28</sup> O. B r o s c h, W. v. W a r t b u r g, *Dictionnaire étymologique de la langue française*, Paris, 1950, стр. 192; J. P o k o r n y, указ. соч., стр. 189.

<sup>29</sup> O. B r o s c h, W. v. W a r t b u r g, указ. соч., стр. 428.

<sup>30</sup> J. P o k o r n y, указ. соч., стр. 46.

В европейском же ареале происхождение вигезимального словообразования числительных в албанском, датском, французском, современных кельтских языках и др. менее ясно. Во-первых, здесь бросается в глаза очень различная степень проникновения принципа этого счета в числительные; если во французском это — осколки вигезимальной модели, существующие в десятичной в целом системе, то в датском проникновение вигезимальности в систему, хотя и не до конца последовательное в смысле охвата числительных, оказывается более последовательным в плане их построения, учитывая, что числа «пятьдесят», «семьдесят», «девяносто» выражаются при помощи вычитания не «десятки», а «половины (от двадцатки)» из чисел соответственно «шестьдесят», «восемьдесят», «сто», которые в свою очередь состоят из целого числа «двадцаток»<sup>31</sup>.

Во-вторых, не совсем ясно, каким путем шло распространение вигезимальной системы в Европе. Трудно согласиться с К. Меннингером<sup>32</sup>, считающим, что посредниками и распространителями вигезимальной системы в Европе были норманны, которые занесли его во Францию и Сицилию, а «frühe Menschen», склонные к счету двадцатками, преобразовали норманское слово *skor* в свои числительные «двадцать». Скорее процесс распространения вигезимальной системы в Европе можно представить иначе. Если наличие ее в баскском объясняет ее некоторые островки в Центральной Европе (учитывая, что баскский язык имел в прошлом значительно более широкий ареал распространения), то наличие ее в кельтских языках и затем передача тем языкам, для которых кельтские послужили субстратом, ставит дополнительные вопросы относительно ареала, где приобрели его сами кельтские языки, и характера языка или языков, кроме баскского, послуживших им в этом гипотетическом ареале субстратом.

Таким образом, проявления вигезимальной системы в индоевропейских языках являются вторичными и не опровергают тезиса о том, что спонтанное возникновение вигезимальной или десятичной системы связано с принципами номинации пальцев.

Думается, что последний — чисто лингвистический фактор и зависимость систем единиц второго порядка от систем названий пальцев как абстрактных счетных единиц первого порядка, абстрагированных от качественной специфики считаемых предметов, как кажется, наиболее убедительно объясняет развитие разных систем счета в разных языках, независимо от степени культурного развития народов (ср., например, вигезимальную систему в языке майя — народа с высоко развитой математической и астрономической традицией).

Не следует забывать к тому же, что двадцатичное, восьмиричное или десятиричное построение числительных, даже системное и спонтанное по происхождению, с течением времени становится достоянием этимологии. Числительное начинает выражать просто абстрактное понятие числа, без соотнесения с его первоначальным значением (вряд ли кто-нибудь при счете задумывается о том, что «сто» происходит из индоевропейского \**kmtóm*, являвшегося производным от \**(d)kmtóm* и связанного первоначально с \**dekmt* «десять», точно так же, как числительное «сорок» не вызывает ассоциаций с одеждой).

<sup>31</sup> Обзор систем счета во французском и датском с [математическим истолкованием см.: К. Меннингер, указ. соч., стр. 77—79.

<sup>32</sup> Там же, стр. 79—80.

З. М. ВОЛОЦКАЯ

К СОПОСТАВИТЕЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

В работе ставится задача описания в сопоставительном плане некоторой подсистемы в словообразовании, а именно подсистемы локативных производных (nomina loci). На важность анализа принципов семантической и формальной организации отдельных участков словообразовательной системы указывалось в последнее время рядом лингвистов<sup>1</sup>. Одну словообразовательную категорию могут образовывать производные различного словообразовательного и морфологического строения, но обязательно содержащие некоторый общий компонент значения. Таким общим семантическим компонентом производных категории nomina loci может считаться значение, выражаемое словами *там, где*. Например, *купальня — там, где купаются, лесопильня — там, где пилят лес, зимовье — там, где зимуют, стрельбище — там, где стреляют, пожарище — там, где был пожар*, и др. Общий компонент значения *там, где* присутствует во всех производных, независимо от морфологического класса и лексического значения производящей основы и словообразовательного морфа<sup>2</sup>.

Следовательно, словообразовательная категория — это совокупность производных, характеризующихся наличием общего семантического компонента. Эти производные могут различаться типами семантических соотношений со своими производящими. Такими соотношениями могут быть: «действие — место произведения действия» (*красить — красильня*), «действие — место результата произведения действия» (*вырубить — вырубка*), «агентивное название лица — место работы этого лица» (*пекарь — пекарня*), «название продукта — место продажи этого продукта» (*молоко — молочная*), «название растения — место произрастания этого растения» (*конопля — конопляник*)<sup>3</sup>.

Мотивированные слова, связанные одинаковыми семантическими отношениями со своими мотивирующими, объединяются в один класс, который, поскольку он включает только словообразовательно членяемые слова, можно назвать деривационным. Производные *красильня* и *коптильня* объединяются в один деривационный класс, поскольку семантически *красильня* так соотносится с *красить*, как *коптильня* с *коптить*. Аналогично *пекарня* так семантически соотносится с *пекарь*, как *слесарня* со *слесарь*. Таким образом, деривационный класс — это совокупность производных, характеризующихся одинаковым семантическим соотношением с производящими.

<sup>1</sup> См.: И. С. У л у х а н о в, О словообразовательной категории, ИАН ОЛЯ, 1975, 1, стр. 27 и 35.

<sup>2</sup> В дальнейшем, поскольку в настоящей статье рассмотрению подлежат только словообразовательные (а не грамматическое) морфы, мы будем употреблять термин «морф» в значении «словообразовательный морф».

<sup>3</sup> Об описании типов семантических соответствий между мотивирующими и мотивированными на материале отыменных глаголов см.: И. С. У л у х а н о в, указ. соч., стр. 29.

Производные <sup>4</sup>, характеризующиеся одинаковым способом образования, объединяются в один словообразовательный тип, под типом понимается «формально-семантическая схема построения слов, абстрагированная от конкретных лексических единиц, характеризующихся общностью а) формального показателя, отличающего мотивированные слова от их мотивирующих, б) части речи мотивирующих слов и в) семантического отношения мотивированного слова к мотивирующему» («Гр. 70», стр. 39).

Проведение сопоставления предполагает а) предварительную обработку языкового материала, которая должна состоять в его единообразном описании, в результате которого устанавливается максимально возможная соизмеримость материала разных языков как необходимое условие сопоставления и б) установление релевантных для сопоставления признаков. Классификация по деривационным классам и словообразовательным типам явилась в настоящем исследовании той первичной обработкой материала, в результате которой он был представлен в форме, удобной для целей сопоставления.

Для распределения производных на деривационные классы или выявления одинаковых соответствий между мотивирующими и мотивированными был применен прием перифразирования <sup>5</sup>, который состоит в замене локативного производного словосочетанием, состоящим из а) мотивирующего слова, б) слов *там, где*, соответствующих по значению локативному морфу, и в) в случае, когда это нужно для передачи значения производного слова, — дополнительно слов, соответствующих по значению «дополнительному семантическому компоненту»<sup>6</sup>, т. е. значению, которое формально не выражено в производном слове и не входит в значения ни одного из непосредственно составляющих компонентов, а возникает в результате самого факта соединения производящей основы и морфа. Все перифразы локативных производных имеют идентичную формальную структуру и различаются только на лексическом уровне: либо значением мотивирующих слов, либо значением слов, вербализирующих «дополнительный семантический компонент». Формальная структура перифразы состоит из а) левой части — мотивирующего слова, разложенного на непосредственно составляющие компоненты  $S^0 + d$  или  $V^0 + d$ , где  $S^0$  — мотивирующая основа имени существительного,  $V^0$  — мотивирующая основа глагола и  $d$  — словообразовательный морф и б) правой части — результата перифразирования, представляющего собой придаточное определительное предложение к обобщающему локативному слову. В предложении обязательно присутствует глагол-сказуемое и факультативно — существительное; « — там, где  $V^0$ », или « — там, где  $V/S^0$ ». Глагол и существительное в свою очередь могут иметь при себе пояснительные слова, которые в большинстве случаев соответствуют по значению «дополнительному семантическому компоненту». В записи грамматические символы слов, вербализующих «дополнительный семантический компонент», заключаются в скобки.

Перифразы получились как результат сведения толкований в толко-

<sup>4</sup> Термины «производное» и «мотивированное», а также «производящее» и «мотивирующее», очевидно, являются синонимами, выбор которых определяется стилистическими моментами, связанными с тем, что слово «производное» в большей степени субстантивировалось, чем «мотивированное».

<sup>5</sup> Прием перифразирования для определения значения производных слов применялся польскими лингвистами; см., например: I. Puzynina, *Nazwy szynności we współczesnym języku polskim*, Warszawa, 1969; R. Grzegorzakowa, *Szowniki odimenne we współczesnym języku polskim*, «Prace językoznawcze», Wrocław — Warszawa — Kraków, 1969.

<sup>6</sup> См.: И. С. Улуханов, Компоненты значения членимых слов, ВЯ, 1974, 2, стр. 74 и 76.

вых словарях к типовым<sup>7</sup>. Набор перифраз явился своего рода классификационной сеткой, которую мы накладывали на совокупность локативных производных каждого из сопоставляемых славянских языков. Производные распределялись по деривационным классам в зависимости от типа смысловых отношений, связывающих мотивированные слова с мотивирующими, если же одно производное могло связываться отношением мотивации с разными мотивирующими<sup>8</sup>, то оно соответственно входило в разные деривационные классы в зависимости от типа отношений с каждым из возможных мотивирующих слов. Например, польское *beczkarnia* может мотивироваться существительным *beczka* по типу отношения «там, где нечто производится» или может мотивироваться агентивным существительным *beczkarz* по типу отношения «там, где работают лица, названные по производимому действию». В первом случае разложение на непосредственно составляющие будет *beczk-arnia*, во втором — *beczkar-nia*.

Каждый деривационный класс по способу образования входящих в него производных подразделяется на словообразовательные типы. В настоящей работе словообразовательный тип является не только основной единицей классификации производных, но и единицей сопоставления. Релевантным признаком каждого словообразовательного типа является наличие определенной словообразовательной морфемы, которая выполняет функцию названия данного типа. Эта морфема реализуется набором конкретных морфов, представляющих алломорфы и варианты этой морфемы. Совокупность производных, образованных по одному типу, в свою очередь подразделяется на подтипы в зависимости от а) выбора конкретного морфа, образующего производные, б) наличия или отсутствия морфофонологических альтернатив на стыке производящей основы и морфа и в) различия схем ударения (для устного варианта языка).

Таким образом, предварительная обработка материала, подготовка его к сопоставлению состояла в распределении производных на деривационные классы и словообразовательные типы. Распределение на деривационные классы производилось с помощью применения приема перифразирования, распределение на словообразовательные типы производилось с помощью приема расчленения на непосредственно составляющие компоненты и систематизацию словообразовательных морфов.

В настоящем исследовании ставилась задача обследования и сопоставления производных слов семантической категории *nomina loci* в пяти славянских языках: русском, польском, словацком, сербском и болгарском. Сбор материала проводился по двуязычным и толковым словарям<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> Более подробно, этот этап работы описан в ст.: З. М. Волоцкая, Семантическая классификация и способы образования отыменных глаголов, сб. «Структурная типология языков», М., 1966, стр. 166—167.

<sup>8</sup> На возможность неединственной мотивации производных указывалось рядом исследователей словообразования, в частности см.: И. С. Улуханов, О принципах описания значения словообразовательно мотивированных слов, ИАН ОЛЯ, 1970, 1; е г о ж е, Виды формально-семантической мотивации слов и проблемы описания словообразовательной семантики, сб. «Вопросы грамматики», Пермь, 1972.

<sup>9</sup> Для русского: «Словарь современного русского литературного языка». 1—17, М.—Л., 1948—1965; «Словарь русского языка», 1—4, М., 1957—1961; С. И. Ожегов, Словарь русского языка, М., 1960; «Обратный словарь русского языка», М., 1974. Для польского: «Słownik języka polskiego», 1—11, Warszawa, 1958—1968; «Mały słownik języka polskiego», Warszawa, 1973; «Большой русско-польский словарь», Москва—Варшава, 1970; «Большой польско-русский словарь», Варшава—Москва, 1967; «Index a tergo do Słownika języka polskiego, 1—11», Warszawa, 1973. Для словацкого: «Slovensko-ruský prekladový slovník», Bratislava, 1—1950; 2—1957; «Velký Rusko-slovenský slovník», 1—5, Bratislava, 1960—1970. Для сербского: «Сербско-хорватско-русский словарь», М., 1957; «Русско-сербско-хорватский словарь», М., 1965. Для болгарского: «Болгарско-русский словарь», М., 1953; «Русско-болгарский словарь», М., 1962.

Исследуемый материал состоял из 340 русских локативных производных, 900 польских, 340 словацких, 420 сербских и 220 болгарских.

Производные существительные рассматриваемой семантической категории подразделяются в настоящем исследовании на восемь деривационных классов; некоторые из них, как, например, четвертый и шестой, разделены на подклассы (естественно, предлагаемая классификация не является единственно возможной).

При описании каждого класса указываем: 1) перифразу, определяющую данный класс; 2) семантическую и морфологическую характеристику мотивирующего слова и слов, соответствующих по значению «дополнительному семантическому компоненту»; 3) словообразовательные типы и подтипы, на которые подразделяется рассматриваемый деривационный класс внутри каждого из сопоставляемых языков<sup>10</sup>.

Первый деривационный класс определяется применимостью перифразы  $V^0 + d \rightarrow там, где V^0$  (например, *сушилня* → *там, где сушат*). Релевантным признаком производных первого деривационного класса является их мотивированность глаголом, выражающим в основном профессиональную деятельность.

В русском языке первый деривационный класс состоит из четырех словообразовательных типов с подтипами:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (61,6%)		
а	-льня (54,8%)	красильня
б	-ня (6,8%)	бойня
2 (27,3%)		
а	-ная (24,8%)	проходная
б	-овая	буровая
в	-ая	прихожая
3 (9,6%)	-ка	дежурка
4 (1,5%)	-ница	варница

В польском языке из двух типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (99%)		
а	-alnia (44%), -elnia	krajalnia, warzelnia
б	-arnia (30%), -ernia	farbiarnia, galwanizernia
в	-ownia (18%)	walcownia
г	-nia (7%)	wiertnia, rzeznia
2 (1%)	-nica	lecznica

<sup>10</sup> Относительное количество (процент) производных, образованных по данному типу, т. е. с помощью данной словообразовательной морфемы, записывается при номере этого словообразовательного типа, а относительное количество производных, образованных с помощью конкретного морфа, записывается при этом морфе. Некоторые алломорфы одной морфемы входят в один подтип, например, польские *-arnia*, *-ernia*. За 100% принимается число производных, входящих в данный деривационный класс. Ввиду ограниченности объема мы не приводим данных относительно распределения типов на подтипы в зависимости от характера чередования и схемы ударения. Мы считаем непосредственно составляющими компонентами производного слова производящую основу и словообразовательный морф, не подразделяя второй компонент на собственно словообразующую часть и грамматическую (т. е. записываем *-ня*, а не *-ня* или *-ка*, а не *-ка*).

В словацком языке из трех типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (94,2%)		
а	-áreň (54,2%)	farbiáreň
б	-ovňa (28,5%)	opravovňa
в	-ňa (11,5%)	upravňa
2 (2,9%)	-nica	palenica
3 (2,9%)	-eria	destileria

В сербском языке из пяти типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (73%)	-ница, -оница	валаоница, предионица, ковница
2 (11,1%)	-ара	стругара, тискара
3 (8,3%)	-шите, -лиште	пралиште, лечилиште
4 (4,6%)	-ло	перило, солило
5 (3%)	-ана	пилана

В болгарском языке из трех типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (73,4%)	-ница, -ица, -лница	варница, валяница, сушилница
2 (15,3%)	-лня	пералня, читалня
3 (11,3%)	-лице	писалице, читалице

Второй деривационный класс определяется применимостью перифразы  $S_{ag}^{II} \vdash d \rightarrow там, где (V) S_{ag}$ . [например, *слесарня*  $\rightarrow там, где (работают) слесари$ ]. Релевантными признаками производных этого деривационного класса являются а) мотивированность агентивными существительными (производными или непроизводными) и б) дополнительный семантический компонент выражается глаголами, обозначающими сам процесс труда, например, *работать, заниматься* и т. п.

В русском языке этот деривационный класс состоит из четырех словообразовательных типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (70%)		
а	-ская (57%)	парикмахерская, детская
б	-ная	слесарная
2 (20%)	-ня	пекарня
3 (6,7%)	-ка	кочегарка, сторожка
4 (3,3%)	-ница	кузница

В польском языке из двух типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (97,7%)		
а	-nia (92,9%)	tokarnia
б	-arnia	cieślarnia
2 (2,3%)	-ówka	dozorcówka

<sup>11</sup>  $S_{ag}$  — агентивное существительное,  $d_{ag}$  — деривативный морф с агентивным значением, таковы польск. -arz, серб. -ар, -ач; болг. -ар, -ач, -жия, -чия.

В словацком языке из трех типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (58,3%)		
а	-eň (41,7%)	<i>tokáreň</i>
б	-ňa	<i>kozuluzňa</i>
в	-ovňa	<i>ševcovňa</i>
г	-áreň	<i>kuchtiáreň</i>
2 (36,2%)	-stvo	<i>kovačstvo</i>
3 (5,5%)	-nica	<i>kazateľnica</i>

В сербском языке из трех типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (86,7%)	-ница	<i>берберница, ковачница</i>
2 (8,7%)	-ија	<i>тангарија</i>
3 (4,6%)	-на	<i>пекарна</i>

В болгарском языке из одного типа:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (100%)	-ница	<i>берберница, шивачница</i>

Третий деривационный класс определяется применимостью перифраз:  $S^0 + d \rightarrow \text{там, где } /V/S^0$  или  $S^0 + V^0 + d \rightarrow \text{там, где } V^0S^0$ . Релевантными признаками производных этого класса являются: а) мотивированность существительными, обозначающими предметы или вещества и б) дополнительный семантический компонент выражается глаголами, обозначающими процесс создания или переработку чего-либо, например, *производить, обрабатывать, ремонтировать* и т. п. Например, *konserviarnia*  $\rightarrow$  там, где (производят) консервы<sup>12</sup>, *seletrarnia*  $\rightarrow$  там, где (обрабатывают) селитру. В случае, когда мотивированное слово сложно-производное, в качестве сказуемого выступает мотивирующий глагол, например, *пивоварня*  $\rightarrow$  там, где варят пиво.

В русском языке этот деривационный класс состоит из одного словообразовательного типа:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (100%)		
а	-ня (92,6%)	<i>лесопильня</i>
б	-ярня	<i>дегтярня</i>
в	-овня	<i>солодовня</i>

В польском языке состоит из одного типа:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (100%)		
а	-arnia (55,4%)	<i>saletrarnia</i>
б	-ownia (35%)	<i>stalownia, cynkownia</i>
в	-nia (9,6%)	<i>cegielnia</i>

<sup>12</sup> Результаты перифразирования приводятся в переводе на русский язык.

В словацком языке из четырех типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (76,7%)		
а	-áreň (62,8%)	octáreň
б	-ovňa	cinikovňa
в	-eň	papiereň
г	-ňa	tehelňa
2 (9,4%)	-arstvo	hodinarstvo
3 (9,4%)	-#	cukrowar, pivovar
4 (4,5%)	-ka	celulozka

В сербском языке из четырех типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (56,2%)		
а	$d_{ag}$ -ница (43,7%)	медарница, сипарница
б	-ница	книговезница
2 (28,1%)	-ара	железара, каменара
3 (12,5%)	-ана	црепана, солана
4 (3,2%)	-њача	шећерњача

В болгарском языке из двух типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (90,9%)		
а	$d_{ag}$ -ница (81,8%)	камънарница
б	-ница	книговезница
2 (9,1%)	-ице	катранице

Четвертый деривационный класс определяется применимостью перифраз:  $S^0 + d \rightarrow \text{там, где}$   $S^0$  или  $S^0 + V^0 + d \rightarrow \text{там, где}$   $V^0 S^0$ . Релевантными признаками производных этого класса являются: а) мотивированность существительными, обозначающими предметы, вещества, а также продукты питания, предметы домашнего обихода и т. п.; б) дополнительный семантический компонент выражается глаголами, обозначающими нахождение где-либо, например, *храниться, находиться*. В случае, когда перифразируется сложнопроизводное слово, то в качестве сказуемого выступает мотивирующий глагол (второй компонент сложного слова). Например, *овощехранилище*  $\rightarrow$  там, где хранятся овощи. Производные четвертого деривационного класса обозначают в основном склады. К этому же классу в качестве его подкласса относятся локативные существительные, обозначающие места купли и продажи (магазины, места общественного питания). При перифразировании производных этого подкласса дополнительный семантический компонент вербализуется глаголами *продаваться* и *покупаться*, например, *молочная*  $\rightarrow$  там, где (продают) молоко.

В русском языке четвертый деривационный класс состоит из четырех словообразовательных типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (52%)		
а	-ная (45%)	молочная, булочная
б	-евая, -овся (7%)	пирожковая
2 (28%)	-ница (26,4%)	житница
3 (15%)	-ице	картофельохранилище
4 (5%)	-ня	кофейня

## В польском языке из двух типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (99%)		
а	-arnia (45%)	owocarnia
б	-ownia (44%)	wozownia
в	-nia (8%)	szatnia
г	-alnia (2%)	drwalnia
2 (1%)	-arka	bielizniarka

## В словацком языке из пяти типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (62,7%)		
а	-áreň (50%)	dreváreň, pracháreň
б	-ovňa (6,2%)	knihovňa, strojovňa
в	-eň	kociáreň
г	-ňa	kotolňa
2 (15,6%)	-nica	obilnica, zasobnica
3 (12,4%)	-arstvo, -nictvo	zelenarstvo, papiernictvo
4 (6,2%)		
а	-isko	skladisko
б	-ište	semenište
5 (3,1%)	-eria	drogeria

## В сербском языке из шести типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (62,5%)		
а	-ница (32,1%)	књижница, папирница
б	$d_{ag}$ -ница (30,4%)	месарница, платнарница
2 (23,2%)	-ара	кожара, брашнара
3 (5,3%)	-ана	кафана, стаклана
4 (3,4%)	-ерија,	дрогерија
5 (2,8%)	-ња	плевња
6 (2,8%)	-њача	ћумурњача

## В болгарском языке из двух типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (89%)		
а	$d_{ag}$ -ница (68%)	дъскарница, книжарница
б	-ница (18%)	књижница
в	$d_{ag}$ -ник (3%)	дърварник
2 (11%)	-ария	трапезария

Пятый деривационный класс определяется применимостью перифразы  $S^0 + d \rightarrow там, где (V) S^0$  [например, муравейник  $\rightarrow там, где (живут) муравьи$ ].

Релевантными признаками производных этого класса являются: а) мотивированность существительными, обозначающими одушевленные существа: названия видов зверей, птиц, животных, домашнего скота и пр., б) дополнительный семантический компонент (V) вербализуется глаголами, обозначающими нахождение где-либо, например, *жить, находится, изобиловать* и т. п.

В русском языке этот деривационный класс состоит из трех словообразовательных типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (75,8%)		
а	-ник (30%)	коровник
б	-ятник, -атник, -овник	голубятник, медве- жатник, слоновник
2 (21,1%)		
а	-ня	скворечня
б	-арня	овчарня
в	-овня	волозня
3 (3,1%)	-инец	зверинец

В польском из трех типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (80%)		
а	-arnia (62,5%)	krolikarnia
б	-nia	kanarnia
в	-ownia	wolownia
2 (17,5%)	-isko, -owisko	mrowisko, bobrowisko
3 (2,5%)	-nik	cielętnik

В словацком из четырех типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (50%)	-árň	kroviárň
2 (33,2%)	-inec	ovčinec
3 (8,4%)	-in	včelín
4 (8,4%)	-enisko	mravenisko

В сербском из четырех типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (55%)	-ак-, -ињак	зечињак, пчелњак
2 (25%)	$d_{ag}$ -ник $d_{ag}$ -ниџа	кокошарник коњушница
3 (10%)	-аџ, -ињаџ	свињаџ, кокошињаџ
4 (10%)	-ара	штенаара, козара

В болгарском из шести типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (67,5%)		
а	$d_{ag}$ -ник (37,5%)	кокошарник
б	$d_{ag}$ -ниџа (30%)	козарница
2 (12,5%)	-иџе	змиџе
3 (8%)	-ичина	лисичина
4 (4%)	-уняк	мравуняк
5 (4%)	-арня	овчарня
6 (4%)	-ин	пчелин

Шестой деривационный класс определяется перифразой  $V^0 + d \rightarrow \text{там, где } V^0$ . Он отличается от первого деривационного класса значением мотивирующего глагола: если в первом деривационном классе мотивирующие глаголы обозначали профессиональную деятельность, то в шестом мотивирующими глаголами являются либо а) глаголы состояния, пребывания, нахождения где-либо (*скрываться, пребывать, ждать, ночевать, спать, стоять, зимовать, проводить лето* и др.), б) глаголы передвижения, например, *летать, ездить, плавать* и др., в) глаголы, обозначающие разного рода занятия, например, *купаться, охотиться, наблюдать* и др.

Примеры перифразирования: *спальня*  $\rightarrow$  *там, где спят*, польск. *poslegowisko*  $\rightarrow$  *там, где ночуют*, серб. *пребывалиште*  $\rightarrow$  *там, где пребывают (место пребывания)*, *скривалиште*  $\rightarrow$  *там, где скрываются (убежище)*, *чекалиште*  $\rightarrow$  *там, где ждут*, *купалиште*  $\rightarrow$  *там, где купаются* (русск. *купальня*) и др.

Мы рассматриваем в качестве подкласса этого класса также локативные производные, образованные от существительных, но мотивированные действием, производимым данным существительным. Например, польск. *wiatrowisko*  $\rightarrow$  *там, где (дует) ветер*. Общий вид перифразы  $S^0 + d \rightarrow \text{там, где } (V) S^0$ . Дополнительный семантический компонент вербализуется глаголами, обозначающими действия, свойственные, присущие мотивирующему существительному.

В русском языке шестой деривационный класс состоит из шести словообразовательных типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (60%)	-ище, -лище, -бище	<i>зимовище, убежище</i>
2 (14%)		
а	-ка	<i>стоянка</i>
б	-лка	<i>раздевалка</i>
3 (8%)	-ье	<i>зимовье</i>
4 (8%)	-льня	<i>спальня</i>
5 (6%)		
а	-ая	<i>прихожая</i>
б	-льная	<i>ожидательная</i>
6 (4%)	-#	<i>приют</i>

В польском языке из трех типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (58%)		
а	-isko (30%)	<i>schronisko</i>
б	-owisko (28%)	<i>zimowisko</i>
2 (39%)		
а	-alnia (15,1%)	<i>poczekalnia</i>
б	-nia (13,5%)	<i>jezdnia</i>
в	-ownia (11,5%)	<i>warownia</i>
3 (3%)		
а	-nica (2%)	<i>strzelnica</i>
б	-nik (1%)	<i>chodnik</i>

## В словацком языке из шести типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (45%)		
а	-isko (25,7%)	kupalisko, zimovisko
б	-ište (19,3%)	letište, učilište
2 (41,4%)		
а	-ňa (30,7%)	hovorňa, studovňa
б	-áreň (10,7%)	jazdiáreň, čakáreň
3 (9%)	-nica, -nik	tržnica, letník
4 (2,1%)	-inec	nalezinec, starobinec
5 (1,6%)	-adlo	odpočívadlo
6 (0,9%)	-ina	pastvina

## В сербском языке из шести типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (50,4%)	-иште, -лиште	ноћиште, пливалиште, летовалиште
2 (35%)	-оница, -ница, -ник	шетаоница, ложница, ходник
3 (5,2%)	-ана, -она	стрелана, казниона
4 (5,2%)	-ка	метаљка, тоциљавка, тоциљажка
5 (2,8%)	-ло	купатило
6 (1,4%)	-ара	сметљара

## В болгарском языке из двух типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (91%)	-ище, -лище, -бище	зимовище, обиталище, стрелбище
2 (9%)	-ляя	чакаляя, къпаляя

Седьмой деривационный класс определяется перифразой  $V^0 + d \rightarrow$  там, где (результат действия)  $V^0$  или  $S^0 + d \rightarrow$  там, где (находился в прошлом)  $S^0$ , причем  $S^0$  обязательно имеет отношение к действию (объект, который был и которого не стало в результате применения действия). Например, *пожарище*  $\rightarrow$  там, где (был) пожар; *karczowisko*  $\rightarrow$  там, где (было произведено и имеется результат действия) *корчевать*.

Когда локативное производное мотивируется существительным, то всегда имеет место семантическая связь с действием, производимым этим существительным. Например, польск. *gradowisko*  $\rightarrow$  поле, (небитое) градом [там, где (бил) град].

Релевантным признаком этого деривационного класса является его перфектность, обязательная мотивированность глаголом, действие которого относится к прошлому, а результат действия проявляется в настоящем. Дополнительный синтаксический компонент состоит в наличии в производном слове значения перфектности, в этом его отличие от шестого деривационного класса, для которого характерна презентность, т. е. соотнесенность с обычным, повторяющимся действием в настоящем.

В русском языке этот деривационный класс состоит из шести словообразовательных типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (40%)	-ище	пожарище
2 (25%)	-ина	впадина
3 (11%)	-#	обвал, осыпь
4 (8%)	-ня	пашня
5 (8%)	-ка	вырубка
6 (8%)	-ье	корчевье

В польском из трех типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (96,4%)		
а	-isko (83,3%)	<i>nasypisko</i>
б	-owisko (13,1%)	<i>wyrębisko</i>
2 (1,8%)	-ina	<i>zapadlina</i>
3 (1,8%)	-nia	<i>zalewnia</i>

В словацком языке из трех типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (55%)		
а	-isko (50%)	<i>nanosisko, spalenisko</i>
б	-ište (5%)	<i>hradište</i>
2 (40%)	-ina	<i>vpadlina, zatočina</i>
3 (5%)	-nica	<i>ornica</i>

В сербском языке из двух типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (53%)	-иште	<i>пожариште, блаштиште</i>
2 (47%)	-ина	<i>крчевина, торина</i>

В болгарском языке из трех типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (66,6%)	-ище	<i>огнище, езерище</i>
2 (17,2%)	-ина	<i>вдлъбнатина</i>
3 (16,2%)	-#	<i>нанос</i>

Восьмой деривационный класс определяется применимостью перифразы  $S^0 + d \rightarrow там$ , где (V)  $S^0$  [например, *березняк*  $\rightarrow$  там, где (растут) березы]. Релевантными признаками производных этого деривационного класса являются а) их обязательная мотивированность существительными, обозначающими деревья, злаки, фрукты, овощи и т. п. и б) дополнительный семантический компонент (V) вербализуется глаголом *расти*.

В русском языке этот деривационный класс состоит из трех словообразовательных типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (70%)		
а	-ник (56%)	<i>ельник</i>
б	-овник, -арник, -анник	<i>кедровник, пихтарник, ольшанник</i>
2 (18%)	-як, -няк	<i>сосняк, ивняк</i>
3 (12%)	-ище, -овище	<i>клеверище, гороховище</i>

В польском языке из пяти типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (49,1%)		
а	-isko (30%)	<i>kartoflisko</i>
б	-owisko (19,1%)	<i>grochowisko</i>
2 (18,6%)		
а	-arnia (17,1%)	<i>chmielarnia</i>
б	-ownia (1,5%)	<i>bananownia</i>
3 (17,1%)	-ina, -yna	<i>grabina, olszyna</i>
4 (10%)	-nik	<i>chmielnik</i>
5 (5,2%)	-niak	<i>brzezniak, sośniak</i>

## В словацком языке из четырех типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (59,3 %)		
а	<i>-isko, -nisko</i> (53,8 %), <i>-ovisko</i>	<i>konopisko, kukurič-</i> <i>nisko, makovisko</i>
б	<i>-ovište</i> (5,5 %)	<i>ryžovište</i>
2 (29,6 %)	<i>-ina</i>	<i>smrečina</i>
3 (7,5 %)	<i>-nica</i>	<i>konopnica</i>
4 (3,6 %)	<i>-áreň</i>	<i>jagodáreň</i>

## В сербском языке из семи типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (33,3 %)	<i>-иште, -овиште</i>	<i>кунуциште, маковиште</i>
2 (26,6 %)	<i>-ик, -ник</i>	<i>брзик, хмельник</i>
3 (25 %)	<i>-ак, -њак</i>	<i>конопак, јабучњак</i>
4 (6,6 %)	<i>-ар, -ара</i>	<i>липар, дудара</i>
5 (3,3 %)	<i>-овица, -овик</i>	<i>липовица, меховик</i>
6 (3,3 %)	<i>-ије</i>	<i>орашје, елашје</i>
7 (1,9 %)	<i>-ина</i>	<i>напратина</i>

## В болгарском языке из трех типов:

Тип	Суффиксы	Примеры
1 (60 %)	<i>-ак, -алак</i>	<i>брзак, върбалак</i>
2 (35 %)	<i>-ице</i>	<i>кукурузице</i>
3 (5 %)	<i>-ник, -арник</i>	<i>цветарник</i>

Предложенное рассмотрение словообразовательных типов имеет следующие основания.

1. Словообразовательные типы выделяются нами по тому же принципу, что и в «Гр. 70»; большая дробность объясняется тем, что у нас, в отличие от авторов «Грамматики», исходным множеством, подлежащим классификации на словообразовательные типы, является не совокупность всех производных слов, а совокупность локативных производных. Так, в «Гр. 70» выделяется тип существительных с суффиксом *-ник* с общим (типovým) значением «предмет (одушевленный или неодушевленный), характеризующийся отношением к предмету или явлению, названному мотивирующим словом» (стр. 99), у нас же по причине иного объема исходного материала аналогичный тип с суффиксом *-ник* имеет значение «место, характеризующееся нахождением в нем или на нем предмета, названного мотивирующим словом».

2. Мы рассматриваем в одном ряду неомонимичные локативные форманты (например, *-льня*) и омонимичные (например, *-ница, -ник*), поскольку для целей настоящей работы такое подразделение несущественно и сильно усложнило бы классификацию.

3. Мы не различаем производные, в которых локативное значение основное и первичное, и производные, в которых локативное значение является вторичным, развившимся по регулярной действующей модели семантических изменений (имя со значением действия → место, где происходит или происходило данное действие; например: *вырубка, обвал*).

Деривационные классы и словообразовательные типы могут быть охарактеризованы по параметрам 1) емкости, 2) однородности и 3) регуляр-

ности. Емкость деривационного класса — это отношение количества производных данного деривационного класса к количеству производных всей словообразовательной категории; емкость словообразовательного типа — это отношение количества производных, образованных с помощью морфемы, определяющей тип, к общему количеству производных всего деривационного класса. В табл. 1 приводятся в графе первой данные емкости деривационных классов по пяти славянским языкам. Емкость обозначается в процентах, за 100% принимается общее количество локативных производных данного славянского языка. Однородность деривационного класса обратно пропорциональна количеству словообразовательных типов, из которых состоит данный класс. В табл. 1 приводятся данные по однородности деривационных классов по пяти славянским языкам. Однородность обозначается в виде дроби, в числителе которой единица, а в знаменателе число, указывающее количество словообразовательных типов, из которых состоит данный класс; чем знаменатель больше, тем значение дроби (мера однородности) меньше.

Регулярность деривационного класса прямо пропорциональна емкости входящих в него словообразовательных типов. Деривационный класс считается регулярным, если один (или более) из входящих в него словообразовательных типов обладает емкостью, превышающей заданный процент предельной емкости. Для настоящего исследования таким заданным процентом предельной емкости словообразовательного типа, обуславливающей регулярность деривационного класса, является 25%. Словообразовательные морфы, с помощью которых образовано не менее 25% производных данного класса, будем называть доминирующими для данного класса. В графе «регулярность» табл. 1 перечисляются доминирующие морфы с указанием относительной употребительности локативных производных, образованных с помощью этих морфов. За 100% берется общее количество производных рассматриваемого деривационного класса в пределах данного славянского языка.

Если проводить сопоставление по словообразовательным морфемам, то для характеристики каждой морфемы надо выяснить следующие параметры: а) какими морфемами она реализуется в каждом конкретном славянском языке, б) какова распространенность морфемы во всех ее реализациях, т. е. количество ее алломорфов и вариантов (распространенность обозначается в процентах, за 100% принимается общее количество локативных производных в данном славянском языке); в) производные каких деривационных классов эта морфема образует и в каких классах она выступает как доминирующая (т. е. образует более 25% производных данного деривационного класса). Приведем некоторые сопоставительные данные относительно наиболее распространенных локативных морфем.

Морфема *-ИЩЕ* имеет примерно одинаковое распространение по сопоставляемым славянским языкам, а именно, в русском 14,7% локативных производных образовано с помощью морфа *-ище*, в польском 25% с помощью морфа *-isko*, в словацком 29% с помощью морфов *-isko* и *-ište*, в сербском 27,3% с помощью морфа *-иште* и в болгарском 26,3% производных образовано с помощью морфа *-ище*. Эта морфема как доминирующая выступает в шестом, седьмом и восьмом деривационных классах.

Морфема *-НЯ* представлена наибольшим количеством алломорфов и наиболее распространена в польском и словацком; в польском она представлена морфемами *-arnia* — 26,6%, *-ownia* — 18%, *-alnia* — 13,3%, *-nia* — 11,6%, в словацком *-áreň* — 24,4%, *-ňa* — 14,1%, *-ovňa* — 4,7%, *-eň* — 4%. Значительно меньше эта морфема распространена в русском: *-ня* — 15,3% и *-альня* — 13,2%; она представлена в единичных образованиях в болгарском и сербском.

Таблица 1

Деривацион- ные классы	Русский			Польский			Словацкий			Сербский			Болгарский		
	ем- кость	одно- родн.	регулярн.	ем- кость	одно- родн.	регулярн.	ем- кость	одно- родн.	регулярн.	ем- кость	одно- родн.	регулярн.	ем- кость	одно- родн.	регулярн.
I	22%	1/4	-льня 54,8% -ая } -ная } 27,3% -овая }	23%	1/2	-alnia 44% -arnia 30%	11%	1/3	-dreň 54,2% -ovňa 28,5%	8%	1/6	-ница 73%	8%	1/3	-ница 73,4%
II	9%	1/4	-ая } -ная } 70% -ооая }	5%	1/2	-nia 92,9%	8%	1/3	-eň 41,7% -stvo 36,2%	10%	1/3	ница- 86,7%	24%	1	-ница 100%
III	12%	1/2	-ня 92,6%	17%	1/2	-arnia 55,4% -ownia 35%	13%	1/4	-dreň 62,8%	7%	1/4	-ница 56,2% -ара 28,1%	13%	1/2	-ница 90,9%
IV	11%	1/3	-ая } -ная } 63% -овая } -ница 26,4%	12%	1/2	arnia 45% -ownia 44%	10%	1/4	dreň 50%	14%	1/6	-ница 62,5%	5%	1/6	-ница 86%
V	10%	1/3	-ник 75,7%	5%	1/3	-arnia 62,5%	4%	1/4	-dreň 50% -inec 33,2%	5%	1/4	-няк 55% -ник 25% -ница 25%	12%	1/6	-ник 37,5% -ница 30%
VI	15%	1/6	-ице- 60%	23%	1/3	-isko 30% -owisko 28%	41%	1/6	-isko } 45% -ište } -ňa 30,7%	36%	1/6	-иште- 50,4% -ница 35%	25%	1/2	-ице 91%
VII	6%	1/6	-ице- 40% -ина 25%	7%	1/3	-isko 83,3%	6%	1/3	-isko 50% -ina 40%	5%	1/2	-иште 53%	4%	1/3	-ице 66,6%
VIII	15%	1/3	-ник 56%	8%	1/6	-isko } 49,1% -owisko }	7%	1/4	-isko } 53,8% -ovisko }	15%	1/6	-иште 33,3%	9%	1/3	-ак 60% -ице 35%

Морфы *-arnia* (польск.) и *-áreň* (слов.) доминируют в первом, втором, четвертом и пятом деривационных классах; *-альня* (русск.) и *-alnia* (польск.) в первом деривационном классе; *-ня* (русск.) в третьем классе, *-nia* (польск.) во втором и *-ňa* (слов.) в шестом классе.

Морфема *-НИЦА* наиболее распространена в болгарском и сербском. В болгарском с помощью этой морфемы образовано 48% всех локативных производных, а в сербском 45% всех локативных производных. Эта морфема представлена морфами *-ница* и *-ник*, которые в сербском и болгарском выполняют ту семантическую функцию, которую в польском выполняют морфы *-arnia*, *-alnia*, *-ownia*, *-nia* и словацком морфы *-áreň*, *-eň*, *-ňa*, *-ovňa*.

Морфема *-НИЦА* в сербском и болгарском доминирует в первом, втором, третьем, четвертом и пятом деривационных классах.

Таким образом, в исследовании: 1. Были предложены некоторые параметры сопоставления лексического материала славянских языков. Рассмотрены и сопоставлены по формальным признакам (способам образования) и семантическим (типам значений) локативные производные русского, польского, словацкого, сербского и болгарского языков.

2. Сопоставлению предшествовала обработка лексического материала, которая состояла в классификации его на деривационные классы и словообразовательные типы. В качестве единицы сопоставления был взят в плане содержания деривационный класс, а в плане выражения словообразовательный тип. Деривационные классы и словообразовательные типы сопоставлялись по параметрам емкости, однородности и регулярности.

3. Сопоставление на лексическом уровне производных *potina loci* показало четкие различия между польским и словацким языками, с одной стороны, и сербским и болгарским, с другой. Русский язык занимает между этими группировками промежуточное положение, обнаруживая отдельные черты близости с западнославянскими языками и отдельные черты близости с южнославянскими языками.

Т. Г. ВИНОКУР

СИНОНИМИЯ В ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

1. Традиционный взгляд на синонимию как на свойство языка, которое можно рассматривать в двух равноправных планах — семантическом и стилистическом, — соответственно различая смысловые (идеографические) и стилистические синонимы — давно уже, в той или иной связи, подвергается сомнению, критике, уточнениям.

В последнее время все большее число ученых склоняется к признанию синонимии чисто семантическим явлением. Преимущественно на этом пути формируются сейчас новые синонимические теории, выдвигающие ограничительные критерии для старых понятий: тождество значения, сходство значений, близость их «оттенков»; это сопровождается учетом парадигматических и синтагматических отношений элементов смысловой структуры языковых знаков, сопоставляемых в качестве синонимов.

В недрах семантических теорий получает новое освещение и стилистический аспект синонимии, которым обосновываются причины объективного наличия синонимов в системе языка, поддерживающегося непреходящим условием какого бы то ни было отличия одного члена синонимического ряда от другого.

Если, например, синонимический критерий допускает известные смысловые несоответствия, то они объясняются стилистической дифференциацией синонимов, так как именно в ней находят выражение «экспрессивные, эмоциональные или оттеночные (т. е. смысловые) особенности»<sup>1</sup>. Если же критерием синонимичности объявляется только смысловое тождество (так или иначе определяемое), то и здесь синхронное сосуществование таких тождественных единиц оправдывается, в числе прочих характеристик, их разной стилистической принадлежностью<sup>2</sup>. Одновременно существует мнение, что как раз четкая «функциональная и стилистическая дифференциация» этих единиц (даже «моносемичных» слов) не дает права считать их абсолютными синонимами<sup>3</sup>.

Если и можно усмотреть между приведенными высказываниями известные противоречия, то в целом они знаменательны тем, что выводят стилистический аспект на семантический уровень. Подтверждением этому можно считать мысль о том, что независимость «собственно лексического значения от его экспрессивно-стилистической значимости» нереальна и что «стилистическая характеристика слова определяет не только контекст, в котором возможно данное слово, но и то означаемое из соответствующей предметной области, которое может быть названо данным словом»<sup>4</sup> (разрядка наша. — Т. В.). Второе замечание пред-

<sup>1</sup> «Словарь синонимов русского языка», под ред. А. П. Евгеньевой, I, Введение, Л., 1970, стр. 10.

<sup>2</sup> См. об этом: И. А. Мельчук, Строение языковых знаков и возможные формально-смысловые отношения между ними, ИАН ОЛЯ, 1968, 5.

<sup>3</sup> С. Г. Бережан, Семантическая эквивалентность лексических единиц, Кашинев, 1973, стр. 51—52.

<sup>4</sup> Д. Н. Шмелев, Проблемы семантического анализа лексики, М., 1973, стр. 119—120.

ставляется особенно важным, так как постулирует идею, от которой следует оттолкнуться при изучении синонимических взаимоотношений элементов языка, распределенных в узусе по разным функциональным стилям.

Чтобы раскрыть эту идею, необходимо сделать несколько предварительных замечаний. Несмотря на то, что различие смысловой и стилистической синонимии не соответствует современному представлению о сущности этого явления, подход к нему с точки зрения стилиевой стратификации языка вполне закономерен, так как в основе последней лежит сравнение разных способов вербализации если не одних и тех же, то во всяком случае сходных и сопоставимых понятий. Нужно только занять определенную позицию (и точно следовать ей в процессе рассуждений), согласно которой на первое место должно выйти *у п о т р е б л е н и е*. Ведь именно в употреблении мы имеем дело с процессом стилистического отбора, покоящегося на синонимических свойствах языка.

Употребление как процесс языкового отбора непосредственным образом связано с коммуникативной природой языка и, следовательно, характеризуется социальными признаками. В них не последнюю роль играет функциональная прикрепленность способов языкового выражения, т. е. обусловленность звукового, грамматического и лексического оформления высказывания сложным корпусом внеязыковых факторов. Исходя из этого, правомерно говорить о принадлежности функционально-подсистемных делений системы языка *у з у с у*, коллективным навыкам языкового употребления в данную эпоху и в данном обществе.

Деления эти осознаются большинством исследователей и как стилистические. Но здесь имеют место в какой-то степени разные точки зрения<sup>5</sup>. Одна из них — признание полной взаимозависимости двух принципов классификации: функциональная дифференциация целиком покоится на стилиевом различии элементов языка. Другая — представление, согласно которому функциональные и стилистические деления полностью друг друга не покрывают и последние лишь способствуют самоопределению функциональной подсистемы. Если придерживаться второй точки зрения (что кажется более целесообразным) и, таким образом, отличать понятия «функциональный стиль» и «функциональная подсистема языка», считая, что первый — это набор однородно и специфически окрашенных языковых средств внутри функциональной языковой подсистемы (которая включает в себя и стилистически нейтральные средства), то встает следующая проблема: как привести в логическое соответствие категорию узуса — функциональный стиль — с чисто системным, потенциальным свойством языка вообще — иметь разные означающие для одного и того же означаемого. Какую бы точку зрения на синонимию мы ни приняли, все равно возникает необходимость выяснить, имеет ли стилистическая синонимия, лежащая, как это принято считать, в основе любых стилистических делений, прямую связь с конкретным содержанием объективных стилистических соответствий, которые обнаруживает (или не обнаруживает) узус.

2. Когда мы говорим о стилистической синонимике, то понимаем под этим прежде всего *межстилевые* соответствия (*очи — глаза — гляделки*). Было бы весьма заманчиво попытаться построить по этой модели межстилевую парадигматику, усмотреть в ней строгую системность, по законам которой те или иные экспрессивные ряды распределяются по тем или иным функциональным сферам.

<sup>5</sup> Сейчас нет смысла называть их приверженцев и нет возможности приводить соответствующие высказывания не только потому, что этот вопрос в настоящей заметке затронут лишь попутно, но и потому, что взгляды эти не всегда выражены эксплицитно.

В то же время хорошо известно, что подобные межстилевые ряды выстраиваются не без препятствий, они прерывисты, в них есть лакуны. Об этом достаточно убедительно явствуют хотя бы такие единичные примеры, как отсутствие у глагола *бодрствовать* — нейтральных и сниженных синонимов, а у существительного *живодер* — нейтральных и высоких, не говоря уж о том, что у целого нейтрального слоя лексики — имен, называющих конкретные предметы, редко бывают синонимы в высокой и сниженной стилистических сферах.

Таким образом, если в поле нашего зрения в качестве стилистических синонимов попадают только межстилевые соответствия, мы не можем сделать заключения о полноценности их системных свойств. Ясно, что такой стилистической синонимией (в традиционном ее понимании) нельзя обойтись при желании создать по возможности строгую стилистическую классификацию элементов языка. Она недостаточна ни для экспрессивных градаций, ни, тем более, для функциональных, так как не может служить универсальным показателем принципов языковой организации функционально-стилистических подсистем языка.

Нельзя, однако, забывать, что помимо межстилевой синонимии существует обширная область синонимии в н у т р и с т и л е в о й. Между членами ее рядов, однородных в экспрессивном и функциональном отношениях, наблюдается тем не менее именно с т и л и с т и ч е с к а я вариатность: степень эмоциональной окраски (*кумир* — *идол*), ее оттенок (*ярость* — *бешенство*), наличие или отсутствие, а также разность метафорического ореола и способ образного уподобления (*кувырком* — *кубарем*). Это позволяет в определенном смысле относиться к подобным случаям как и к стилистическим синонимам, хотя очевидно, что и роль их в формировании стилей, и содержание их отличительных черт принципиально иные по сравнению с межстилевыми синонимами. Характерно, что «семантический взгляд» улавливает в таких синонимах обязательную разницу смыслов, которая служит доказательством практической нерасторжимости собственно лексического значения и экспрессивно-стилистической значимости. Так, «Словарь синонимов русского языка», выделяя для слов *ярость* и *бешенство* (в синонимическом ряду с *гнев* и *раздражение*) общее значение «сильнейший гнев», дает дополнительно к слову *ярость* оттенок «крайняя степень негодования», а к слову *бешенство* — «гнев, проявляющийся с необузданной силой» (СС, стр. 237). Для слова *кубарем* дано (по сравнению с *кувырком*) уточнение — переворачиваться не только «через голову, но и боком», а также отмечено, что оно употребляется для указания на быстроту действия (там же, стр. 496).

Даже по этим двум примерам можно судить, что подобные толкования лежат в разных плоскостях. Указываются: значение и употребление; значение лексическое и предметно-логическое; смысл и экспрессия. Эта разница, обусловленная характером значений определяемых слов, демонстрирует в то же время нечеткость границ между семантическим и стилистическим восприятием явления. И если, как было условлено, вывести узувально-стилистический план на первое место, то его характеристики окажутся «самодостаточными»: например, слова *грустный* и *печальный* столько же разнятся силой указания «на чувство душевной горечи» (там же, стр. 496), сколько и тем, что второе слово имеет, так сказать, лирико-поэтические свойства, что косвенно отражено словарем в помете «погр. реже» (там же, стр. 258). Тем же самым отличается слово *кудрявый* от *курчавый*, и это отличие гораздо убедительнее подтверждается приведенными в словаре примерами, чем объявленное им смысловое различие (там же, стр. 496).

Иными словами, внутристилевые синонимы обнаруживают свойства, характерные для «идеографической» (смысловой) синонимии, представленной в употреблении, т. е. как раз в той области, где соединяются семантические и стилистические признаки языковой единицы. Значит, эти синонимы не являются стилистическими в том значении термина, которое отражает сущность межстилевой синонимии. Они не могут служить для стилистического самоопределения разных экспрессивных и функциональных сфер в системе языка даже так приблизительно и несовершенно, как это могут межстилевые синонимы. Внутристилевые синонимы скорее составляют синтагматическое наполнение одной, экспрессивно и функционально обособленной, стилистической среды, известным образом определяя способы и средства ее языкового выражения.

Подтверждающим это и заслуживающим особого внимания фактом является значительно большее богатство внутристилевой синонимии, по сравнению с межстилевой. Ее ряды многочисленнее, а связи их членов — многообразнее. Как бы ни были субъективно трактуемы и безусловны типы этих связей<sup>6</sup>, когда они не строятся на основе совпадения отдельных элементов смысловой структуры слова при нейтрализации значений и разной степени синонимичности, — одно положение при этом объективно и безусловно: сопоставляя внутристилевые и межстилевые синонимические ряды, а, вернее, пытаясь продолжить внутристилевой ряд синонимическими единицами другой экспрессивной и функциональной стилистической принадлежности, мы, как правило, сталкиваемся с тем, что внутристилевым рядом (чаще всего многочисленным) противопоставляется лишь один член иностилевого ряда. Причем и он обнаруживается далеко не всегда, а во многих случаях это можно сделать только с известной натяжкой.

В сниженной стилистической сфере, которая обслуживает разговорную, разговорно-обиходную и пр. речь, к *глядялкам*, например, можно присовокупить (мы отвлекаемся сейчас от вопросов нормы, вкуса, такта) и *буркалы*, и *газенаны*, и *зенки* и т. п. Но в высоком и нейтральном стилях остаются лишь *глаза* и *очи*<sup>7</sup>. Синонимический ряд *рожа*, *морда* тоже можно продолжать сколько угодно в пределах сниженного стиля, а в нейтральном и высоком выступают *лик* и *лицо*. Если взять следующий синонимический ряд: *пошел вон*, *катись отсюда*, *убирайся* и т. п., то в возможных единичных сопоставлениях других стилей мы видим лишь очень приблизительное сходство (*уйди*, *удались*). Поневоле вспоминается чеховское *Позвольте Вам выйти вон!* как весьма показательное изображение попытки примирить речевой этикет с отнюдь неэтикетной экспрессией.

Ясно, что специфически сниженная экспрессия, составляющая суть подобных способов выражения, препятствует оформлению адекватного смысла средствами других стилей. Каждый стиль несет в себе свой собственный смысловой потенциал, «провоцируемый» отстоявшимися в узусе выразительными нагрузками тех или иных единиц языка.

Такое положение вещей: 1) прямо указывает на то, что термин «стилистические синонимы» слишком неопределенен и что надо различать синонимы межстилевые и синонимы внутристилевые; 2) подтверждает, что ни те ни другие (правда, по разным причинам) не являются полно-

<sup>6</sup> Ср. приведенное выше толкование значений слов *ярость* и *бешенство*, а также любых других подобных случаев. Например, синонимы *брыкнуть* и *лягнуть* можно считать различными по экспрессивной мотивировке: первое — («сказать») больше «сгоряча», второе — больше «неуместно». Но можно и не видеть этого различия вообще, или, с равным успехом, найти какое-нибудь другое, говорящее, допустим, о степени эмоционального проявления и пр.

<sup>7</sup> *Вежды* не входят в синхронный синонимический ряд современного русского языка.

ценным и всеобъемлющим аппаратом для стилистической дифференциации языковой системы; 3) непосредственно подводит к необходимости решения вопроса о том, как связывать синонимические свойства языка с его языковой системой. Этот вопрос приобретает особую остроту по отношению к функциональным делениям, так как именно в них должны определяться целенаправленные способы вербализации типического для данной коммуникативной подсистемы круга означаемых, независимо от того, существует или нет пригодный к этому «материал» в экспрессивных синонимических соответствиях.

3. Подступы к решению этой проблемы мы связали с приведенной выше и принадлежащей Д. Н. Шмелеву стилистической характеристикой языковой единицы, определяющей называемое ею означаемое. Эта характеристика, как бы продвигая дальше семантический принцип установления синонимических связей между разными означающими при одном означаемом на основе совпадения элементов смысловой структуры слова, ставит под сомнение главное его условие: единство означаемого. Если, в самом общем и грубом виде, синонимический критерий предполагает возможность «по-разному называть одно и то же», то обнаружение или необнаружение синонимических соответствий в разных функциональных стилях реально объясняется тем, что в н е я з ы к о в а я необходимость называть в их пределах «одно и то же» оказывается, так сказать, принципиально призрачной. Поэтому при сопоставлении средств номинации каждого функционального стиля следует принимать в расчет явления иного порядка, чем традиционно понимаемая стилистическая синонимия.

Возьмем самый обычный пример разных способов номинации. Один критик в 30-е годы писал о том, что в литературе тех лет появился характерный типаж — «оголтелая хищница с изрядной примесью Бактерии». «О ней, — пишет далее критик, — метко сказал Олеша устами Бабичева: Да, она *стерва*. Раньше это называлось *демоническая женщина*». Естественно, что между двумя этими определениями нельзя поставить знак синонимического равенства ни при каких обстоятельствах. Но ясно и то, что сами понятия, получившие такие разные определения, а вернее — их смыслы принадлежат разным функционально-стилевым сферам общения. Следовательно, если мы хотим увидеть реальную картину современного стилистического словоупотребления, надо (применительно к явлению синонимии) иметь в виду наличие известных смысловых закономерностей, связанных с тем, что в разных коммуникативных сферах говорят не совсем «об одном и том же».

В этой связи представляются весьма показательными отмеченные выше скудость межстилевой синонимии и богатство внутрителивой. Эти явления косвенно указывают на то, что каждая экспрессивная и особенно функциональная сфера языкового общения неизбежно характеризуется какими-то чисто содержательными критериями, с которыми нельзя не считаться, как бы ни хотелось соблюсти строгость лингвистического аспекта в анализе. Эти содержательные критерии влияют на отбор каждым стилем языковых единиц с определенной смысловой структурой. Мы упоминали, например, что глагол *бодрствовать* не имеет нейтральных и сниженных синонимов. Их заменяет толкование «не спать», но оно не единственное. Словарные статьи дают еще и значение «не поддаваться сну», которое намекает на более сложную семантическую структуру слова, чем если бы она исчерпывалась процессуальным понятием «не спать». Так же невозможно найти, например, структурно-однотипное синонимическое средство к большинству деловых канцелярских клише: *предъявленному верить, настоящим сообщая* и пр. Это, безусловно, происходит потому, что с а м и х с м ы с л «непереводим» на сред-

ства другого стиля. Вместо перевода мы можем дать лишь толкование, описание, что неминуемо отразится на точности и экономности способа выражения.

Большое количество подобных явлений (и намечающаяся их типология) приводит к мысли о том, что каждое подсистемное функционально-языковое объединение характеризуется, в связи с «содержательными» ограничениями, не только особой стилистической окраской его специфических членов, но и избирательностью с точки зрения объема и принципов смысловой структуры, какими наделены свойственные этой языковой среде элементы.

Возможно, по мере углубления в этот вопрос исследователь получит право говорить о типических моделях семантической структуры таких элементов, что в свою очередь позволит дать обоснованную классификацию «стилистики значений». Пока же, только пытаясь наметить ее пути, вернемся к нашим примерам. Значение «не поддаваться сну» — книжное по самой своей сути. Его умозрительность и аналитизм соответственно покрываются книжным словом, не органичным для разговорной речи и для сниженной стилистической стихии вообще. Поэтому в последней нет условий, способствующих возникновению к данному слову, а значит и к слову, синонима. Это одна из предположительных причин отсутствия у него синонимов. Если же мы обратимся к слову *бессонница*, то заметим другую причинность того же явления. Это слово, с точки зрения современного стилистического узуса, нейтрально и, следовательно, ощущается, как «свое» во всех функциональных подразделениях. Но генетически оно приближается к медицинскому термину. Словари толкуют его и как «болезненное отсутствие сна», поскольку под описываемым состоянием подразумевается ряд конкретных диагностических признаков. В то же время и разговорная речь знает это слово, но употребляемое с известной долей «необязательности» по отношению к его терминологическому значению, когда вовсе не предполагается наличие какой-то определенной болезни, а просто констатируется факт — «не спалось», «не спал» (*у меня сегодня бессонница была, всю ночь вертелась*). По всей вероятности, здесь можно говорить и о двух значениях слова *бессонница*. Но это не меняет сущности того, что разговорная речь приспособливает употребление к своим смысловым принципам — диффузности, неопределенности, нетерминологичности. Если узус закрепляет эти принципы, то такому адаптированному, со смысловой точки зрения, слову не нужен сниженный стилистический синоним. Это еще одна из причин «пустот» в межстилевой парадигматике.

Названные случаи, возможно, не так регулярны, как явление, более прямолинейно отражающее семантико-стилистическую взаимозависимость узуальной характеристики единиц языка, которая нарушает системную последовательность их синонимизации. Речь идет о стилистических приращениях — коннотациях, присущих одним из членов синонимического ряда и сдвигающих их смысл сравнительно с другими членами.

Это можно проследить на самых обычных примерах синтаксической синонимии, выявляющей стилевую принадлежность членов синонимической цепочки. Так, в парах *заявить — сделать заявление*, *решить — принять решение*, *наехать — совершить наезд* (из терминологии автотранспортной инспекции) явственно намечаются упомянутые коннотации, способствующие известному смысловому обособлению одного средства от другого. Смысл синтаксической конструкции книжного происхождения, несомненно, ограничен конситуативно и потому более точен. Узус закрепляет его за легко исчисляемым количеством случаев определенного

денотативного содержания, охватывающего замкнутый круг социально значимых действий. Но тем не менее в этих парах еще сильна смысловая близость, поддерживаемая к тому же повторением лексем. В гораздо более ощутимой степени ее ослабление начинается со сниженного стилистического пласта.

Если элементами этого пласта продолжить синонимический ряд, представленный пока только парами «книжное — нейтральное», то придется столкнуться с заметным изменением смыслов сниженных членов ряда (по сравнению с более высокими членами на стилистической шкале). Сниженные контексты часто дают в близком значении к последним глаголы *наскочить* — *налететь*, *заметать* — *застолбить* (полужаргонное) и др. Но замены эти далеко не безусловны: они неоднозначны и нечетки. Глаголы *наскочить* и *налететь* обычно толкуются, как «(наехать) случайно, внезапно, на большой скорости...» и т. п. Глагол *заметать* встречается в значении, соединяющим смысловые оттенки глаголов *решить* и *договориться* (*ну, значит, заматано — завтра в семь...*). Глагол *застолбить* в разном окружении получает значения глаголов *решить*, *договориться*, *предупредить*, *принять*, *определить*, *утвердить*, *зарезервировать*, а вернее — элементы их значений в смешанном виде (*Мы застолбили такое предложение: в черновом виде не подавать ни при каких обстоятельствах; застолби две палатки, и чтоб мешки...; застолбите, чтобы они без звонка не ехали и чтобы еще раз специально про билеты оговорили*).

Такие явления, как синкретизм значений (*заметать*, *застолбить*, *засечь* и под.) и экспрессия значений (*налететь*, *наскочить*) в высшей степени характерны для сниженно-разговорной семантики. Значит, если и считать все эти глаголы сниженными синонимами к нейтральным *решить*, *договориться*, *наехать* и к соответствующим книжным синтаксическим конструкциям, то надо по крайней мере отдавать себе строгий отчет в образующихся между членами такого синонимического ряда сложных смысловых вариациях. Вариации эти многообразны.

С одной стороны, их суть заключается в противопоставлении семантических принципов одной стилистической сферы языкового употребления другой. Приведенные выше примеры позволяют говорить: о принципе «размытость, диффузность значения», противопоставляемом принципу номинативной определенности нейтрального стиля; о принципе экспрессивного значения, противопоставляемом принципу нейтрального значения; о вытекающем из второго противопоставления следствии — оппозиции «усложнение — опрощение смысла».

С другой стороны, в этих примерах мы можем видеть подтверждение уже намеченного нами ранее обобщенного содержания вариативных семантико-стилистических связей: *стилистические коннотации сдвигают смысл*. Уточняя это положение, следует подчеркнуть динамическую направленность самого процесса. Она заключается в том, что смысловой сдвиг выступает как явление вторичное, спровоцированное первичным явлением — функционально-экспрессивной коннотацией. Ср., например, типическую разговорную конструкцию: *Я подумал, подумал, да и... (говору, помчался, начал писать и т. п.)*. Передача ее содержания средствами нейтрально-книжного синтаксиса сопровождается весьма существенными, и именно смысловыми, потерями. *Я долго (какое-то время и т. п.) думал и после этого...* — в такой интерпретации меняется временное и ритмическое противопоставление действий, исчезает мгновенность принятого решения, его неожиданность и неподготовленность к нему адресата сообщения. Когда экспрессия рождает смысл, образуется тот признак смыслового наполнения языковой единицы, который можно называть стилистическим значением. Им обладают единицы

разных уровней, а его внутренняя классификация является, по всей видимости, вполне пригодным способом установления действительных границ в функционально-экспрессивном обособлении тех номинативных средств языка, которые нуждаются в каком бы то ни было соотношении.

Стилистическое значение<sup>8</sup> дает возможность избегать натяжек, какие возникают при соотношении слов, традиционно квалифицируемых как стилистические синонимы. Если, это, например, глаголы *шестьдесятать* и *чапать*, то их функционально-экспрессивные коннотации настолько действительны, что ослабляют саму смысловую связь этих слов, от которой остается лишь достаточно общее представление о сходстве способа передвижения. Стилистическое же значение, присущее каждому из этих глаголов как единицам определенной экспрессивно-функциональной сферы общения, отводит им соответствующее место в системе специфических выразительных средств данной сферы.

Кроме того, стилистическое значение заставляет видеть функциональное различие истинных и мнимых синонимических сопоставлений. В кажущихся, на первый взгляд, сходными «синонимических ситуациях»<sup>9</sup> типа *Она не пополнила, а потолстела* и *Она не шла, она летела* связь соотносимых элементов неодинакова. Во втором случае перед нами правомерное противопоставление слов, имеющих определенное семантическое различие. Считать или не считать их синонимами можно лишь на основании собственно семантических критериев, принимаемых для выявления синонимии. А в первом случае имеет место тот самый вторичный смысловой сдвиг, который явился следствием экспрессивно-функциональной коннотации средства языкового выражения. Благодаря ему в отношении смысловой противопоставленности оказались вовлечены слова, не имеющие реальной семантической разницы. Только узуальное свойство (т. е. стилистическое значение) слова *потолстеть* дает право воспринимать его как обладающее «большой степенью признака» по сравнению с *пополнить*<sup>10</sup>.

Таким образом, узус подчеркивает совместную семантико-стилистическую природу синонимических связей в языке, манифестирует функционально-стилистическое преломление синонимизации языковых единиц. Именно эти явления составляют собственно лингвистическую базу содержательно-смысловой стратификации функциональных подсистем. Они дают возможность наметить определенные характеристики для семантических тенденций каждого функционально-стилистического объеди-

<sup>8</sup> Характеристика стилистических значений (их конкретные определения, основанные на коммуникативных задачах той или иной подсистемы языка, создаваемых непрерывным соединением экспрессии и функции языкового знака) не может быть дана в небольшой по объему статье. Сейчас мы назовем только условно типы стилистических значений, к которым принадлежат названные глаголы: 1) медлительное возвышенное (торжественное) действие (поступок); употребление двойное; прямое положительное и метафорически-отрицательное (обычно — ироническое); 2) динамически экспрессивное, фамильярно грубоватое действие (поступок); употребление двойное; прямое нейтральное и метафорически-отрицательное (чаще — шутливое).

<sup>9</sup> Так мы назвали в свое время отстоявшийся в узуальном плане выразительный речевой прием, основанный на сопоставлении или противопоставлении слов, вступающих в контекстно-обусловленные синонимические отношения — действительные или ложные (см.: Т. Г. В и н о к у р, Синонимия и контекст, «Вопросы культуры речи», 5, М., 1964).

<sup>10</sup> Ср. аналогичный случай «внушения» якобы имеющей место смысловой разницы стилистическим значением глаголов в очень выразительном примере из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: «А тут еще кот выскочил к рампе и вдруг рывкнул на весь театр человеческим голосом: — Сеанс окончен! Maestro! Урежьте марш! — Ополумевший дирижер, не отдавая себе отчета в том, что делает, взмахнул палочкой, и оркестр не *заиграл*, и даже не *грянул*, и даже не *затил*, а именно, по омерзительному выражению кота, *урезал* какой-то невероятный, ни на что не похожий по развязности своей марш».

нения, показывающих, насколько противоречиво выглядит так называемая «взаимозаменяемость» языковых средств, когда речь идет о разноплановых стилевых элементах.

Об одной такой тенденции мы уже говорили: для разговорной функционально-стилистической подсистемы языка (что убедительно подтверждают новейшие исследования)<sup>11</sup> характерен семантический синкретизм и диффузность, способствующие адаптации значения и как бы переводу самого понятия в сугубо неофициальный, экспрессивно-бытовой план.

Показательны в этом отношении универсальные оценочные номинации типа *ничего, нормально*, которые могут приспосабливаться к исключительно широкой амплитуде колебаний экспрессии и смысла. Ср. *Пирог ничего, могло быть хуже; Она ничего, можно сказать красочка прямо!; А ничего слетал Гагарин!* (из молодежной повести). Или: *Как живешь? — Нормально; Нога болит? — Нормально; Если станцуешь нормально, то очень хорошее настроение...* (из разговора балерины Н. Павловой с корреспондентом телевидения).

Слово, получающее адаптированное к условиям разговорной речи значение, вбирает в себя, следовательно, ряд семантических признаков не одной, а нескольких лексических единиц. Ср. обиходно-разговорное *бумажка*, употребляющееся в значении «любой деловой документ» (справка, заявление, выписка из протокола, приказ и пр.). С точки зрения межфункциональных стилевых соответствий это синоним деловых *документ* и *бумаги*<sup>12</sup>. Но разговорные контексты демонстрируют к тому же сдвиг в соотношении «рода» и «вида» между обобщенным и частными наименованиями, свойственный деловой сфере — генетической родине подобных понятий. *Бумажка* — это и «все деловые документы» одновременно, и «каждый из них» в отдельности: *Я взяла бумажку и прямо к директору; Ты бумажки уже все собрал?* Ясно, что такой состав и объем значения во много раз увеличивает возможности экономии и экспрессии — двух наиболее мощных факторов в организации разговорного высказывания. Сила их настолько действенна, что стимулирует расширение применения данного слова в двух направлениях: во-первых, его регулярный выход в обиходно-деловую речь, где оно может обозначать документ вполне официального назначения (ср. разговор на заседании месткома: *Я сейчас зачитаю две бумажки* — речь шла о документе от имени дирекции предприятия, и соседство этого слова с типично официально-бюрократическим *зачитать* очень характерно для подобной ситуации); во-вторых, выход в художественную речь как основы для образа (ср. у Маяковского: *К любым чертям с матерями катись любая бумажка...* — строки, подтверждающие, кстати, самым категорическим образом и сказанное о значении слова).

Пример слова *бумажка* показывает очень характерный для разговорной речи процесс: исчезновение необходимости в точном, терминологическом наименовании и возникновение на его месте экспрессивного знака, способного к обозначению ряда сходных понятий. Процесс этот видится и как причина упомянутого выше богатства внутрестилевой синонимии, потому что сопровождающая его необязательность, «поверхностность» интерпретации значения тех или иных единиц языка не может не раздвигать границ синонимических рядов.

<sup>11</sup> См.: «Русская разговорная речь», под ред. Е. А. Земской, М., 1973, раздел «Номинация».

<sup>12</sup> Сейчас форма мн. числа является устарелой. На смену ей приходит, главным образом в обиходно-деловой речи, *бумага* (*ну что же, давайте напишем бумагу пошлем...*).

Книжные функционально-стилистические подсистемы также обнаруживают определенные семантические тенденции, проявляющиеся, как правило, именно в окрашенных элементах их языкового состава. Если продолжить разговор о деловой речи, то надо вернуться к примерам клишированных конструкций. Почему попытка создать с их участием прямые синонимические ряды не может увенчаться успехом? Прежде всего потому, что в других стилях нет употребительного эквивалента: ни в какой иной сфере общественной коммуникации, кроме деловой, не *верят предъявленному*, не *производят задержания* и *отчисления*, не *дают гарантов соблюдения*. А следовательно, только в деловой речи мы и сталкиваемся с соответствующими смыслами, отражающими своеобразие ограниченного круга предметно-логических категорий данной сферы. Эти смыслы тоже неэлементарны и емки, но емкость здесь имеет принципиально иное качество и иные причины, чем в разговорной речи. Она направлена на уточнение и ограничение объема понятия, на его ситуативную закреплённость и терминологическую недвусмысленность. И если в разговорной речи экономия дает коммуникативный эффект в том случае, когда она соединяется с эмоциональной экспрессивностью, то экономные формулы, охватывающие составное и объемное содержание делового характера, главным условием своего возникновения имеют отсутствие эмоциональности. Ср., например, штамп служебной характеристики *морально устойчив* или лаконичный фрагмент из милицейского отчета *На счету у сержанта Савельева 153 задержания* — с полной невозможностью столь же лаконично и «самодостаточно» передать смысл термина *задержания* средствами другого стиля. В данном случае осуществимо только толкование, которое тоже не всегда лежит на поверхности<sup>13</sup>.

Научный стиль обнаруживает естественное предпочтение однозначной, терминологической смысловой структуры языкового знака, из-за чего любые связанные с ним синонимические элементы других стилей выступают, как правило, в виде описательных эквивалентов. Примеры подобных связей слишком известны (*гипертония* — «повышенное кровяное давление, вызываемое определенными причинами и имеющее определенные признаки»), чтобы здесь останавливаться на них специально.

Специфические свойства смысловой структуры публицистического стиля (т. е. окрашенных средств публицистического узуса) демонстрируют свою глубину и сложность. Эта сложность чаще всего покоится на свободном и, так сказать, некритическом употреблении метафорических значений соответствующих единиц языка, способных служить специфически образному употреблению. Тропы как основа выразительных свойств публицистической речи настолько прочно вошли в ее словесный репертуар, что иногда перестают ощущаться как таковые в сознании носителей. Происходит своеобразная мимикрия тропа, «выдающего» себя за прямое значение.

Сравним безусловный, и пока еще действенный, образ *акулы империализма* и более стертое (а, значит, и менее экспрессивное) словосочетание *агенты империализма*. Последнее — с генетической точки зрения тоже «образ»: в нем участвует второе значение слова *агент*, имеющее по сравнению с первым<sup>14</sup> метафорическую расширительность и, что главное, оценочность. Условия употребления этого словосочетания явно говорят о практической редукции его метафорического ореола. Но тем не менее в

<sup>13</sup> Так, например, многие знатоки молодежного жаргона не в состоянии были «перевести» на другой стиль или на нейтральную речь слово *фирменный* (брюки, парень и т. д.).

<sup>14</sup> В словарях это слово имеет следующие значения: 1) лицо, уполномоченное кем-н... для выполнения официальных поручений; 2) тот, кто действует в чьих-н. интересах.

целом оно содержит особый смысл, который не позволяет ему вступать в синонимические связи с элементами других стилей: последние не призваны вербализовать такой смысл, и им не свойственно создающее его привычно повторяющееся, т. е. клишированное, употребление образных выражений. Поэтому всякая другая попытка, кроме описательного толкования, найти синонимический эквивалент наиболее ярко окрашенным сигналам публицистического стиля — образным штампам<sup>15</sup> (ср. *континент бурлит, активно вторгаться в жизнь, наведение мостов* и т. д.) — оказалась бы попыткой с негодными средствами.

Другое дело, что многие из таких сугубо специфических элементов каждой функциональной сферы, не имеющие прямых синонимических параллелей в другой сфере, употребляются в ней как цитаты, в зависимости от нужд общения и с определенным экспрессивным назначением. Можно даже сказать, что именно этот цитатный способ употребления служит иногда как бы отправной точкой стилистических перемещений, ведущих к усвоению слова (высказывания) новой средой. Так, например, слово *учеба* возникло как более сниженное и разговорное (что отмечал в свое время А. М. Селищев) по отношению к *ученье*. Сейчас слово *учеба* стало межстилевым, т. е. нейтральным, а следовательно, «повысилось» и очень широко употребляется в официально-деловой и публицистической речи, хотя его современный синоним *обучение* (мы берем значение «процесс приобретения знаний») еще более высок и официален. Слово *руководство*, будучи элементом официально-делового общения (также, разумеется, в одном из значений), распространилось и на обиходно-разговорную речь: *Зайдите попозже, он пошел к руководству*. Отсюда перекинулся мостик и к разговорной речи: *Наш Саша теперь руководство, важный стал*. При этом возможно установление новых синонимических связей уже внутри стиля — *руководство, начальник* и т. п.

\*

Подводя итоги сказанному, заметим, что наблюдение над функционированием теоретически сопоставимых языковых средств разных стилей приводит к выводу о существовании трех основных типов их связи, практически заменяющих то, что традиционно называется стилистической синонимикой.

1. Связь, при которой экспрессивные приращения в одних членах ряда по сравнению с другими членами того же ряда стимулируют возникновение необратимых смысловых сдвигов, нарушающих их синонимическую взаимозависимость.

2. Связь, которая может быть осуществлена лишь нейтральным эквивалентным описанием (толкованием) смысла стилистически отмеченной языковой единицы.

3. Связь, которая выражается во взаимной смысловой адаптации языковых единиц разной стилистической принадлежности.

При дальнейшем исследовании вопроса и эти основные типы можно будет представить внутренне расчлененными. Каждый из них имеет наиболее регулярные формы семантических соответствий, отражающие содержательно-смысловое своеобразие функционально-стилистических подсистем языка. Так, например, для параллелей между нейтральным и книжным употреблением характерно противопоставление (экспрессивно однородное: с минусом эмоционально-оценочных приращений) «рода» и «вида»

<sup>15</sup> А в этом оксюморе и выявляется стилистическая специфика публицистического стиля.

*автобус, трамвай* и пр. — *транспорт*; *шапка, кепка* и пр. — *головной убор*. Это противопоставление строится на основе смысловых связей частной и обобщенной номинации и является одним из имплицитно оформленных способов второго типа намеченных соотношений; «слово (конструкция) и его описательный эквивалент». По-другому проявляется та же связь частной и обобщенной номинации в параллелях между нейтральным и сниженно-разговорным употреблениями. Она сопровождается противопоставлением нейтрально-номинативного и экспрессивно-оценочного значений, последнее из которых играет роль уточняющего определителя; *лошадь* (всякая) и *кляча* (только плохая, чахлая и т. д.). Это — главный способ оформления первого типа связи. Третий тип успешно обслуживается межстилевой омонимией, которая на семантическом уровне выступает как полисемия (ср. пример со словом *бессонница*, который поддается интерпретации с точки зрения многозначности слова, или пример со словом *руководство*).

## МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

И. А. ОССОВЕЦКИЙ

### О ЯЗЫКЕ РУССКОГО ТРАДИЦИОННОГО ФОЛЬКЛОРА

Язык русской устной поэзии представляет собой сложное по генезису образование, изучение которого за последнее время разворачивается все более интенсивно. Основные усилия исследователей направлены на выявление специфики языка фольклора и его отношения к народным говорам и к общенациональному языку. Изучение языка произведений устной поэзии имеет очень большое значение не только само по себе, но и для познания данного языка в целом<sup>1</sup>.

Тот или иной фольклорный текст (былина, песня, сказка и т. д.) представляет собой идиоматичный вариант, единичный и неповторимый, который отличается не только от вариантов этого же текста разных исполнителей, но и от вариантов одного и того же исполнителя, записанных в разное время. Разнообразие вариантов определяется творческой индивидуальностью исполнителя, по-своему воссоздающего фольклорный текст. «Каждый вариант принадлежит своему автору, индивидуально отличному от исполнителей других вариантов. Каждый певец поет свою песню, каждый горит своим огнем пафоса и напряжения, каждый выливает былинку под индивидуальным освещением своего воззрения и чувства»<sup>2</sup>. Сказанное в полной мере относится и к текстам других фольклорных жанров.

При создании конкретного варианта традиционность выразительных средств фольклора диалектически сочетается с импровизацией, поэтому все варианты того или иного фольклорного текста, при всей их индивидуальной художественной идиоматичности, имеют общую основу, которая определяется традицией. Система реализованных конкретных вариантов одного и того же фольклорного текста образует инвариант, который можно интерпретировать как конструкт, идеальный текст. «В фольклоре, — пишет П. Г. Богатырев, — соотношение между художественным произведением, с одной стороны, и его объективацией, то есть так называемыми вариантами этого произведения при исполнении его разными людьми, с другой стороны, совершенно аналогично соотношению между *langue* и *parole*. Подобно *langue*, фольклорное произведение велично и существует только потенциально, это только комплекс известных норм и импульсов, канва актуальной традиции, которые исполнители расцветивают узорами индивидуального творчества, подобно тому как поступают производители *parole* по отношению к *langue*»<sup>3</sup>. Такая двойственная природа фольклорно-

<sup>1</sup> Ср.: А. П. Евгеньев, Очерки по языку русской устной поэзии в записях XVII — XX вв., М.—Л., 1963, стр. 3.

<sup>2</sup> А. П. Ск а т т м о в, Поэтика и генезис былин. Очерки, Москва — Саратов, 1924, стр. 46—47.

<sup>3</sup> П. Г. Б о г а т ы р е в, Фольклор как особая форма творчества, в его кн.: «Вопросы теории народного искусства», М., 1971, стр. 374.

го текста, его одновременная соотнесенность с вариантом и инвариантом составляет одну из основных черт произведений устной поэзии<sup>4</sup>.

Иногда случается так, что при создании фольклорного текста момент импровизации отсутствует совершенно. Тогда вариант теряет значительную долю художественного интереса, потому что в этом случае он превращается в своего рода дублет с тождественными друг другу композиционными частями. Такова, например, былина «Добрыня и Василий Казимирович. Добрыня в отъезде», которую сказитель П. И. Рябинин-Андреев записал сам от себя, повторив слово в слово все встречающиеся в былине традиционные утробия<sup>5</sup>. С другой стороны, недостаточное соблюдение традиции и излишне свободная контаминация былинных сюжетов, например, у сказителя В. П. Щеголенка послужили причиной того, что его былины показались собирателю П. Н. Рыбникову совсем неинтересными<sup>6</sup>.

Язык фольклора — понятие очень широкое, неоднозначное и многогранное. В разных фольклорных произведениях он представлен крайне разнообразно. В общем плане язык фольклора можно интерпретировать как метасистему, включающую в себя подсистемы отдельных его жанров, в которых она конкретно реализуется. В пределах жанра язык фольклора представляет собой более однозначное стилевое образование, хотя расхождения и могут наблюдаться, если жанр достаточно разнообразен; ср., например, язык фантастической сказки и сказки новеллистической. Язык разных жанров фольклора находится в разных отношениях и к конкретным говорам, и к диалектному языку, и к языку общенациональному.

Неоднородно по содержанию и понятие синхронной системы языка разных жанров фольклора, неодинакового по «глубине захвата» различных исторических напластований национального языка. В одних жанрах в синхронную систему их языка вовлекаются факты только современного языка, в других широко используются архаичные, с точки зрения нефольклорного языка, факты, которые в системе языка данного жанра превращаются в выразительные средства, трансформируясь в язык искусства, в котором разные по генезису и по употребительности в нехудожественном языке факты становятся равнофункциональными. Гетерогенность всех таких языковых фактов нивелируется на уровне языка данного художественного произведения.

Система языка фольклора варьируется также и в зависимости от географического фактора и прежде всего потому, что в разных местностях бытуют разные жанры фольклора. Например, на севере России в понятие языка фольклора включается такая обширная идиоматичная система художественного языка как язык былин, причитаний лиро-эпического склада и некоторых других жанров. Кроме того, и лирика севера и юга России тоже неодинакова, что объясняется не только различием диалектной языковой базы. В связи с этим в языке разных жанров отражаются говоры разных местностей, обладающие иногда значительным фондом диалектных различий разных уровней как между собой, так и между тем или иным говором и литературным языком.

Весьма значительны языковые особенности, связанные с разделением всех фольклорных текстов на такие, исполнение которых представляет

<sup>4</sup> Ср. замечания В. Я. Проппа о том, в каких звеньях процесса создания конкретного варианта сказки сказочник творчески свободен и в каких несвободен (В. Я. Пропп, *Морфология сказки*, 2-е изд., М., 1969, стр. 101—102).

<sup>5</sup> См. «Былины в двух томах», I, М., 1958, стр. 86—113. Такие дословные повторения в тексте былины, по справедливому замечанию авторов комментария, вызывают «впечатление некоторой искусственности» (стр. 515).

<sup>6</sup> П. Н. Рыбников, *Заметки собирателя*, в кн. «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым», 1, 2-е изд., М., 1909, стр. LXXXII—LXXXIII.

собой пение или речитатив, в отличие от текстов, которые сказываются. В этих текстах к специфике стихотворного языка присоединяется еще и специфика языка поющего текста; снимается речевая интонация, имеющая семантико-грамматическую функцию, ее отсутствие восполняется другими, эквивалентными ей формальными средствами, например, особой синтаксической организацией поющего текста<sup>7</sup>. Нет сомнения, что такие функционально эквивалентные средства имеются и в языке былин; исследование их языка с этой точки зрения представляется весьма интересным.

Очень сложно отношение языка художественного произведения к языку нехудожественному. Оно реализуется в сопоставлениях и противопоставлениях иерархического типа в соответствии с характером сопоставляемых величин. Язык фольклора как язык устной поэзии соотносится с нефольклорным языком в разных аспектах. Прежде всего, это соотношение языка фольклора с общенародным языком, под которым понимается весь русский язык в целом; как литературный, так и русские народные говоры. С каждой такой языковой подсистемой язык фольклора имеет свои сложные и специфические взаимоотношения, которые не позволяют факты языка фольклора прямолинейно сопоставлять с фактами какой-либо из перечисленных языковых подсистем. Однако некоторые исследователи языка фольклора как бы забывают о специфике своего материала и без каких-либо специальных разъяснений непосредственно сопоставляют его с литературным языком, что в настоящее время выглядит уже анахронизмом.

Другие исследователи сопоставляют язык фольклора с каким-либо конкретным говором или говорами. Это сопоставление более закономерно, потому что оно реализуется в пределах более близких подсистем, чем язык фольклора и литературный язык. Однако при таком сопоставлении и вообще при изучении языка фольклора в диалектологическом аспекте тоже необходимо помнить о специфике сопоставляемых величин.

Язык фольклора — это язык устной поэзии, которая бытует среди носителей народных говоров. Поэтому каждый вариант — это текст на том или ином народном говоре русского языка. Вопрос заключается в том, представляет ли данный текст произведения фольклора только языковые средства данного говора или же для реализации своего варианта исполнитель выходит за пределы языковых средств своего говора и в процессе исполнения привлекает к созданию своего варианта такие языковые средства, которых в говоре может и не быть и которые поэтому заимствуются из другого источника, чем данный конкретный говор. Сложность этой проблемы, сложность понимания проблемы инвариант — вариант в применении к произведениям фольклора приводила к неоднозначному решению вопроса об основах языка фольклора, о его специфике, о его отношении к конкретному говору, к диалектному языку и к русскому языку в целом. Решение этой проблемы во многом зависело от того, что брали в качестве основного объекта исследования; данный конкретный вариант произведения фольклора, или систему всех его вариантов, или же тот или иной жанр фольклора в целом.

Уже Фр. Миклошич отмечал непрерывность процесса создания произведения фольклора, из чего можно было сделать вывод о непрерывном включении современного языка герм. диалекта в языковую ткань произведения фольклора. «Песня, — писал он, — пока живет, находится в состоянии непрерывного созидания; она и древняя, и молода в одно и то же время; древняя по первоначальному зерну, так как оно восходит ко времени

<sup>7</sup> См. об этом: Е. Б. Артеменко, К вопросу об основной структурно-семантической единице русской народной лирической песни, «Изв. Воронежск. гос. пед. ин-та», 81. Вопросы грамматики, стилистики и диалектологии русского языка, 1968.

воспетого события, и молода в своей настоящей форме»<sup>8</sup>. В дальнейшем все чаще и определеннее подчеркивается тесная и органическая связь языка фольклора и местных говоров, которые многие исследователи начали интерпретировать как основную языковую базу фольклора. «Понятие „говор“ охватывает не только бытовую разговорную речь, — пишет А. П. Евгеньева, — но и лучшие образцы говора, которые нужно искать не только в длительной связной речи (выступления на собраниях, рассказы о событиях), но и обязательно в устном народном творчестве»<sup>9</sup>.

В другой работе А. П. Евгеньева пишет, что «о древнейших событиях сказители говорят с в о и м ж и в ы м я з ы к о м»<sup>10</sup>. Эту мысль А. П. Евгеньева неоднократно повторяет в ряде своих последующих работ, развивает и доказывает ее с привлечением нового материала и в результате тщательных наблюдений над большим фактическим материалом приходит к выводу, что «понятие „язык устного творчества“ принципиально не отличается от понятия „язык художественной литературы“, так как тот и другой — язык словесного искусства, язык художественных произведений»<sup>11</sup>.

Отмечалось также, что язык фольклора образует особый функциональный стиль диалектного языка<sup>12</sup>.

Все эти положения нуждаются в корректировании и уточнении. Язык фольклора в целом — это не «литературная форма диалекта», а значительно более сложное образование системного характера, определенный континуум, где диалектически сплавлены его образующие, т. е. и конкретные народные говоры, и диалектный язык как система всех соответственных диалектных явлений, и общенародный язык в целом как метасистема русского языка, причем все эти элементы представлены в языке фольклора не только в их современном состоянии. Поэтому аналогия между языком фольклора и языком художественной литературы представляется незакономерной, если иметь в виду художественную литературу нового времени.

Современный писатель может вводить в свое произведение любые элементы, например, диалектные или даже иноязычные. Языковые факты разных стилей в контексте художественного произведения приобретают эстетическую функцию и превращаются в его активный компонент. Тот или иной факт литературного языка воспринимается как элемент языка художественного или нехудожественного не сам по себе, не как таковой; он становится элементом языка художественного или нехудожественного только в соответствующем контексте.

Язык фольклора иначе соотносится со своей языковой базой, чем язык современной художественной литературы с литературным языком, он насыщен множеством фактов, принадлежащих к разным уровням языковой системы, специфичных только для него и не встречающихся в обиходной диалектной речи. В сплаве с диалектной основой языка фольклора образу-

<sup>8</sup> Фр. Миклошич, Изобразительные средства славянского эпоса. (Читано в заседании Венской Академии Наук 3 июля 1889 г.), перевод А. Е. Грузинского, М., 1895, стр. 3.

<sup>9</sup> А. П. Евгеньева, О языке фольклора, «Р. яз. в шк.», 1939, 4, стр. 53.

<sup>10</sup> А. П. Евгеньева, Язык былин в записях XVII в. (Автореферат), ИАН ОЛЯ, 1944, 4, стр. 168.

<sup>11</sup> А. П. Евгеньева, Очерки..., стр. 7. См. также: Л. И. Бараников, Народное-поэтическая речь и ее место в системе функционально-стилевых различий диалектной речи, в кн.: «Вопросы теории и методики изучения русского языка. Труды седьмой научной конференции кафедр русского языка педагогических институтов Поволжья», Саратов, 1965, стр. 259.

<sup>12</sup> «Вопросы теории лингвистической географии», под ред. Р. И. Аванесова, М., 1962, стр. 10.

ется идиоматичная, замкнутая система, которая интегрируется из самых разнообразных фактов и конкретных говоров, и диалектного языка, и общенационального языка, а также включает в себя факты, представляющие результаты имманентного развития языка фольклора как системы. За пределами произведений фольклора эта система как единое целое не встречается. Язык фольклора нельзя отрывать от его почвы — народных говоров, но нельзя не видеть и того, что их различает. Такая неидентичность языка фольклора и народного говора не только не предполагает, но и непременно обязывает анализировать язык фольклора в его связях с народными говорами.

Язык фольклора обладает такой системой характеристик, которые выводят его далеко за пределы конкретного говора со всеми его стилями. Поэтому незакономерна параллель между языком фольклора и языком современной художественной литературы; язык фольклора имеет приметы единого стиля, особенно в пределах отдельных жанров, а язык художественной литературы таким единством стиля не обладает. Трудно согласиться с Л. И. Баранниковой, которая утверждает наличие именно типологического сходства между языком фольклора и языком художественной литературы<sup>13</sup>.

Отличие языка фольклора от языка художественной литературы не представляет собой постоянной величины, оно неодинаково на разных этапах развития данной национальной художественной литературы, которая развивается, приспособляясь к новым эстетическим критериям читателей, в то время как эстетика фольклора изменяется медленно, и это изменение нередко влечет за собой не трансформацию жанра, а его исчезновение или же перерождение в другой жанр. Ср. угасание эпической традиции и исчезновение былин в устном бытовании, ср. переход некоторых лирических песен в частушки, жанр сравнительно новый в фольклоре<sup>14</sup>.

✓ Тесная связь языка фольклора с народными говорами (при всех различиях между ними) натолкнула некоторых исследователей на мысль сравнить факты конкретного говора с фактами языка произведений фольклора, записанных от носителей этого же говора. Такую попытку предприняла О. И. Богословская, которая изучила некоторые грамматические категории языка былин (имена существительные, имена прилагательные, местоимения, синтаксис), записанных от Рябиных (Трофима Григорьевича, Ивана Трофимовича, И. Г. Рябина-Андреева и П. И. Рябина-Андреева) и сравнила их с соответствующими данными кижских говоров. В результате такого сопоставительного изучения О. И. Богословская пришла к выводу, что «языковой состав былин в основном отражает языковую систему того современного ей говора, в области распространения которого живет былина»<sup>15</sup>. О. И. Богословская вслед за А. П. Евгеньевой говорит о языке фольклора как о «литературной» форме говора<sup>16</sup>, не учитывая, однако, специфики этого понятия в применении к языку фольклора и неожиданства его понятию литературного языка и языка художественной литературы. Выводы О. И. Богословской недостаточно доказательны и потому, что ее материал неоднороден, он собран разными лицами и в разное время (например, былины, записанные от

<sup>13</sup> Л. И. Баранникова К вопросу о функционально-стилевых различиях в диалектной речи, «Вопросы стилистики», II, Саратов, 1965, стр. 146.

<sup>14</sup> С. Г. Лазутин, Русская частушка, Воронеж, 1960.

<sup>15</sup> О. И. Богословская, Синтаксические диалектизмы в языке былин сказителей Рябиных, «Уч. зап. Пермского гос. ун-та», XV, 1, 1958, стр. 76.

<sup>16</sup> О. И. Богословская, Соотношение народно-поэтической и народно-разговорной речи на материале системы именного склонения в былинах сказителей Рябиных и в кижских говорах Заонежья. АҚД, 1965, стр. 9.

Т. Г. Рябинина, и записи самой О. И. Богословской). Более доказательны выводы И. К. Зайцевой, которая произвела записи некоторых говоров Воронежской области и сравнила материал этих говоров с материалом лирических песен, которые она же записала от носителей этих же говоров<sup>17</sup>. Такого рода материал исследования достаточно надежно застрахован от многих случайностей экстралингвистического характера (несинхронность записи, разные говоры, отражение личности разных собирателей и т. п.).

И. К. Зайцева анализирует фонетику, употребление предлогов и лексику в народных песнях и в говорах, где записаны эти песни. На всех этих уровнях автор отмечает черты как общие с нехудожественной речью, так и специфически песенные образования, что не позволяет автору отождествить по составу язык изученных песен с народными говорами; язык фольклора нельзя считать «литературной» формой диалекта также и потому, что в языке фольклора, как показывает И. К. Зайцева, имеются не только факты, специфичные именно для художественного языка, но и факты нехудожественной речи, пришедшие в процессе миграции из других говоров и иносистемные для данного говора и потому превратившиеся в воспринимающей языковой среде в факт языка художественного, в факт языка фольклора.

Миграция фольклорного текста влечет за собой трансформацию фактов обиходного языка, приобретающих в разных языковых системах дополнительную экспрессию, дополнительную семантику, которая может стать художественно выразительной. Таким образом, основой языка фольклора является система общенационального языка, которая по-разному реализуется в литературном языке и в народных говорах. Тем самым в языке фольклора теснейшим образом спаяны в органическое единство данный говор с его обиходной основой, широкий междиалектный фонд и специфические факты поэтического языка.

Язык фольклора характеризуется набором определенных языковых средств и определяется прежде всего его художественной функцией, а также устной традицией, которая способствовала выработке в нем этих специфических языковых выразительных средств.

В языке фольклора наблюдается много нехарактерных для нефольклорного языка фактов, которые наблюдаются на всех уровнях. Можно отметить, например, вставку гласных в группы согласных при пении или йотацию начальных гласных слога (*юж ты, веснушка-весна... ю ворот, ю ворот сасенушка стояла...* и под.)<sup>18</sup>, что встречается не только в русском песенном фольклоре, но и в фольклоре других славянских народов. В морфологии отдельные специфичные для языка фольклора факты представлены архаизмами<sup>19</sup>, имеющими разное происхождение. Свообразна лексика фольклора, она включает в себя много архаизмов, а также большое количество номинаций неизвестных исполнителю реалий, что иногда обуслав-

<sup>17</sup> И. К. З а й ц е в а, Некоторые фонетические особенности языка русской народной песни (На материале песен Воронежской области), «Труды Воронежск. гос. ун-та», 63, 1961; е е ж е, Сравнительная характеристика вокализма обиходно-бытовой речи и песенного языка, в кн.: «Материалы по русско-славянскому языкознанию», Воронеж, 1964; е е ж е, Соотношение языковых особенностей народно-песенной и обиходной речи диалекта. А.К.Д., Воронеж, 1965; е е ж е, Некоторые лексические отличия языка народных песен и говоров, в кн.: «Материалы по русско-славянскому языкознанию», II, Воронеж, 1966; е е ж е, К вопросу о песенных «новообразованиях», в кн.: «Материалы по русско-славянскому языкознанию», III, Воронеж, 1967.

<sup>18</sup> П. Г. Б о г а т ы р е в, О языке славянских народных песен в его отношении к диалектной речи, ВЯ, 1962, 3. См. также названные выше работы И. К. Зайцевой.

<sup>19</sup> И. А. О с с о в е ц к и й, Язык фольклора и диалект, в кн.: «Основные проблемы впа са восточных славян», М., 1958.

ливает большую вариативность этой лексики (ср. старчище *пилигримище* и старчище *полигримище*; копье *мурземецкое*, *муржамецкое*, *мурзинское*, *бурзомецкое*, *бурзуменское*...; седло *черкасское*, *черкальское*, *черкальсато*...; шелк *шемаханский*, *шемахатный*, *шаматынский*, *шанский*, *муханьский*... и др.) или же приводит к образованию новых сложных слов (*шляпа землегрецкая*).

Специфичен и очень эстетически нагружен синтаксис языка фольклора, особенно его песенных жанров. Для него характерен принцип симметрии, реализующийся в синтаксическом параллелизме разного типа. Эти синтаксические факты детально рассмотрены на материале языка эпоса<sup>20</sup>.

Очень своеобразен и интересен синтаксис языка песенной лирики, его изучение принесло интересные результаты<sup>21</sup>.

К числу наиболее специфичных черт синтаксиса произведений фольклора нужно отнести их поэтическую фразеологию, характерную для каждого жанра. В пределах жанра, а тем более в пределах инварианта, типичные ситуации действия, обстоятельства и т. п. при изложении расчленяются, примерно, одинаково; такие типичные места представляют собой как бы матрицу с одной или несколькими незаполненными ячейками, которые в конкретных вариантах заполняются, примерно, одинаковым языковым материалом. Так возникает поэтическая фразеология, более или менее стабильные языковые формулы с идентичным содержанием. Поэтическая фразеология представляет собой художественные лексико-синтаксические единства разной степени обобщенности. Она включает в себя сочетания художественного определения (эпитета) с определяемым, стабильные синтаксические конструкции со словами-символами и с заданной экспрессией (например, различные виды параллелизмов), обобщенное обозначение пространства, времени, качества, количества путем перечисления конкретных частных составляющих (*Из Индеи... из Карели... Из Галича...* «откуда-то издалека»; *За двенадцать год да за тринадцать лет*, *За тринадцать лет с половиною* «давно»; *Приносила... кунью шубоньку*, *кунью шубоньку соболиную* «очень дорогую»; *А и три их четыре татарина* «много»), зачины, запевы, концовки и мн. др. Широко применяется поэтическая фразеология при изображении персонажей. Примером поэтической фразеологии в былинах могут служить так называемые типические места *loci communes* такие, как описание пира, прихода богатыря на пир, описание боя, процесса седлания коня и мн. мн. др.<sup>22</sup>. Типические места есть и в лирических песнях. Эта поэтическая фразеология особенно отчетливо осознается и относительно легко вычлениается из текста в инвариантах.

При всем своем богатстве и разнообразии поэтическая фразеология очень стабильна как в отношении компонентов, так и в отношении общего значения. Ее структурной и смысловой устойчивости способствует традицион-

<sup>20</sup> А. П. Евгеньева, *Очерки...*

<sup>21</sup> Е. Б. Артеменко, *Синтаксические функции полных и кратких прилагательных в русской народной лирической песне*. АКД, Воронеж, 1958; е е же, *О некоторых особенностях порядка слов в русской народной лирической песне*, «Труды Воронежск. гос. ун-та», LXIII, 1961; е е же, *К вопросу об основной структурно-синтаксической единице русской народной лирической песни*; е е же, *К вопросу о взаимодействии синтаксического и поэтического строя русской народной лирической песни*, «Иzv. Воронежск. гос. пед. ин-та», 68, 1969; А. Т. Хроленко, *Паратактические конструкции в русской народной лирической песне и проблема их продуктивности в современном фольклоре*. АКД, Воронеж, 1968; е г о же, *К вопросу об особенностях словосочетаний в русском фольклоре (Аппозитивные сочетания в языке русской народной лирической песни)*, «Уч. зап. Курского гос. пед. ин-та», 56. Научно-практические очерки по русскому языку, 3, 1969.

<sup>22</sup> П. Д. Ухов, *Атрибуции русских былин*, М., 1970.

ность фольклора, а также то, что традиционный фольклор почти прекратил свое активное бытование и, следовательно, не развивается и не изменяется. Степень семантического слияния компонентов поэтической фразеологии очень неодинакова, начиная от незначительных сдвигов значения компонентов (например, сочетания с постоянными эпитетами) и кончая полной несводимостью общего значения к сумме значений компонентов. Проблема состава и функции поэтической фразеологии фольклора совершенно не разработана.

Хотя язык фольклора и представляет собой целостную систему, однако из этого вовсе не вытекает, что он состоит лишь из одних фольклорно-языковых экзотизмов и что элементы его системы не встречаются за ее пределами. Специфика языка фольклора заключается не только в том, что в нем употребляются формы, неизвестные в обиходно-разговорном нехудожественном языке, но и в том, как сконцентрированы те или иные факты языка, какова степень их «загущенности» сравнительно с языком нефольклора, какова степень преимущественного употребления тех или иных фактов языка в соответствии с художественным заданием, какова сравнительная частотность одних и тех же языковых фактов в фольклоре и нефольклоре. Большая продуктивность того или иного языкового факта в фольклоре тоже особенность его языка, потому что в данном случае специфичен не материал, а иные параметры его употребления. В качестве примера можно привести хотя бы относительное сгущение именных суффиксов субъективной оценки в лирических песнях, особенно семейно-бытовых, что объясняется определенной их эмоционально-идейной установкой; относительное количественное преобладание увеличительно-уничтожительных именных суффиксов в былинах при обрисовке образа противника, относительно широкое использование бессоюзных сложных предложений в пословицах, постпозиция прилагательных в лирических песнях, паратаксис в песнях и др.

Экспрессивно-выразительные средства языка фольклора, представляющие собою конечный результат его имманентного развития и не имеющие распространения в нефольклорном языке, представлены в фольклорных текстах на очень широком фоне не маркированных стилистически общезыковых фактов. Особенности распределения этих языковых средств в сочетании с языковыми средствами, специфичными только для языка фольклора, в основном и формируют систему языка устной народной поэзии в целостное образование. В этом процессе формирования диалектически сочетаются качественные и количественные факторы, которые будут в известных пределах колебаться, потому что языковая основа этой системы характеризуется диалектными различиями. Кроме того, распространение некоторых жанров фольклора территориально ограничено (например, былин), поэтому элементы, составляющие систему языка фольклора, на разных территориях будут варьироваться, что существенным образом сказывается на ее характере<sup>23</sup>.

Язык фольклора, как и все в целом фольклорное произведение с его идейно-образной системой, по-разному воспринимается с диалектных языковых позиций и с позиций литературного языка. С позиции носителя литературного языка все то, что отличается от кодифицированных норм, воспринимается как эстетически маркированное, все это обогащается эстетическим «приращением смысла», имеет остранный характер, причем по эстетической функции совпадут как собственно художественные языковые средства фольклора, так и его диалектные черты, которые как ино-

<sup>23</sup> Необходимо также учитывать и колебания признаков системы языка фольклора внутри жанра, зависящие от территории (например, оловецкие былины и довецкие былины, причитания на севере и причитания на юге и т. д.).

системные для носителя литературного языка тоже будут стилистически маркированными, как и многие факты диалектной нехудожественной речи, относящиеся, с точки зрения диалекта, именно к нехудожественному стилю речи. Впечатление образности, яркости, выразительности диалектной речи у носителя литературного языка носит субъективный характер и определяется лишь отношением диалектных языковых фактов к фактам литературного языка. Иносистемные языковые факты на фоне привычной обиходной речи всегда воспринимаются как более выразительные.

В принципе так же будет восприниматься произведение фольклора и с точки зрения носителя какой-либо частной диалектной системы, потому что и для него в языке этого произведения тоже будут иносистемные элементы. Однако для носителя диалекта в произведении фольклора эстетически значимых элементов этого типа будет меньше, и круг их будет иной, чем для носителя литературного языка, потому что часть фольклорных фактов, которые для носителя литературного языка в той или иной степени стилистически маркированы, для носителя данного диалекта лишена какой бы то ни было художественной выразительности и входит в фонд обычных речевых средств родного ему диалекта. Для носителя диалекта набор эстетически значимых языковых фактов фольклорного произведения будет иным, чем для носителя литературного языка в том же произведении. Это будут факты других говоров, пришедшие с фольклорным текстом и не совпадающие с соответствующими фактами данного говора, междиалектные языковые факты, историзмы и генетические архаизмы, а также все собственно выразительные языковые средства фольклора.

Язык фольклора — это язык художественного произведения, с исходной коммуникативно-эстетической функцией. Многие его составляющие и возникали именно как элементы языка искусства, как выразительные средства. Чтобы выделить именно эти генетически эстетические средства языка фольклора и отделить их от тех средств, которые определяются как выразительные только из сопоставления с литературным языком, анализ художественных языковых средств фольклора надо начинать с учета отношений внутри одной системы, т. е. внутри того говора, на котором реализуется то или иное произведение фольклора. Тогда многое из того, что в тексте произведения фольклора носитель литературного языка будет воспринимать как художественное средство, как образ, на самом деле окажется фактами языка нехудожественного, фактами обиходной речи. Например, тавтологические сочетания в произведениях фольклора обычно воспринимаются как художественный прием, однако во многих говорах они представляют собой факты обиходной речи и лишены какой бы то ни было эстетической нагрузки<sup>24</sup>. Даже иное, чем в литературном языке, лексическое наполнение в языке фольклора общей модели тавтологического словосочетания воспринимается носителями литературного языка как выразительное средство: ср. литературное и диалектное словосочетание *гром гремит* и словосочетания *дождь дождит стук стучит* и мн. др., стилистически немаркированные с точки зрения носителя диалекта, но маркированные с точки зрения носителя литературного языка. Такие словосочетания встречаются и в народном эпосе, и в народной лирике, и в прозаических жанрах.

Повторение предлогов многими носителями литературного языка тоже воспринимается как художественный прием, хотя во многих говорах, и

<sup>24</sup> Ср. тавтологические сочетания в говоре д. Деулино: *вилби вить, глбтом глбтъ, кбтом катйтъя, тбском тацйтъ* и мн. др. [«Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области)». Материал собраны и словарь составил Г. А. Барылова, Т. С. Короткова, Е. А. Пейрасова, И. А. Оссовецкий, В. Б. Силина, К. П. Смолина. Под ред. И. А. Оссовецкого, М., 1969].

северно- и южнорусских, это обычные факты нефольклорной обиходно-разговорной речи. Точно так же некоторые словосочетания, например, лирических песен, воспринимаемые как художественно-метафорические, представляют собой обычные словосочетания нехудожественного языка. Весьма возможно, что многие эпитеты в былинах — *калена стрела, доспехи булатные, седельшико черкасское* и мн. др. — генетически восходят к обычным определениям.

Один и тот же комплекс фонем в очень близких, но не тождественных языковых системах имеет неодинаковую семантическую структуру, и это определяет неодинаковый характер его восприятия у носителей этих систем, для которых этот комплекс фонем будет по-разному стилистически маркирован. Примером может послужить слово *грозный*, которое в фольклорных текстах часто встречается в сочетании со словом *туча* (*туча грозная*):

Подымались да *тучи грозные*

Что со всех да четырех сторон:

С северной стороны да с полуденной,

Со восточной за со западной<sup>25</sup>

Из-за лесу, лесу темного,

Из-за садика зеленого

Выплывала *туча грозная*,

*Туча грозная* с сильным дождем,

С сильным дождем, с крупным градом<sup>26</sup>.

А как со восточню-ту стороночку

А не темная *туча тучилась*,

А как темна *туча* как ведь *грозная*,

А как *туча тучилась*, как бы гром гремел,

Как бы гром гремел да частой мелкой дождик шел<sup>27</sup>.

Если словосочетание *туча грозная* в составе фольклорного текста из одной языковой подсистемы, где *грозный* имеет значение «грозовой» и где словосочетание *туча грозная* имеет вполне конкретный прямой смысл<sup>28</sup>, переходит в другую языковую подсистему, где есть два слова: *грозный* «грозный» и *грозовой* «грозовой», то для носителя этой системы словосочетание *туча грозная* приобретает метафорический смысл, отсутствующий в исходной системе, и все словосочетание превращается в художественно-образное. Мы не знаем, к какой из двух упомянутых языковых систем относятся те говоры, на территории бытования которых записаны процитированные выше примеры, поэтому и не можем с достаточной доказательностью квалифицировать словосочетание *туча грозная* в этих примерах как стилистически маркированное или же стилистически нейтральное. Носители же литературного языка, которые составляют основной контингент читателей сборников фольклорных текстов, воспринимают словосочетание *туча грозная* как метафорическое, стилистически маркированное, в полном соответствии со своей языковой системой.

<sup>25</sup> «Чердынская свадьба», записал и составил И. Зырянов, Пермь, 1969.

<sup>26</sup> В. М а г н и т с к и й, Песни крестьян села Беловоложского Чебоксарского уезда Казанской губернии, Казань, 1877, № 40 (цит. по кн.: «Русские народные песни», М., 1957, стр. 223).

<sup>27</sup> «Беломорские былины, записанные А. Марковым», М., 1901, стр. 437.

<sup>28</sup> Ср.: «Дь йёгъ н'и туч'а [об облаке], а туч'а пр'идёт', үром как удар'ит', знáч'ит', туч'а үрöзньй'. [— Любая туча грозная?] — Йес'т' үрöзньйя, а йес'т' так прашлá, б'из үрöмь, б'из м'лан'ий» («Словарь современного русского народного говора», стр. 127).

Примерно такая же картина наблюдается в отношении слова *хоровод* в таком, например, отрывке:

Как у наших у ворот,  
 . . . . .  
 Стоял девок *хоровод*,  
 Молодушек табувок <sup>29</sup>.

Вполне можно допустить, что собиратель при записи этой песни словом *хоровод* заменил менее понятное или показавшееся «искажением», но как будто одинаковое по значению слово *корогод* или *коровод*, широко распространенное в говорах и, в частности, в тех, на территории бытования которых была записана цитированная песня (б. Чебоксарский уезд) <sup>30</sup>. Это слово известно в значении «группа лиц, небольшое собрание людей» <sup>31</sup>, а не «старинный массовый танец», для обозначения которого в говорах употребляется и слово *круг* и словосочетание *водить круга* <sup>32</sup>. Контекст песни как будто подтверждает такое предположение. Если оно верно, то словосочетание *девок хоровод* имеет стилистически нейтральный, «бытовой» характер, а не стилистически маркированный, как это воспринимается, например, носителями литературного языка.

Однако многие факты, возникшие в нехудожественном языке, могут играть роль и стилистических средств, потому что в процессе жизни и развития диалекта они могут приобрести определенную экспрессию.

Таким образом, к проблематике языка фольклора необходимо подходить с учетом генетического аспекта, чтобы выделить сначала первичные, исконно выразительные средства. На эти средства наслаиваются факты нехудожественного языка, приобретшие эстетическую функцию или в процессе имманентного развития системы языка фольклора или из сопоставления языка фольклора с нефольклорным языком, диалектным и литературным.

Язык фольклора образно отражает действительность. Непосредственно же в устной народной поэзии представлена особая фольклорная действительность, которая во многих своих аспектах представляет собой идеальный вариант действительности. В связи с художественной задачей сконструировать в фольклоре идеальную действительность в языке фольклора формируется своя система, свой мир денотатов, не совпадающих с денотатами естественного языка. В лирических песнях формируется свой песенный быт, в былинах излагается своя былинная история, формируется своя география, мир образов волшебной сказки сконструирован не непосредственной действительностью, а фантастическими представлениями о ней. С точки зрения былинной истории нет противоречия в том, что, например, Скопин-Шуйский сидит на пиру князя Владимира, что Марина (ее прообраз — историческая Марина Мнишек) в союзе с Тугарином строит козни против Добрыни, с точки зрения былинной географии возможны сближения и даже слияния таких географических точек, которые в реальной действительности находятся на большом расстоянии друг от друга.

С точки зрения песенного быта, особенно быта свадебных песен, вполне правдоподобно, что крестьянская девушка одета в шелк и парчу, украшена

<sup>29</sup> В. Магнитский, Песни крестьян..., № 4.

<sup>30</sup> См. «Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы», М., 1957, карта № 84.

<sup>31</sup> Ср. «Вот събаруцца бабы д'ва — тр'и — вот ы кырауѳт. — С'ид'ат' кырауѳт мужукоѳ» («Словарь современного русского народного говора», стр. 241).

<sup>32</sup> Ср.: «уьдавыи праз'ник'и в'инк'и зь'ивал'и и крууам хад'ил'и, п'ес'ни пурал'и... Так'ипи уш п'ес'ни пад'них был'и. — На Трбицу зь'ивал'и в'анк'и, бабы пр'ихад'ил'и снар'ажыныи... Крууа вод'ут, п'ес'ни пурайут» («Словарь современного русского народного говора», стр. 254).

золотыми кольцами, сидит в златоверхом тереме и т. д. Лексика всех этих фольклорных произведений соответствует фольклорным же денотатам. Пейзаж, быт, внешность героев приподняты над бытом, реалистические детали переосмысливаются и переводятся в идеальный план. «Мир былины проходит непрерывно в представлениях о том, что должно быть, вместо того, что есть. Былины и в сюжетах своих почти целиком охвачены восторгом и мечтой об идеальных качествах героя... Общей приподнятостью в некий воображаемый мир лучшего всегда пронизан и аксессуарно-обстановочный слой былины (декоративная идеализация). Коротко брошенными чертами идеального убранства, обстановки, всяких принадлежностей костюма, жилища, утвари и т. п. былина всегда создает колорит идеально украшенного мира»<sup>33</sup>. Потеря связи с реалиями может быть различной. Например, игра в шахматы в некоторых былинах изображается хотя и приблизительно, но похоже, а в других былинах — это какая-то неопределенная игра. Можно думать, что сказитель былин вряд ли конкретно представляет себе, например, помещение, которое он называет *гридней*, или оружие, которое он называет *палицей*, сказочник тоже вряд ли конкретно представляет себе царский дворец, царские наряды. Значения слов, обозначающих все такие реалии, теряют свою лексическую определенность, слово превращается в условный знак для обозначения чего-то, не вполне ясно представленного, оно приобретает символическое значение, которое поддерживается и развивается и другими художественно-языковыми приемами. Реализм здесь доведен до символа, это своего рода символический реализм.

Устная народная поэзия в целом отражает также и реальную жизнь в ее конкретных проявлениях, например, в новеллистических сказках, частично в семейно-бытовых песнях и т. д., однако в традиционном фольклоре его почвой является не только реальная жизнь, но и тот идеальный быт, который конструируется в произведениях фольклора его создателями. Многие объекты традиционного фольклора условны, его лексика отражает действительность часто в фантастическом преломлении. Многие реалии фольклора связаны с религиозными представлениями древних славян, они соотносятся с ритуалом, а не с конкретно реалистической, бытовой действительностью. Многие мотивы архаического фольклора тоже ближе к религиозной системе, к ритуалу, чем к повседневной действительности<sup>34</sup>. Лексика в таком фольклоре приобретает метафорический характер, ее конкретная информативность уменьшается. Семантика этой лексики задана заранее, задача ее соответствовать ритуалу, а не рисовать конкретную реалистическую ситуацию. При анализе семантики фольклорной лексики всегда необходимо учитывать этот семиотический аспект фольклора, его остаточную ритуальность. Например, *лебедь*, *ворон* — это и разные птицы, и «светлое» и «темное»<sup>35</sup>; *лес* — это «лес» и «не-дом, нечто чужое»<sup>36</sup> и т. д.

Условность художественной модели действительности в произведениях устной поэзии выражается не только в условности места действия, например, в сказках (*в тридевятом царстве, близко ли, далеко, низко ли, высоко и под.*), но и в условности фольклорного времени<sup>37</sup>. В фольклоре широко наблюдается переключение из правды деталей, вещей, конкретного хода событий в правду характеров, этики, морали, исторической концепции.

<sup>33</sup> А. П. Скафтымов, Поэтика и генезис былин, стр. 123.

<sup>34</sup> Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, Славянские моделирующие семиотические системы (Древний период), М., 1965.

<sup>35</sup> Там же, стр. 138—139.

<sup>36</sup> Там же, стр. 168.

<sup>37</sup> Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, Л., 1967, стр. 224—

Э. В. КУЗНЕЦОВА

ЧАСТИ РЕЧИ И ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ СЛОВ

Основным, наиболее существенным для системы языка видом отношений являются парадигматические связи между ее единицами. «На основе парадигматических отношений образуются группировки, представляющие собой объединения по некоторым признакам сходных элементов в классы или классов в более крупные классы»<sup>1</sup>. Слова являются важнейшими единицами языковой системы, а парадигматические классы слов составляют основу этой системы и представляют собой один из главных объектов системного изучения лексики на всех его уровнях. Не случайно именно идея классов слов лежит в основе двух фундаментальных разделов традиционной грамматики: формально-семантических в морфологии (части речи) и функционально-семантических в синтаксисе (члены предложения).

Слово — с какой бы стороны мы ни подходили к нему — являет собой единицу сложную, многогранную, поэтому его соотношения с другими единицами в рамках лексической системы языка характеризуются большим разнообразием. В основе этих соотношений лежит наличие общих компонентов как в форме, так и в содержании отдельных слов. Разнообразие этих соотношений в свою очередь определяет разнообразие парадигматических группировок, в которые может входить одно и то же слово, объединяясь в них с другими словами на основе общности тех или иных признаков. Например, глагол *набрать* является прежде всего элементом грамматического класса слов (части речи), в котором он объединяется со всеми другими глаголами. Внутри грамматического класса он входит в лексико-грамматический класс (разряд) переходных глаголов. Кроме того, этот глагол является: элементом семантической группировки, представляющей собой один из типов «характеризованных» способов действия (накопительный подтип)<sup>2</sup>, в рамках которых он объединяется с глаголами *нашить*, *набравать*, *насажать*, *налететь* и под.; элементом одного из непродуктивных типов формальных классов русских глаголов наряду с глаголами *брать*, *звать* и производными от них<sup>3</sup>; элементом группы глаголов, образованных по одной модели со значением «постепенно накопить(ся) в определенном количестве с помощью действия, названного мотивирующим глаголом»<sup>4</sup> наряду с глаголами *натаскать*, *напринимать*, *наоткрывать*, *нарассказать* и под.; элементом лексико-семантической группы глаголов «приобщения объекта» наряду с глаголами *брать*, *получать*, *покупать*, *добывать* и др.; элементом подгруппы, объединяющей в себе глаголы *наловить*, *нахватать*, *накупить*, *скопить*, *недобрать* и др., обозначающие различные виды действий приобщения объекта, имеющего количественную характеристику.

<sup>1</sup> В. М. Солнцева, *Язык как системно-структурное образование*, М., 1971, стр. 90.

<sup>2</sup> См.: «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970 (далее — «Гр. 70»), стр. 348.

<sup>3</sup> См.: В. В. Виноградов *Русский язык*, М., 1947, стр. 448.

<sup>4</sup> «Гр. 70», стр. 261.

В связи с широтой и разнообразием парадигматических группировок типология таких группировок не может быть одноплановой, поскольку их можно классифицировать по нескольким основаниям.

Наиболее важными для структуры языка и его функционирования представляются классы слов, основанные на их семантическом сходстве. Такие классы, будучи весьма разнообразными, могут отличаться друг от друга по целому ряду моментов, как-то: по характеру семантических признаков, лежащих в основе класса, по наличию или отсутствию формального (морфемного) сходства слов, по типам этого сходства, по наличию или отсутствию функциональных и синтагматических особенностей.

Говоря о различном характере семантических признаков, формирующих содержание слова, мы имеем в виду прежде всего то, что эти признаки различаются по степени абстракции и связанной с этим широте представленности в значениях отдельных слов. Наиболее общие, категориально-грамматические признаки, присущие огромному количеству слов, выступают в качестве семантической основы грамматических классов слов. Слова, объединенные в часть речи на основе указанных признаков, группируются внутри ее по семантическим признакам лексико-грамматического и чисто лексического характера. Лексико-грамматические разряды — «низшие объединения слов, релевантные для грамматики»<sup>5</sup>, — объединяют в себе слова по признакам достаточно общим, как бы непосредственно примыкающим к основным категориально-грамматическим признакам в качестве их ближайших уточнителей. В лексико-семантических группах объединяются слова одной части речи, имеющие общие семантические признаки категориально-лексического характера. Принцип формирования всех классов един: множества делятся на подмножества, весь словарный состав — на грамматические классы, грамматические классы — на лексико-грамматические разряды, внутри которых выделяются лексико-семантические группы, имеющие, как правило, в своем составе определенные подгруппы, вплоть до синонимических рядов. Чем уже группировка слов, тем больше общих признаков имеется в их содержании, тем «лексичнее» характер этой группировки.

Среди классов слов, имеющих семантическую природу, самая важная роль принадлежит таким классам, единицы которых связаны друг с другом не только сходством значений, но и функциональным сходством, которое может быть установлено только на уровне предложения. И хотя между функциональными и семантическими классами слов нет однозначности (класс сказуемых не равен, например, классу глаголов), между ними существует глубинная связь, являющаяся одним из главных факторов формирования основных парадигматических группировок слов, которые имеют характер функционально-семантических классов.

Основными, фундаментальными для всей системы языка типами функционально-семантических классов слов являются грамматические классы (части речи) и лексико-семантические группы слов, которые, с одной стороны, в чем-то главным сходны друг с другом<sup>6</sup>, с другой — в чем-то существенно отличаются друг от друга.

Хотя в изучении грамматических классов слов (частей речи) существуют освященные веками традиции, а исследование лексико-семантических клас-

<sup>5</sup> В. М. С о л н ц е в, Взаимодействие грамматики и лексики и понятие истинности конструкции, сб. «Историко-филологические исследования (к 75-летию Н. И. Конрада)», М., 1967, стр. 171.

<sup>6</sup> См., в частности, у В. Г. Гака: «Членение словарного состава на грамматические классы (части речи) и на семантические классы (лексико-семантические группы слов) подчиняется некоторым общим принципам» (В. Г. Г а к, К проблеме семантической синтагматики, сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1971, стр. 372).

сов слов стало актуальным сравнительно недавно, в науке уже имеется достаточно оснований рассматривать части речи и лексико-семантические группы в качестве явлений однотипных. Характеристики тех и других групп оказываются сходными в том отношении, что в них — как минимум — выделяется три общих момента: 1) категориальный признак, присутствующий в значениях всех слов, входящих в группу; 2) общие синтагматические свойства; 3) общие парадигматические особенности. Попробуем рассмотреть более подробно содержание этих характеристик, опираясь на сопоставление признаков глагола в целом с признаками глаголов «приобщения объекта», составляющими внутри него лексико-семантическую группу<sup>7</sup>.

Категориальным грамматическим признаком, объединяющим все глаголы в рамках одной части речи, является признак «действия», понимаемого в самом широком смысле. Такого же рода обобщенные признаки составляют семантическую основу и других частей речи. Поскольку общими для слов одной части речи являются только эти признаки, грамматические классы широки по объему и разнообразны по составу. В содержании каждого отдельного слова категориальный признак уточняется с помощью других, менее общих признаков, вплоть до уникальных. Среди них можно выделить признаки лексико-грамматического характера, на основе которых глаголы объединяются внутри части речи в лексико-грамматические разряды, более узкие по объему и менее разнообразные по составу, чем класс глагола в целом.

В той части значения глагольных слов, которую принято противопоставлять грамматическому значению в качестве чисто лексического<sup>8</sup>, также можно выделить достаточно общие, повторяющиеся во многих глаголах семантические признаки категориального характера. На основе таких признаков («классем» по терминологии Э. Косериу) глаголы объединяются в лексико-семантические группы, которые обычно получают названия по своим базовым глаголам (глаголы «мышления», «движения», «помещения», «чувства» и т. п.). Такие базовые глаголы выполняют роль «архилексем» в соответствующих «словесных полях», что не означает, однако, того, что их значение исчерпывается тем категориальным признаком, который объединяет глаголы в группу. Другими словами, базовый глагол далеко не во всех случаях является манифестатором «классемы»<sup>9</sup>. Так, в группе глаголов «приобщения объекта» в качестве базового глагола выступает глагол *брать*, который не может быть признан манифестатором категориального признака «приобщения объекта», так как в содержании его основного значения, кроме указанного признака, имеется еще один,

<sup>7</sup> В эту группу входят свыше 120 нейтральных глаголов, обозначающих (в основных значениях) различные действия, в которых целью субъекта является приобщение к себе объекта. Наиболее употребительные из них: *брать, получать, добыть, достать, забрать, заработать, захватить, купить, набрать, овладеть, отнять, поймать, принять, приобрести, сватать, украсть* и др. В составе группы имеется также свыше 80 стилистически маржированных глаголов, например, *обрести, раздобыть, выклянчить, заграбастать, ажилить, задолжать, выцуганить* и т. п. См.: Э. В. Кузнецова, Русские глаголы «приобщения объекта» как функционально-семантический класс слов (к вопросу о природе лексико-семантических групп). АДД, М., 1974.

<sup>8</sup> Мы разделяем мнение К. А. Тимофеева о том, что «грамматические значения не являются чем-то существующим отдельно от лексических значений, они входят в лексическое значение, составляют один из его компонентов» (К. А. Тимофеев, О некоторых вопросах словообразования, Новосибирск, 1966, стр. 16).

<sup>9</sup> Э. Косериу, предлагая различать словесные поля и классы слов, «архилексеммы» и «классемы», подчеркивает: «Для обозначения класса не обязательно используются простые слова — только в случае, если классема совпадает с архилексемой» (Э. Косериу, Лексические солидарности «Вопросы учебной лексикографии», М., 1969, стр. 96).

более конкретный признак «орудия, руки». Отсутствие в языке специальных средств выражения указанного признака (как и многих других, выполняющих аналогичную функцию в других глагольных семантических группах) дает, как нам кажется, известные основания для отнесения такого рода категориальных признаков к сфере «скрытой грамматики»<sup>10</sup>.

Следует заметить, однако, что если рассматривать глагол *брать* не в основном, а в так называемом «общем значении», отвлеченном от всех тех значений, которые может иметь этот глагол в реальных контекстах, выступая в качестве более или менее свободной единицы, то ему можно приписать роль манифестатора классемы «приобщения объекта», подобно тому как глагол *делать* условно используется в грамматике в качестве мерила глагольности.

Семантический базовый признак «приобщения объекта» в рамках указанной лексико-семантической группы глаголов аналогичен категориально-грамматическому признаку «действия», присущего всем глаголам, в том отношении, что присутствует в значениях всех глаголов группы. Он отличается от грамматических признаков меньшей степенью обобщенности, своей подчиненностью грамматическим признакам «действия» и «переходности», конкретизатором которых он является в содержании отдельных глаголов. В сущности же своей эти признаки едины, так как любой из них является категориальным, обобщенно отражающим реальные особенности действия.

Наличие общих признаков в значении предопределяет типичные способы функционирования слов, относящихся к одному классу, в составе предложения, создает единообразие их синтагматических характеристик. Так, все глаголы как элементы грамматического класса обладают уникальной функцией простого сказуемого, способностью согласовываться с существительными в именительном падеже, управлять существительными в косвенных падежах, присоединять к себе наречия. Если мы возьмем переходные глаголы (элементы лексико-грамматического класса), то их синтагматические характеристики будут более специфичны: они, как правило, выполняют функцию сказуемого в предложениях трехкомпонентной структуры и обязательно управляют существительным в форме винительного падежа без предлога.

Характеризуя переходные глаголы, относящиеся к определенной лексико-семантической группе, исследователи непременно отмечают, что такие глаголы, помимо указанных общих синтагматических особенностей, обладают еще типовой, свойственной глаголам определенной группы, сочетаемостью<sup>11</sup>. Так, глаголы, объединенные в одну лексико-семантическую группу на основе категориально-лексического признака «приобщения объекта», сходны между собой прежде всего по тому, что выполняют функцию предикатов во фразах, обозначающих ситуацию, в которой субъект производит действие, целью которого является приобщение к себе объекта, до действия существовавшего независимо от субъекта. В таких фразах указанные глаголы сочетаются с целым рядом типичных именных позиций<sup>12</sup>, уточняющих отдельные аспекты этой ситуации. К таким по-

<sup>10</sup> См.: С. Д. К а ц е л ь с о н, Типология языка и речевое мышление, Л., 1972, стр. 93—94.

<sup>11</sup> См., в частности, работы А. Ф. Атрошенко, В. П. Бахтиной, Н. Д. Гариповой, Н. С. Дмитриевой, Н. А. Клепицкой, И. С. Новицкой, Т. Н. Новоселовой, Н. А. Прокуденко, Р. И. Сироты, Г. В. Степановой, в которых много внимания уделяется наблюдениям над особенностями сочетаемости русских глаголов, относящихся к отдельным лексико-семантическим группам.

<sup>12</sup> Категория «позиции» аналогична категории члена предложения, так как в основе той и другой категории лежит определенное функционально-семантическое содержание. Их отличие зависит от уровня анализа предложения: члены предложения выделяются на грамматическом уровне анализа, позиции — на лексико-семантическом.

зициям относятся: позиция «местонахождения объекта» (*взять в деканате, купить в магазине, добыть в лесу, вынуть из коробки, поднять с пола, извлечь из работ, черпать в наробе и т. п.*); позиция «лица, владеющего объектом» (*взять у друга, отнять у врага, достать у знакомых, принять от предшественника, получить у секретаря, выпросить у соседей и т. п.*); позиция «компенсирующего объекта» (*взять деньги за книгу, купить за двадцать рублей, выменять на хлеб, получить за картину и т. п.*); позиция «конкретного орудия» (*взять вилкой, схватить руками, поймать на удочку и т. п.*); позиция «последующего действия» (*выхватил карандаш и написал, выпросил почитать и т. п.*) и некоторые другие позиции, уточняющие цель, способы и условия действия приобщения объекта<sup>13</sup>.

Типовые синтагматические характеристики глаголов одной лексико-семантической группы, будучи аналогичными в своей основе синтаксическим признакам слов одной части речи, отличаются, однако, от них степенью своей обобщенности: характеристики глаголов одной группы более конкретны и специализированны, ибо они обобщают не только грамматическую, но и лексическую сочетаемость глаголов. Характерно, что в типичных для глаголов «приобщения объекта» именных позициях мы не находим формально-грамматической однозначности; даже такая важная позиция, как позиция «объекта приобщения», может быть представлена не только формами винительного беспредложного, но также и формами именительного, родительного, творительного падежей и некоторыми предложно-падежными формами. Ср.: *достался пакет, набрал листьев, овладели городом, взялся за лопату, получили по экземпляру*. Более однотипными оказываются для отдельных позиций лексические значения слов, замещающих их. Например, в позиции «конкретного орудия» представлены чаще всего названия естественных орудий человека (*рукой, в руку, пальцами, зубами, в ладони и т. п.*), а также названия орудий, предназначенных для действия приобщения объекта (*ложкой, вилкой, щипцами и под.*). Позиция «профессии-должности», типичная для фраз, содержащих в себе информацию о приобщении объекта-лица, замещена обычно существительными соответствующей семантики при возможном различии грамматического оформления, ср. *взять в адъютанты, взять адъютантом*.

Обратившись к парадигматическим свойствам элементов одного класса, мы прежде всего убеждаемся в том, что каждый функционально-семантический класс слов располагает определенным набором семантических признаков, связанных с основным категориальным признаком и уточняющих его. В грамматических классах в качестве таких признаков выступают грамматические категориальные признаки. В лексико-семантических группах им соответствуют типичные для каждой из них наборы дифференциальных семантических признаков. Наиболее типичными дифференциальными признаками, присутствующими в значениях глаголов «приобщения объекта», являются, в частности, такие, как: а) «количество объекта» (ср. *набрать, закупить, скупить, недополучить* и под.); б) «качественная специфика объекта» (ср. *черпать, вдыхать, удить, зарабатывать* и под.); в) «зависимость объекта от какого-либо лица» (ср. *принять, выпросить, получить, украсть* и под.); г) «местонахождение объекта» (ср. *вынуть, достать, извлечь, выкрасть, выхватить* и под.); д) «усилие как средство приобщения объекта» (ср. *захватить, поймать, вырвать* и под.); е) «компенсация как способ приобщения объекта» (ср. *купить, выменять, арен-*

<sup>13</sup> Хотя позиции «субъекта» и «прямого объекта» действия являются наиболее важными и обязательными для фраз указанной семантики, они выходят за рамки «типовых», так как характерны для всех переходных глаголов, для всех фраз, имеющих трехкомпонентную структуру.

*довать* и под.); ж) «использование как цель приобщения объекта» (ср. *заимствовать, нанять, колонизировать* и под.) и некот. др. Круг таких признаков достаточно ограничен для каждой отдельной группы.

Будучи едиными по своей природе с грамматическими значениями (те и другие являются «уточнителями» базовых категориальных признаков, лежащих в основе класса), дифференциальные семантические признаки тем не менее отличаются от грамматических. Грамматические значения, как правило, обязательно присутствуют в содержании каждой единицы соответствующего грамматического класса. Дифференциальные семантические признаки распределены между единицами лексико-семантической группы неравномерно, что создает противопоставленность этих единиц на парадигматическом уровне.

Следует отметить, что в сфере глагольных лексико-семантических групп особенно наглядно прослеживается связь типичных дифференциальных семантических признаков, выделяемых на парадигматическом уровне, с синтагматическими условиями функционирования соответствующих глаголов. Дифференциальные семантические признаки, типичные для глаголов «приобщения объекта», во многих случаях соотнесены с типовыми позициями их контекстов; способы уточнения понятия о действии приобщения объекта оказываются таким образом существенно сходными на синтагматическом и парадигматическом уровнях. Ср. ДСП «местонахождения объекта» и типовую позицию с таким же значением (*взять, достать из шкафа*), ДСП «зависимости объекта от лица» и типовую позицию «лица, владеющего объектом» (*взять, добыть, получить у друзей*).

Грамматические категории, как известно, сводятся к двум основным типам: классифицирующим и словоизменительным. Первые проявляются, в частности, в том, что в значениях определенного круга слов, относящихся к одной части речи, присутствуют достаточно общие признаки, по которым эти слова — в качестве лексико-грамматического разряда — противопоставляются в пределах части речи другим словам, входящим в другие разряды. Сами части речи представляют собой грамматические категории такого же типа. Классифицирующие категории, лежащие в основе грамматических классов и подклассов (разрядов), определяют характер межсловных отношений на грамматическом уровне.

Несмотря на то, что классифицирующие категории являются более общими и фундаментальными и словоизменительные категории опираются на них, главная роль в грамматике основных частей речи принадлежит именно словоизменительным категориям, которые формируют внутрисловную парадигматику элементов того или иного грамматического класса. Грамматическая парадигма слова — это набор его грамматических вариантов, в которых обобщены и формально закреплены наиболее типичные синтаксические функции слов того грамматического класса, к которому принадлежит слово.

В сфере лексико-семантических групп, существующих в пределах одной части речи, мы встречаемся с явлениями, аналогичными двум типам грамматических категорий, с теми двумя формами проявления парадигматических отношений, которые можно назвать межсловными и внутрисловными. Межсловные парадигматические отношения на лексико-семантическом уровне проявляются прежде всего в том, что каждая единица одной лексико-семантической группы по тем дифференциальным признакам, которые типичны для нее, соотносится с другими единицами, входя таким образом в более частные семантические объединения (подгруппы, подпарадигмы). Так, в рамках лексико-семантической группы глаголов «приобщения объекта» глагол *накупить*, например, объединяется с глаголами *переловить, начерпать, нарвать, набрать, накрасть, закупить, скопить*

по семантическому признаку «количества объекта». Глагол *извлечь* объединяется с глаголами *достать, снять, выкрасть, выловить, забрать, прихватить* и др. на основе общего для них признака «местонахождения объекта»; все подобные глаголы обозначают действие приобщения такого объекта, который находится в определенном месте, в связи с чем действие приобщения непременно сопровождается известным перемещением объекта. Глаголы типа *арендовать, купить, выменять* объединены общим признаком «компенсации как способа приобщения объекта» и т. д.

Таким образом, особенностью подгрупп, выделяемых внутри лексико-семантического класса слов, является их ярко выраженный «пересекающийся» характер: один и тот же глагол может входить в несколько подгрупп в зависимости от того, сколько дифференциальных семантических признаков содержится в его значении. В связи с этим внутренняя структура лексико-семантических групп не может быть интерпретирована как аналогичная лексико-грамматическим разрядам, которые достаточно четко отграничены в рамках отдельных частей речи, хотя границы между ними и обладают некоторой подвижностью. Внутренняя структура лексико-семантической группы, рассматриваемая в плане межсловных парадигматических отношений, ближе по своему характеру к структуре фонологической системы, чем к структуре грамматических классов слов.

Аналогом словоизменительных категорий, реализующихся во внутрисловных грамматических парадигмах слов, на лексическом уровне является многозначность, которую можно интерпретировать применительно к отдельному слову как внутрисловную семантическую парадигму, объединяющую его семантические варианты. Семантические варианты слова подобны его грамматическим вариантам в том отношении, что в тех и других обобщены те функции, которые может выполнять слово в составе предложения.

Поскольку функции слов, относящихся к одной части речи, являются сходными, в них развиваются сходные вторичные значения, что приводит к частичному сходству их внутрисловных парадигм, к явлениям «регулярной многозначности»<sup>14</sup>, «лексической ассимиляции»<sup>15</sup>. Наши наблюдения над особенностями многозначности глаголов «приобщения объекта», в частности, свидетельствуют о том, что семантическое варьирование этих глаголов ограничено рамками определенных типичных значений, обусловленных, в конечном счете, кругом реальных разновидностей самой ситуации приобщения объекта. Во внутрисловных семантических парадигмах наших глаголов повторяются (в качестве основных или вторичных значений) такие значения, как «взять с целью использования», «взять, отняв у кого-либо», «взять за плату», «взять в качестве платы», «взять на работу», «взять даваемое», «взять с собой», «взять откуда-либо», «взять в долг», «взять чужое» и др. По этим значениям глаголы «приобщения объекта» как бы пересекаются друг с другом, что придает их семантическим парадигмам черты типичности, которая, однако, не достигает той степени регулярности и обязательности, которая характерна для внутрисловных грамматических парадигм.

Отличие семантических парадигм глаголов одной группы от грамматических парадигм всех глаголов заключается именно в нерегулярности первых. Не каждый глагол, относящийся к определенной лексико-семантической группе глаголов «приобщения объекта», обладает способностью

<sup>14</sup> См.: Д. Н. Шмелев, Проблемы семантического анализа лексики, М., 1973, стр. 220; Ю. Д. Апресян, О регулярной многозначности, ИАН ОЛЯ, 1971, 6.

<sup>15</sup> См.: В. А. Гречко, О некоторых источниках лексической синонимии, сб. «Очерки по синонимике современного русского литературного языка», Л., 1966.

обозначать любую разновидность соответствующей ситуации, т. е. имеет полный набор всех типовых значений. Максимальный набор таких значений представлен в семантической парадигме базового глагола *брать*, который в своих вторичных значениях вступает в синонимические отношения с 38 глаголами данной группы. В целом же семантическую парадигму глаголов «приобщения объекта» можно было бы интерпретировать как некую абстрактную модель, которая как бы очерчивает то «семантическое пространство», в котором функционируют и варьируются эти глаголы. Каждым отдельным глаголом эта модель реализуется лишь частично.

Различаются грамматические и семантические варианты также и по способу своей манифестации. Грамматические варианты имеют специфическое оформление в рамках самого слова, семантические варианты формально отличаются друг от друга только особенностями контекста, который не имеет строго регулярного характера.

Как можно было заметить из предыдущего рассмотрения вопроса, именно в области парадигматики — как межсловной, так и внутрисловной (вариантной) — ярче всего проявляются черты различия грамматических и лексико-семантических классов слов. Эти черты не ограничиваются тем, что грамматические значения в отличие от обобщенных семантических признаков, присущих словам одной лексико-семантической группы, находят свое регулярное выражение в «формальных принадлежностях» самих слов или слов, составляющих их обязательный грамматический контекст, но проявляются прежде всего в самом характере межсловных парадигматических связей.

Грамматические слова относящиеся к одной части речи (или одному лексико-грамматическому разряду), адекватны друг другу, ибо это не реальные слова в полном объеме их содержания, а абстрактные «оболочки», отвлеченные от конкретных, вещественных значений этих слов. Лексические же слова в качестве элементов лексико-семантических групп обязательно противопоставлены друг другу. Эта противопоставленность есть необходимое условие существования языка как системы знаков.

Наличие общих семантических признаков у элементов одной лексико-семантической группы, типичность синтаксических условий их функционирования ведет к тому, что разные по основным значениям слова оказываются функционально эквивалентными в условиях определенного типа контекста. Это приводит к широкому развитию в рамках лексико-семантических групп лексической синонимии — особого типа межсловных парадигматических отношений, неразрывно связанных с семантическим варьированием слов, т. е. с парадигматикой внутрисловного характера.

Различаются грамматические и лексико-семантические классы слов также по характеру взаимосвязей элементов одного класса с элементами другого, аналогичного ему. Это различие проявляется отчасти в специфике форм «пересечения» одних классов с другими, но главным образом мерой способности к такому «пересечению». Слова разных частей речи взаимодействуют друг с другом в сфере синтаксических функций, на уровне словообразования, в меньшей степени — в сфере грамматических вариантов, в виде так называемых гибридных форм.

Одной из характернейших особенностей лексико-семантических групп является их «пересекаемость» друг с другом. Помимо функционального и словообразовательного сближения слов, принадлежащих к разным лексико-семантическим группам, здесь наблюдается широкое вхождение вторичных значений слов одних групп в другие. Именно таким образом взаимодействуют глаголы «приобщения объекта» с глаголами «перемещения», «соединения», «отделения», «удаления», «физического воздействия» и др., которые втягиваются в группу глаголов «приобщения объекта»

в своих вторичных значениях <sup>16</sup>. Ср.: «Это ведь твои ребята у завклубом *утащили* аккордеон» (В. Липатов, Деревенский детектив); «Да, я метеоролог. Но я лишь *собираю*, накапливаю данные о погоде» (С. Сартаков, Ледяной клад); «Три раза людей в атаку поднимали, хотели станцию *отбить*» (А. Чаковский, Блокада); «Засухин мотаегся по району, организуя магазины, *выбивая* для этих магазинов скудные товарные фонды» (А. Иванов, Вечный зов) и т. п.

С другой стороны, сами глаголы «приобщения объекта» во вторичных значениях могут выходить за рамки своей группы и тяготеть к другим группам в качестве вторичных форм выражения таких значений, как «схватить» (*тоска взяла, овладела, захватила*), «арестовать» (*его взяли, забрали, схватили*), «согласиться выполнить определенную работу» (*взять на себя, принять на себя*) и некот. др.

Аналогом этих явлений на грамматическом уровне можно считать переход слов из одной части речи в другую. Но если такие явления, как субстантивация или адъективация, представляют собой явления частного порядка, известные отклонения от основного закона противопоставленности грамматических классов, то в сфере лексико-семантической взаимопереход слов из одной группы в другую, одновременная принадлежность к нескольким из них являются нормальными. Особая форма «пересечения» семантических классов представлена глаголами, обозначающими «сложные» действия, которые даже в своих основных значениях могут быть отнесены одновременно к разным лексико-семантическим группам, ср. глаголы «приобщения — перемещения» (*забрать, прихватить, извлечь, вытащить*), глаголы «приобщения — лишения» (*отнять, украсть* и под.).

Несмотря на отмеченные различия, части речи и лексико-семантические группы представляют собой явления однотипные, органически связанные друг с другом. Лексическая система языка — это не просто совокупность лексико-семантических групп, но прежде всего система частей речи, внутри которых существуют и взаимодействуют друг с другом разнообразные лексико-семантические объединения, аналогичные классам грамматических слов.

<sup>16</sup> В текстах, составивших исходный объект наших наблюдений над глаголами «приобщения объекта», нами было зафиксировано около 300 глаголов, относящихся по своим основным значениям к другим группам, но способных выполнять функцию предикатов во фразах, содержащих в себе информацию о ситуации приобщения объекта.

О. Д. КУЗНЕЦОВА

СЛОВА С ПРОТЕТИЧЕСКИМ *Ј* В ГОВОРАХ  
РУССКОГО ЯЗЫКА

В самом начале XX в. в заметке из «Истории русского языка» А. И. Соболевский познакомил читателей с явлением, которое до этого специально еще не привлекало внимания исследователей. Он указал на присутствие в песнях Бобровского уезда Воронежской губернии и в некоторых севернорусских песнях слов с протетическим *ј*. А. И. Соболевский, видимо, не сомневался в наличии таких слов в диалектах, а незначительное количество их в других фольклорных и диалектных записях объяснял тем, что эти записи «сделаны менее внимательно»<sup>1</sup>. На эту заметку откликнулся Н. Н. Дурново, дополнив сообщение А. И. Соболевского своими материалами из южнорусских песен и из старин А. Д. Григорьева («Архангельские былины и исторические песни», собранные А. Д. Григорьевым в 1899—1901 гг., 1, 3, М., 1904—1910). Наблюдая слова с протетическим *ј* в известных ему говорах преимущественно в песнях и не имея в своем распоряжении других материалов, Н. Н. Дурново пришел к выводу о том, что *ј* не свойствен разговорной диалектной речи. Он появляется при пении из-за специфической потребности устранить зияние, ощущаемое в пении сильнее, чем в обычной речи<sup>2</sup>. Заметкой Н. Дурново начинается традиция изучения слов с протетическим *ј* как явления, характерного для народного песенного языка. С этого времени вопрос о месте указанного явления в системе отдельного диалекта и в истории русских диалектов в целом уже по существу не ставился.

Этому вопросу большую статью посвятил П. Г. Богатырев. Он рассмотрел известные ему случаи йотации начальных гласных в русских песнях и былинах и описал условия, при которых в них появляется *ј*<sup>3</sup>. Предложенное автором лингвистическое объяснение появления *ј* в пении (для устранения зияния), по замечаниям Р. Якобсона, не подходит для всех случаев йотации гласных, например, в начале песни, в начале стиха и в середине стиха после согласного<sup>4</sup>. Понимая это, П. Г. Богатырев ищет объяснения причин рассматриваемого явления в специфике музыкального произведения и считает необходимым исследовать условия, при которых *ј* появляется в пении.

Обращает на себя внимание тот факт, что автор, специалист по языку фольклора, предостерегает в своей статье от того, «чтобы исследовать одни только отличительные черты песен, не отмечая сходные черты в песне и в разговорном языке»<sup>5</sup>. Эта мысль П. Г. Богатырева о взаимозависимо-

<sup>1</sup> А. И. С о б о л е в с к и й, Из истории русского языка, ЖМНП, 1901, октябрь, ч. СССХХХVII.

<sup>2</sup> Н. Д у р н о в о, Мелкие заметки по русскому языку, ЖМНП, 1902, июнь, ч. СССХХХXI.

<sup>3</sup> П. Г. Б о г а т ы р е в, О языке славянских народных песен в его отношении к диалектной речи, ВЯ, 1962, 3.

<sup>4</sup> Р. О. Я к о б с о н, О соотношении между песенной и разговорной народной речью, ВЯ, 1962, 3.

<sup>5</sup> П. Г. Б о г а т ы р е в, указ. соч., стр. 85.

сти языка песен и разговорного языка диалекта представляется особенно важной и конструктивной. Действительно, не кроется ли причина появления йотации в особенностях тех диалектов, на которых поются эти песни? Ведь записи отдельных слов с протетическим *j* в говорах (в обычной речи, не в песнях) известны. Даже Н. Н. Дурново не отрицал наличия отдельных слов с протетическим *j* в современных ему говорах: «Я слышал только кое-где в южновеликорусском (Тул., Ряз., Тамб.) произношение: „в ялтарь“ и, кажется, несколько других единичных случаев в таком роде»<sup>6</sup>.

Существуют свидетельства собирателей и диалектологов конца XIX — начала XX в., слышавших протетический *j* в говорах. М. Г. Халанский, например, при описании курских говоров заметил, что он наблюдал в них два протетических согласных *j* и *в*. По его словам, у саянов «к гласным в начале слов приставляется *й* и *в*: *йотриня*, *ю нас*, *йобвушка*, *востру*, *ванá*», у егунов «*й* изредка облекает начальные гласные: *ялые тьяты*; постоянно *ён* вм. *он*»<sup>7</sup>. К. Филатов писал о том, что гласные в воронежских говорах «нередко принимают перед собой призвучный *j*»<sup>8</sup>. Л. И. Пирогова в описании говоров Холмогорского района Архангельской области заметила, что *j* в них появляется «иногда» в начале и середине слова: *из жетово*, *жетто*, *жетот*, *два йетажá*, *двухйетажный*, *с йизретка*, *йужбá*<sup>9</sup>. По сведениям В. В. Колесова, в пинежских говорах перед *у* является протетический *j* (*южин*, *ютро* и т. п.); в этом же говоре он отметил ряд слов с протетическим *в* (*востры*, *воспой*)<sup>10</sup>.

Слова с протетическим *j* можно найти преимущественно в старых диалектных и фольклорных записях<sup>11</sup>. Крайнюю малочисленность их в современных записях в известной степени можно отчасти объяснить тем установившимся методом описания диалектов, при котором по традиции собираются сведения о главных системных диалектных особенностях, отличающих южнорусские говоры от севернорусских (оканье, аканье, типы яканья и т. п.), а на особенности другого порядка, проявляющиеся в одном или нескольких словах, обычно не обращается внимания. В связи с этим старые диалектные записи, относящиеся ко времени, когда еще только накапливались знания о системах русских диалектов и потому собиратели старались записывать все без исключения замеченные ими диалектные факты, приобретают особую ценность; к тому же они отражают состояние диалектов, еще мало затронутых влиянием литературного языка.

Мы попытаемся показать здесь факты употребления в говорах протетического *j*. Надо сказать, что, кроме отдельных примеров, мы не привлекаем фактов из песен и былин. Такое ограничение объясняется, с одной стороны, тем, что фольклорный материал в достаточной степени был показан А. И. Соболевским и Н. Дурново, позднее И. К. Зайцевой<sup>12</sup> и

<sup>6</sup> Н. Дурново, указ. соч., стр. 257.

<sup>7</sup> М. Г. Халанский, Народные говоры Курской губ., Сб. ОРЯС, LXXVI, 5, 1904, стр. 40, 33.

<sup>8</sup> К. Филатов, Очерк народных говоров Воронежской губернии, РФВ, 1897, 1, 2, стр. 218.

<sup>9</sup> Л. И. Пирогова, Описание говора шести пунктов Холмогорского района Архангельской области, «Уч. зап. [МГПИ им. В. И. Ленина]», 9, 1959, стр. 189—190.

<sup>10</sup> В. В. Колесов, Функциональная система вокализма в традиционных севернорусских говорах, «Вопросы изучения севернорусских говоров и памятников письменности. Материалы к межвузовской научной конференции», Череповец, 1970, стр. 16—17.

<sup>11</sup> Использованы материалы картотеки Словаря русских народных говоров (Ленинград); сокращения названий районов, областей и т. п. сделаны в соответствии с теми, которые приняты в этом словаре.

<sup>12</sup> И. К. Зайцева, Некоторые фонетические особенности языка русской народной песни, «Филологический сборник», Воронеж, 1961.

П. Г. Богатыревым, а также желанием прежде всего обратить внимание на примеры бытования таких слов в обычной речи диалекта.

Наибольшее количество слов с протетическим *j* заключают в себе диалектные и фольклорные записи В. Н. Добровольского, сделанные им в Смоленской губернии<sup>13</sup>. Здесь отмечены были такие слова, как *явйн* «овин» (*Мужика корьмить, што явин насадить*, 1914), *яднй* «одна», *яднй* «одни» (*Сбалела мяя матка — стали яднй косци*, 1914), *ярлы* (мн. от *орел*), *ясинничек* (в песне): *Висако заря занималася, Выше ельничку — березничку, Вышей горького ясинничку* (1914); *j* в этих словах выступает перед *a* в первом предупредительном слоге. С *j* во втором предупредительном слоге перед *a* записаны слова *ябломить* «обломить», *яблетать* «облетать», *ягонёк* «огонек». В материалах В. Н. Добровольского находим три слова с *j* перед *y*: *юже* «уже», *юж* «уж»: *Ти пупахали вы свае? А юж* (1914); *юзяли* из *узяли* «взяли»: *Да татарушки юзяли яму рученьки звизали* (1914).

Несколько слов с протетическим *j* записано также в соседних со смоленскими и в некоторых других акающих говорах. На Западной Брянщине П. А. Расторгуев записал *ютрeня* «утреня» (*He, я теперь не хожу, и на ютрeне не была*, 1957). Из Брянского уезда Орловской губернии П. Н. Тиханов привел *юзник*, прочитанное им в «не очень давней надписи» в Служебнике 1699 г.: «Сию книгу переплѣтали темничных юзники»<sup>14</sup>. В Орловской губ. было записано *юдаль* «удаль, характер» (1860). В говорах Новосильского уезда Тульской губ., близких по типу к смоленским и брянским, отмечено *юшиб* «ушиб» и *ювсе* из *увсе* «все» (1900). В Курской губернии, по свидетельству собирателя Т. И. Вержбицкого, название дерева *осокорь* произошло с *j*: *ясбор* (1893). В д. Выворотково (Бесед. Курск.) в 50—60-х годах XX в. говорили *юхарь*. В донском словаре Миртова приводится *ючинить* «учинить». В ответе на программу МДК из с. Успенского (Касим. Ряз.) имеется *улица* или *юлица* (РФВ, LXXVIII, 1912, стр. 9). Е. Будде записал *юпобеник* (из *уполовник* «половник». Егор., Зарайск., Касим. Ряз., 1892). В акающих же говорах довольно широкое распространение получило слово *юхнуть* в разных значениях: в псковских и осташковских (Твер.) — «ударить» и «пропасть, исчезнуть» (1855), в рязанских — «ударить» (1898). *Юхнуть* в Обоин. Курск. имело значение «отставить, удалить» (*Его юхнули за взятки*. Машкин, 1858), в Малоарх. Орл. — «утонуть, сразу скрыться под воду» (1914). *Юхнул*, *юхнулся* в Новоторж. Твер. — «провалился в воду, в снег» (1915—1926).

Из севернорусских материалов, кроме слов с протетическим *j*, отмеченных в уже упомянутых былинах А. Д. Григорьева, в песнях, а также в значительно большем количестве в былинах Н. Е. Опчукова, можно привести ряд слов, употреблявшихся в повседневном разговоре. Среди них уже знакомое по южнорусским говорам слово *юхнуть*, которое записано в Покр. Влад. со значением «провалиться, упасть» (*Пошел по льду да под него и юхнул*, 1896), а в Кади. Волог. в значениях «выпить разом» (*Он так-таки вдруг и юхнул целой стакан вина*. Дилакторский, 1902) и «проехать очень быстро какое-либо расстояние» (Иваницкий, 1883—1889). Возможно, сюда же относятся приведенные Г. И. Куликовским в олонцком словаре *юкать* (Водлозеро, Кенозеро, Коштуги) «стучать, ударять», иногда в значении «упасть, лишиться чувств от какой-либо неожиданности» (*в сенях юкнуло; юкни-ко хорошенько*) и там же *ехнуть* (За-

<sup>13</sup> В. Н. Добровольский, Смоленский этнографический сборник, ч. I — «Зап. РГО по отд. этнографии», XX, СПб., 1891, ч. II — «Зап. РГО по отд. этнографии», XXIII, 1, СПб., 1894; ч. III — «Зап. РГО по отд. этнографии», XXIII, 2, 1894; ч. IV — «Зап. РГО по отд. этнографии», XXVII, 1903; е г о ж е, Смоленский областной словарь, Смоленск, 1914.

<sup>14</sup> П. Н. Тиханов, Брянский говор, Сб. ОРЯС XXVI, 4, 1904, стр. 95.

онежье) «содрогнуться от неожиданности» (1898). Слово *южи* от *ужи* «змея» зарегистрировано в Белозер. Новг. (1896), а *Юльга* от *Ольга* в д. Катунки (Балахн. Нижегород., 1870). В сборнике сказок Н. Е. Ончукова в сказке (запись А. А. Шахматова) встречаем *юж* «уж»: «Ну, тут юж ёны стали пер водить (пер перовать)» (Петрозав. Олон., стр. 211)<sup>15</sup>.

Нельзя не поставить в связь с другими словами с протетическим *j* русские диалектные и белорусские местоимения *ён, яна́, ёна...* Ареал их распространения, по нашим сведениям, в основном совпадает с ареалом распространения слов с протетическим *j*.

Наконец, в говорах имеется некоторое количество слов иноязычного происхождения, получивших *j* на русской почве. Некоторые из них имеют довольно широкое распространение — ср. *ялтарь* (др.-русс. *альтарь*), *ангел* (др.-русс. *анъгелъ*), *ярмяк* (из татар. *ärtäk*). Уже приводилось свидетельство Н. Н. Дурново относительно слова *ялтарь*, которое он слышал «кое-где» (не в песнях) в Тульской, Рязанской и Тамбовской губерниях. Оно подтверждено еще рядом источников в южнорусских говорах (Лебед. Тамб., Цветков; Задон. Ворон., 1914; Нижнедев. Ворон., 1893; Ворон., 1897) и в Симб. губ. (1859). В рязанских и псковских говорах слово сохранилось до наших дней. Приводится оно в «Псковском словаре» (*В женских наместыри женщины ходят в ялтарь*. Середк. Пск., 1954)<sup>16</sup> и в словаре деулинского говора (*Если девачка/родится/, то поп в ялтáрь ня вносит*)<sup>17</sup>. С меной *л* на *н* слово было известно в нижегородских говорах: *ялтáрь* (Семен. Нижегород., 1851; Нижегород. Нижегород., 1852; Княгин. Нижегород., 1905—1921). Слово *ангел* (др.-русс. *анъгелъ* из греч. *ἄγγελος*) записано было с *j* в смоленских и псковских говорах: *яндиль, янгиль* (Новоржев. Пск., 1904); *Як паслаў жа гасподь бог да двух янгиліў* (Смол., Добровольский, 1890-е годы). Как известно, в украинском языке имеется: *янгол, янголя* «ангелок», *янголятко* «ангелочек», *янгольский* «ангельский» («Укр.-русс. словарь», под ред. И. Н. Кириченко, VI, Киев, 1963). Записи слова *ярмяк* в диалектах многочисленны, особенно на севере: Пенк. Арх., Пудож. Олон., 1852; Примор. Арх., 1939 и Пенк. Арх., 1947 (Архивные матер. 1-го тома Диалектологического атласа, Ленинград); Петрозав., Занеж. Олон., Куликовский, 1885; Бабаев. Волог., Меркурьев, 1967; Кадуйск. Волог., 1956; Ржев. Твер., 1853; Пск., Осташ. Твер., 1855; Пск., 1963; Прибалт., 1963; Мещов. Калуж., 1916; Шацк. Ряз., 1966 и Сиб., 1916.

В ряде западных говоров слово *агрест* «крыжовник» (через польск. *agrest* из итал. *agresto*, Фасмер) отмечено в форме *ягрест, ягрус* и др., например, в русских говорах Прибалтики (1963), *ягрест* в Брянских говорах (Стародуб., 1912; Зап. Брян., 1957; Брян., 1969), *ягрус* в русском говоре с. Ветки в Белоруссии<sup>18</sup>. В белорусском и украинском литературном языке это слово употребляется без протезы, а в говорах оно имеет *j* (*ягрест. Гродн., Минск.*<sup>19</sup>; *ягрест, ягрист, ягравый, ягристивый.* Могил.<sup>20</sup>, *ягрест, ягрус* в словарях<sup>21</sup> И. К. Белькевича и Ф. М. Янковского<sup>21</sup>,

<sup>15</sup> Н. Е. Ончуков, Северные сказки, «Зап. РГО по отд. этнографии», XXXIII, СПб., 1908.

<sup>16</sup> «Псковский областной словарь с историческими данными», вып. 1, Л., 1967.

<sup>17</sup> «Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области)», под ред. И. А. Оссоветского, М., 1969.

<sup>18</sup> А. Ф. Манаенкова, Лексика русских говоров Белоруссии, Минск, 1973, стр. 55—56.

<sup>19</sup> Т. В. Сцяпковіч, Матарыялы да слоўніка Гродзенскай вобласці, Мінск, 1972; «Матарыялы для слоўніка народна-дыялектнай мовы», над рэд. Ф. Янкоўскага, Мінск, 1960, стр. 109.

<sup>20</sup> Г. Юрчанка, Дыялекты слоўнік, Мінск, 1966.

<sup>21</sup> И. К. Белькевич, Краёвы слоўнік усходняй Магілёўшчыны, Мінск, 1970; Ф. М. Янкоўскі, Дыялекты слоўнік, 1—3, Мінск, 1959—1970.

*ягрос* у Б. Гринченко<sup>22</sup>). Ареал распространения этих слов больше ареала распространения других слов с протетическим *j*, однако в основной своей части (юго-западные и севернорусские говоры) он совпадает с ним.

Слова с протетическим *j* имеются в украинском и белорусском языках. Как известно, в белорусском языке такой *j* развит перед ударным *и* (*іней*, *іхні*, *іскра*), а в некоторых диалектах — и перед неударным<sup>23</sup>, в местоимениях *ён*, *яна*, *яно*, *яны* и в некоторых других словах. Очевидно, в диалектах протетический *j* получил большее развитие, чем в литературном белорусском. Так, в говорах Славгородчины он встречается и перед *у*: *јуіёду*, *јувујун* (*уюн*), *јубју* «убью»<sup>24</sup>. А. А. Шахматов в «Исследованиях в области русской фонетики» привел белорусск. *ягонь*, *ягня* (Бобруйск.)<sup>25</sup>. В словаре И. И. Носовича имеется *ютро* в значениях «утро» и «завтра», *ютренняя* «утреня», *ютренняя*, уменьш., *юшійць*, *заюшійць* «бить по ушам, заушать» (*За што ты яго юшійць? За то юшу,— нехай не крадзець; Заюшмі разы тры мене ні за што*)<sup>26</sup>. В современном белорусском употребляется *ясакар* «осокорь», *ясакарнік* («Белорусско-русский словарь», под ред. К. Крапивы, М., 1962). В диалектах отмечены: *ясэнка* «женское пальто для весны и осени» (Минско-молод., Гродн.)<sup>27</sup>, *ялёнь* «колень», *ялёница*, *ялянючбк* (Гродн.)<sup>28</sup>. В украинских говорах находим *якурят* «как раз» (с. Квитки Корсунь-Шевч. р-на и с. Крачковка Будцкого р-на на Черкащине)<sup>29</sup>, *ярик* «арык» (Нижнее Поднестровье)<sup>30</sup>.

Приведенные факты с достаточной убедительностью свидетельствуют о том, что слова с *j* перед начальными *а*, *о*, *у* в истории русских диалектов представляют собой явление, в определенном отношении напоминающее диалектные слова с протезой *в* (*возеро*, *вутка*, *вумный*).

При изучении слов с протетическим *j* обращает на себя внимание следующее обстоятельство: смоленские говоры, в которых записано наибольшее количество слов с *j*, и говоры мещовские, где А. Косоговым записаны песни с так ярко проявившейся йотацией гласных, имеют специфические сходные черты. Мещовские говоры, например, по сведениям В. И. Чернышева, имели протетический *в* перед *о* и *у*. Протеза в этих говорах являлась и перед неударным *а* (*васá*, *Вадáма*). В то же время начальный *а* имел склонность к отпадению (*горбá* «огород», *гурéц* «огурец» и т. п.). Перед начальным *и* произносился *j* (*јіва*, *јістари*, *јідальи* и т. п.)<sup>31</sup>. Таким образом, мещовские говоры имели тенденцию к прикрытию начальных гласных и не допускали произношения подряд двух гласных. Смоленские говоры, в которых, по материалам В. И. Добровольского, употреблялись слова с протетическим *j*, отличались такими же характерными особенностями, что и калужские. На фоне произношения большинства слов с протетическим *в*, изменением начального *а* (из *о*) в *и*, отпадением начальных

<sup>22</sup> «Словарь української мови», под ред. Б. Д. Гринченко, IV, Київ, 1969.

<sup>23</sup> І. Я. Яшкіна, Фанетичны асаблівасці гаворак Слаўгарадчыны, «Беларускі лінгвістычны зборнік», Мінск, 1966, стр. 90—91.

<sup>24</sup> Там же, стр. 91.

<sup>25</sup> А. А. Шахматов, Исследования в области русской фонетики, Варшава, 1893, стр. 285.

<sup>26</sup> И. И. Носович, Словарь белорусского наречия, СПб., 1870.

<sup>27</sup> «Матэрыялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак», пад рэд. М. А. Жыдовіч, Мінск, 1970; Т. Ф. Сцяшкowiч, указ. соч.; П. Сцяцко, Дыялекты слоўнік, Мінск, 1970.

<sup>28</sup> Т. Ф. Сцяшкowiч, указ. соч.

<sup>29</sup> П. С. Лисенко, Словник специфічної лексики правобережної Черкащини, «Лексикографічний бюлетень», VI, Київ, 1958, стр. 21.

<sup>30</sup> Й. О. Дзвездзельскій, Словник специфічної лексики говірок Нижнього Подністров'я, там же, стр. 54.

<sup>31</sup> «Матеріалы для изучения говора и быта Мещовского уезда», сообщил В. Чернышев, Сб. ОРЯС. LXX, 7, 1901, стр. 153.

гласных встречаются отдельные слова (главным образом, с ударением не на первом слоге), где начальный *a* (на месте *a* и *o*) прикрыт йотом.

На севере, в тех местах, где записаны былины с йотацией гласных, говоры сохраняют архаические черты. По свидетельству Г. Я. Симиной, говоры на Пинеге, например, отличаются слабой редукцией безударных гласных, наличием второго полногласия (*верёх, молонья* и др.)<sup>32</sup>. В архивных материалах первого тома Диалектологического Атласа (Ленинград) приставки и предлоги *с, к, в* встречаем с гласной: *Состянул-то да сломил со правой руценьки Золото да колецько* (с. Пушлахта Онеж. Арх., 1940), *Сошила вот из кожи просто. Хто во чём сумиёт. Где она соходит?* (д. Оксово Плесец. Арх., 1948) и т. п. Эти специфические особенности диалектов объясняются наличием в русском языке общей тенденции возражающей звучности слога<sup>33</sup>. В некоторых говорах указанная тенденция проявляется более отчетливо и дает о себе знать различными явлениями: отпадением начальных гласных, прикрытием их протезами и др. Очевидно, в песнях действие указанной тенденции более ощутимо<sup>34</sup>, и потому там видим более частое прикрытие начальных гласных протезой *j* — явление, которое в некоторых местах обратилось в своеобразную песенную манеру.

По многим признакам слова с протетическим *j* представляют собой явление позднего происхождения. Примеры, известные из памятников, — все не раньше XV в. Н. Н. Дурново, например, привел *Анаданъ*, соответствующее *Анадан*, и *во Аливскую* (Аливскую) *землю* из повести об Акире XV в.<sup>35</sup> А. А. Шахматов в грамоте до 1491 г. (АЮр. № 7) местоимение *си* предлагал читать как *ён*. Он писал, что в позднейших памятниках можно найти *йон* (в Ряз. гр. 1677, Пискунов, стр. 112)<sup>36</sup>. М. Карпинский в «Западно-русской четье 1489 г.» отметил *юже, вжице* «веревка, гуя» (*и оуидѣли его старци повивша южем власнымъ*)<sup>37</sup>. Наличие *j* перед *a* (из *o*) и перед *o* говорит о том, что *j* мог появиться только после возникновения таких явлений, как аканье и переход *e* в *o*. О позднем происхождении протезы свидетельствуют и другие факты: наличие *j* в поздних заимствованиях, таких как *ялый* (по Фасмеру с XIV в.), *ярмяк* (по Фасмеру с конца XVI в.); *j* в словах, претерпевших трансформацию на русской диалектной почве, например, в слове *ёже*, являющемся северной диалектной разновидностью литературного *уже* (пример из сборника печорских былин Н. Е. Ончукова) или в смоленском *юзяли* из *узали* «взяли»; *j* в словах *юдова, юдовушка, ювсе*, где *y* на месте *e* и *u*.

<sup>32</sup> Г. Я. С и м и н а, Пинежье. Очерки по морфологии пинежского говора, Л., 1970, стр. 13.

<sup>33</sup> На наличие такой тенденции указывают экспериментальные исследования ленинградских фонологов. См.: Л. В. Б о н д а р к о, Структура слога и характеристика фонем, ВЯ, 1967, 1; Л. В. Б о н д а р к о, Л. П. П а в л о в а, О фонетических критериях при определении места слоговой границы, «Русский язык за рубежом», 1967, 4.

<sup>34</sup> Любопытно в этом отношении мнение музыканта Л. Сабанеева. Говоря об отличиях музыки от речи, он пишет: «В самом „звучном“ звуке живой речи нет той ясности, той напряженности звучания, как в самом тихом „рр“ музыкального „летнего“ звука. Самый тембр речевого звучного звука отличается от звука той же высоты и силы, по петого, он жиже, неопределеннее по тембру, он, если так можно выразиться, обычно несколько „небрежнее“ по своему облику» (Л. С а б а н е е в, Музыка речи. Эстетическое исследование, М., 1923, стр. 62).

<sup>35</sup> Н. Н. Д у р н о в о, указ. соч., стр. 257.

<sup>36</sup> А. А. Ш а х м а т о в, указ. соч., стр. 56.

<sup>37</sup> М. К а р п и н с к и й, Загадно-русская четья 1489 г., РФВ, XXI, 1889, Варшава, стр. 84.

А. Т. КРИВОНОСОВ

СИСТЕМА «ВЗАИМОПРОНИЦАЕМОСТИ»  
НЕИЗМЕНЯЕМЫХ КЛАССОВ СЛОВ

(На материале немецкого языка)

1. Известно, что одно и то же материальное слово может относиться к различным классам слов («частям речи»). Например, слово *denn* в предложениях *Er kam nicht, denn er war krank* — сочинительный союз, *Was machst du denn da?* — модальная частица, *Und so sagte sie denn* (= dann) — обстоятельственное наречие. Обычно считают, что здесь мы имеем дело или с тремя частями речи, и, следовательно, тремя омонимами, или с одной частью речи, которая «переходит» в другие части речи, т. е. с «конверсией» частей речи. Части речи, образованные по конверсии, по мнению одних исследователей, — это область словаря. Слова, по мнению этих ученых, выступают как определенные части речи не в силу их грамматических свойств, а их грамматические свойства являются следствием их принадлежности к определенным частям речи. Если бы слова распознавались как определенные части речи только в предложении, то сама конверсия, по мнению В. В. Белого, «была бы фикцией»<sup>1</sup>. Другие ученые относят конверсию к безаффиксальному словообразованию, которое существует в современном языкознании под различными терминами («конверсия» у А. И. Смирницкого, «взаимопереход частей речи» у А. Е. Супруна и В. Хенцена, «несобственная деривация» у Н. Д. Арутюновой, «невывраженная производность» у Е. С. Кубряковой, «обратное словопроизводство» у А. В. Мячиной, «морфолого-синтаксический тип словообразования» у В. Н. Ярцевой, «синтактико-морфологический тип словообразования» у В. В. Виноградова и др.)<sup>2</sup>.

В противоположность указанным точкам зрения, применительно к неизменяемым словам мы отрицаем идею существования на уровне словаря всех готовых частей речи как омонимов, а также понятие конверсии как способа словообразования, как «взаимопереход» различных частей речи, т. е. идею о том, что в данном случае мы имеем дело только со с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы м уровнем. То, что позволяет «переходить» одной неизменяемой части речи в другую, — это изменение грамматической

<sup>1</sup> См.: В. В. Белый, К вопросу о конверсии, «Уч. зап. Мордовск. ун-та», 20, Саранск, 1962, стр. 95—96.

<sup>2</sup> См.: А. И. Смирницкий, Так называемая конверсия и чередование звуков в английском языке, «Ин. яз. в шк.», 1953, 5, стр. 21—32; е г о ж е, По поводу конверсии в английском языке, «Ин. яз. в шк.», 1954, 3, стр. 12—24; А. Е. Супрун, Заметки о частях речи, сб. «Вопросы лексики и грамматики русского языка», II, Фрунзе, 1964, стр. 47; Н. Д. Арутюнова, Обратное словообразование и вопросы несобственной деривации, ВЯ, 1960, 2, стр. 68—79; Е. С. Кубрякова, Что такое словообразование?, М., 1965, стр. 60; А. В. Мячина, К вопросу об обратном словообразовании слов в английском языке, «Вестник ЛГУ». Серия истории, языка и литературы, 1960, стр. 4, 20; В. Н. Ярцева, К вопросу об историческом развитии системы языка, сб. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», М., 1952, стр. 80; В. В. Виноградов, Словообразование и его отношение к грамматике и лексикологии (На материале русского и родственных языков), сб. «Вопросы теории и истории языка», М., 1952, стр. 139.

(конкретнее — синтаксической) формы и синтаксической функции искомого слова, т. е. изменение его синтаксической дистрибуции. Как справедливо считает М. Д. Степанова, переходят друг в друга не различные части речи, а основа или словоформа, выступающая в условиях различной дополнительной грамматической дистрибуции, характеризующей разные части речи<sup>3</sup>. Говоря о конверсии как о «взаимопереходе» частей речи, мы сталкиваемся с теоретическими трудностями: во-первых, неизвестно, какая часть речи выступает ведущей, исходной, которая затем «переходит» в другие части речи; во-вторых, «взаимопереход» частей речи оторван от реальности, ибо одна часть речи «переходит» в другую не в изолированном виде, а в предложении. Если допустить возможность «перехода» одной части речи в другую, то мы должны допустить возможность «перехода» этого слова вместе с конкретным предложением, в котором оно используется, в другое конкретное предложение, что является абсурдным. Одна и та же часть речи не может быть в то же время другой частью речи<sup>4</sup>. Если предположить, что одна часть речи «переходит» в другую, то в конечном счете надо допустить или а) существование словаря языка и структуры языка как двух независимых сущностей, или б) существование а priori заданных частей речи, которые, будучи первичными, «переходят» друг в друга и в силу этого определяют строй языка, зависящий от системы частей речи. Тем самым языковая действительность оказывается перевернутой с «ног на голову».

И тем не менее мы видим на фактах языка, что в одном и том же материальном слове (*denn*) могут сосуществовать три части речи, которые, как мы уже говорили, не «переходят» друг в друга. Что же в одном и том же материальном слове принадлежит разным частям речи?

Термин «слово» отражает неоднородные понятия. Чтобы разграничить в слове уровень номинации и уровень грамматики, необходимо для их обозначения избрать различные термины. В первом случае мы будем говорить о л е к с е м е как единице словаря, во втором случае — о грамматическом слове или просто о с л о в е как единице грамматического строя языка<sup>5</sup>.

Возникает вопрос: зависит ли от разграничения лексемы (единицы словаря) и слова (единицы грамматики) опознание в *denn* трех различных частей речи? Ответ на этот вопрос зависит в свою очередь от вопроса: являются ли понятия «лексикон», «словарь», «вокабуляр», с одной стороны, и понятие «грамматический строй», с другой стороны, двумя сторонами языка (положительный ответ на этот вопрос означает, что «уровень номинации» в слове является релевантным грамматическим признаком этого же слова) или разными сущностями, из которых только грамматический строй — область языка, а словарь, вокабуляр, лексикон, «уровень номинации» не входят в понятие «язык»?

Язык детерминирован внешним миром. Однако не весь язык детерминирован внешним миром, а только семантическая сторона слов, являю-

<sup>3</sup> См.: М. Д. Степанова, Методы синхронного анализа лексики, М., 1968, стр. 172—175; е е ж е, Вопросы лексико-грамматического тождества (На материале современного немецкого языка), ВЯ, 1967, 2, стр. 94—95.

<sup>4</sup> Как пишет Б. А. Ильин, слово не может принадлежать к разным частям речи или переходить из одной части речи в другую, оставаясь самим собой (Б. А. Ильин, О частях речи в английском языке, «Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов. Тезисы докладов», Л., 1965, стр. 37). По мнению О. Есперсена, нельзя употреблять одну часть речи в качестве другой, ибо в каждом отдельном случае употребления слова оно относится к одному определенному разряду и ни к какому другому (О. Есперсен, Философия грамматики, М., 1958, стр. 67).

<sup>5</sup> В современной лингвистике эти два различных уровня языка — словарь и грамматика — четко различаются, однако единицам ни того, ни другого уровня не присвоено однозначного термина.

щаяся отражением логических понятий о предметах реального мира. Слова языка можно классифицировать по логическому основанию на слова, отражающие понятия «предметов», «действий», «качества», «количества», «отношений» и т. д. Классифицируя слова подобным образом, мы классифицируем не слова языка, а логические категории — логические понятия, не зависящие от структуры естественного языка, являющиеся внешними по отношению к грамматическому строю языка. Однако будет ли логическая классификация слов как классификация понятий действительно внешней по отношению к языку, независимой от каждого конкретного языка? Нет, не будет. Например, логическое понятие качества может быть и существительным (*das Rot, die Röte*), и глаголом (*röten, sich röten*), и прилагательным (*rot*), в зависимости от морфологической оформленности данного слова. Более постоянным и однозначным признаком, характеризующим существительное, глагол и прилагательное в немецком языке, как и в русском, необходимо считать морфологическую структуру слова, наличие морфологических категорий. Понятия «предмета» (*das Rot, die Röte*), «процесса» (*röten, sich röten*), «качества» (*rot*) суть в т о р и ч н ы е по отношению к морфологическим категориям, так как абстрагируются от формальных показателей слов, которые (формальные показатели) еще раньше «сформировали» существительное, а существительное в свою очередь «сформировало» понятие «предмета» или «предметности»<sup>6</sup>. Слов «бесформенных», свободных от какой бы то ни было формы, в языке не существует. Любая классификация словаря, в том числе и логическая, не будет внешней по отношению к структуре языка, так как понятия предметов, процессов, качества, количества, принадлежности, отношений, эмоций и т. д. фиксируются в национальных, конкретных языках, слова которых отражают в своих признаках грамматическую структуру «своего» языка. Логические категории — понятия не витают в «безвоздушном пространстве», а облечены в языковую форму.

На уровне словаря мы имеем дело с лексемами, т. е. такими единицами, которые не смешиваются друг с другом по графической и звуковой форме. Эти лексемы, с одной стороны, суть отражения каких-то обобщенных понятий реальной действительности и служат посредником (промежуточным звеном) между языком и опытом. С другой стороны, лексемы не существуют иначе, как в определенном грамматическом оформлении, в определенном грамматическом строе, который снабжает их своими грамматическими формами, в которых они и существуют как единицы лексикона. Одни лексемы, выражая явления реальной действительности, маркированы уже в словаре определенными грамматическими пометами как слова определенной «части речи» — все лексемы, например, немецкого языка, наделенные артиклем, имеют морфологические категории рода, числа, падежа и, следовательно, выступают в языке как существительные, независимо от их семантических, синтаксических и иных признаков. Другие лексемы обозначены в словаре суффиксом *-en* (эти лексемы имеют грамматические категории лица, числа, наклонения, залога, времени) и опознаются как глаголы также вне синтаксического употребления. Третья группа лексем не имеет в вокабуляре никаких морфологических показателей, но может быть легко опознана как личные местоимения благодаря наличию у них особых морфологических категорий. Остается еще одна группа лексем (неизменяемые лексемы), которая в словаре морфологически совершенно не дифференцирована как слова определенной части речи.

<sup>6</sup> Л. В. Щерба справедливо пишет, что слова *белый, белизна, бело, белеть* очень хорошо выделяют категории прилагательного, существительного, наречия и глагола (Л. В. Щ е р б а. О частях речи в русском языке, в его кн.: «Избр. работы по русскому языку», М., 1957, стр. 66).

Однако эти слова тоже обладают грамматической формой, только не морфологической, а синтаксической. Их способность сочетаться со словами определенных разрядов, функция, позиция, реакция на различного рода преобразования предложений и др. — это и есть их грамматическая форма<sup>7</sup>. Невозможность существования в языке слов, свободных от грамматических признаков, основана на понимании предложения как первичного и слова как вторичного, производного от предложения. Не слова «делают» предложение, а предложение состоит из слов. Язык — это слова с их грамматическими маркерами, независимо от того, где эти слова собраны — в словаре или в связном тексте<sup>8</sup>.

Отсюда можно заключить, что словарь языка, так же как и грамматический строй языка, принадлежит двум составным сферам, уровням языка: ни одна лексема не «живет» в языке иначе, как в определенной грамматической форме, грамматические же формы не существуют иначе, как в определенных лексемах. Различая лексему и слово, мы говорим фактически об одной и той же единице языка, но рассматриваемой с разных сторон. Любой естественный язык может быть представлен в виде словаря и в виде грамматики как двух условно выделяемых аспектов или уровней языка, причем словарь — это рассмотрение языка «от лексики к грамматике», а грамматика — рассмотрение языка «от грамматики к лексике»<sup>9</sup>. Лексема как единица словаря и слово как единица грамматики — это облать я з ы к а (точнее: «частица» семантической и грамматической структуры языка). Следовательно, «уровень номинации» в слове является релевантным его грамматическим признаком<sup>10</sup>.

Выше мы установили, что в основе различия трех частей речи в *denn* не лежит а) ни конверсия как сосуществование различных омонимичных частей речи, б) ни конверсия как способ безаффиксального словообразования. Теперь мы пришли к выводу, что в основе различия трех частей речи в *denn* в) не лежит также различие «лексемы» и «слова» в указанном выше (недифференцированном) смысле как единицы словаря и единицы грамматики. Можно утверждать, что в основе различия трех частей речи в *denn* лежит разграничение «лексемы» как звуковой (материальной) формы, субстанции, т. е. лишь материального облика лексемы, и «слова» как с е м а н т и к о - г р а м м а т и ч е с к о й единицы языка. Лексемы (в том числе и лексема *denn*) ничего не значат сами по себе,

<sup>7</sup> Как правильно отмечает В. В. Виноградов, в понятие грамматических форм слова включаются не только разновидности его морфологической структуры, но и различные сочетания его с другими формами слов или словами (см.: В. В. В и н о г р а д о в, О формах слова, ИАН ОЛЯ, 1944, 1, стр. 42).

<sup>8</sup> Ср.: «... великим заблуждением является взгляд на языковой элемент просто как на соединение некоего звука с неким понятием. Определить его так, значило бы изолировать его от системы, в состав которой он входит; это повело бы к ложной мысли, будто возможно начинать с языковых элементов и из их суммы строить систему, тогда как на самом деле надо, отправляясь от совокупного целого, путем анализа доходить до заключенных в нем элементов» (Ф. де С о с с у р, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 113). Ср. также: «... каждый элемент языка не может быть определен из самого себя..., а требует для своего объяснения знания целой системы противоположенных ему элементов» (В. Н. Т о п о р о в, О структурном изучении языка, «Р. яз. в нац. шк.», 1961, 1).

<sup>9</sup> Можно, разумеется, создать словарь лишь в виде реестра материально различных лексем, т. е. словарь, единицы которого были бы лишены грамматических признаков. Однако такой словарь имел бы меньшую ценность по сравнению со словарем, в котором все слова были бы снабжены всеми свойственными им грамматическими маркерами.

<sup>10</sup> Ср.: «Сознание тождества слова покоится на понимании его семантического единства и многообразия его мыслимых видоизменений. А эти видоизменения выражаются не только в морфологическом облике слова, но и в различиях его с и н т а к с и ч е с к и х связей и функций» (разрядка наша. — А. К.) (В. В. В и н о г р а д о в, указ. соч., стр. 42).

кроме того, что они «сделаны» из определенного «материала». Лексема представляет собой потенциальную структуру элементарных единиц, сложное образование, состоящее из множества слов<sup>11</sup>.

Применительно к неизменяемым словам за единицу анализа берется, следовательно, не лексема как материальный, фонетический комплекс, а ее актуализация в предложении, т. е. только один из наборов признаков (одно из значений) одной и той же материальной лексемы (все наборы признаков, а также все значения одной и той же лексемы находятся по отношению друг к другу в дополнительной дистрибуции). Одна и та же материальная лексема (*denn*) оказалась «разорванной» на три класса. Следовательно, граница класса проходит не только между материально различными лексемами (эти примеры очевидны), но и внутри одной и той же лексемы.

II. Наше исследование показало, что в немецком языке существует 20 неизменяемых классов слов. На примере только одного из них — логических частиц — здесь будет показана способность одних и тех же лексем выступать как слова различных классов.

В немецком языке обнаружено 39 логических частиц. Логические частицы — закрытый класс слов<sup>12</sup>. Из 39 лексем, способных выступать в немецком языке как логические частицы, 11 лексем — однофункциональны, т. е. функционируют в немецком языке только как логические частицы, 28 лексем — многофункциональны, т. е. способны выступать не только как логические частицы, но и как слова других классов, в том числе 9 — двухфункциональны, 8 — трехфункциональны, 8 — четырехфункциональны, 2 — пятифункциональны, 1 — шестифункциональна (см. табл. 1).

К однофункциональным лексемам, выступающим только в функции логических частиц (L)<sup>13</sup>, относятся 11 лексем: «*Ausgerechnet ich muss dieses Pech haben*» (Klapp.); «*Er ist bereits gestern abgefahren*» (Klapp.)<sup>14</sup>.

К двухфункциональным лексемам (9 лексем) относятся лексемы, выступающие как: а) логические частицы (L) (*lauter, nämlich*): «*Sie verbreiteten lauter Lügen*» (Klapp.); «*Wir sind zu spät gekommen, wir*

<sup>11</sup> Ср.: «...слова-понятия, выражаемые одним фонетическим комплексом, в большинстве случаев (кроме так называемых омонимов) образуют более или менее сложные системы, что и выражается обычно в словарях тем, что они помещаются под одним заглавным словом, но под разными цифрами, буквами и т. п.» (Л. В. Щербач, Очердные проблемы языковедения, ИАН ОЛЯ, 1945, 5, стр. 107).

<sup>12</sup> Мы условно считаем закрытым классом тот, который насчитывает от нескольких до 200 слов. Класс, насчитывающий более 1000 слов, можно считать открытым. Классов, которые насчитывали бы от 200 до 1000 слов, в немецком языке не обнаружено.

<sup>13</sup> В статье приняты следующие символы: M — модальные слова, W — предложно-вопросительные слова (*worauf, worin, woran*), L — логические частицы (*nur, sogar, auch*), F — модальные частицы (*denn, doch, mal, bloss*), P — предлоги, K — сочинительные союзы, C — интенсификаторы (*sehr, fast, zu*), Z — числительные (*zwei, drei, I unf.* — неизменяемые местоимения (*einander nichts, man, etwas, füreinander*), S — отделимые глагольные префиксы (*vor, ab, zu*), U — подчинительные союзы, G — логические слова (*deshalb, deswegen, darum, trotzdem*), R — утвердительно-отрицательные слова (*ja, nein, jawohl*), H — побудительные слова (*nieder, zurück, los*), D — предложно-указательные слова (*darauf, daran, darin*), Q — качественные наречия, B — обстоятельственные наречия, E — междометия, O — вводные слова (*na, nu, nun, so*), O — предикативные слова (*bereit, schade, imstande*), V — глаголы, N — существительные, I per. — личные местоимения, A — прилагательные (*gutes Wetter, unsere Wohnung, dritte Stunde, hölzerne Treppe*).

<sup>14</sup> Примеры заимствованы из следующих словарей: «Большой немецко-русский словарь», сост. под руководством проф. О. И. Москальской, I—II, М., 1969 (далее — Mosk.); «Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache», hrsg. von R. Klappenbach und W. Steinitz, 1—3, Berlin, 1965—1972 (далее — Klapp.); «Der Grosse Duden. Das Stilwörterbuch der deutschen Sprache», 4 Aufl., II, Mannheim, 1956 (далее — Duden).

Таблица 1

Соотношение логических частиц со словами других классов

Кол-во классов слов	Классы слов	Слова данного класса	Кол-во слов	
1	L	<i>selber, just, ausgerechnet, lediglich, sogar, nochmals, bereits, ebenfalls, gleichfalls, nicht, einmal, ebenso</i>	11	11
2	L, A	<i>lauter, nämlich</i>	2	9
	L, C	<i>insbesondere</i>	1	
	L, G	<i>zwar</i>	1	
	L, F	<i>nicht, auch, noch, schon, nur</i>	5	
3	L, A, Q	<i>einzig, gewöhnlich, hauptsächlich</i>	3	8
	L, Q, I unf.	<i>selbst</i>	1	
	L, A, P	<i>ausschliesslich</i>	1	
	L, B, M	<i>jedenfalls</i>	1	
	L, A, F	<i>bloss</i>	1	
	L, C, M	<i>wenigstens</i>	1	
4	L, C, O, Q	<i>besonders, geradezu, gar</i>	3	8
	L, F, R, Ö	<i>ja</i>	1	
	L, B, A, F	<i>eben, erst</i>	2	
	L, Q, A, F	<i>einfach, gerade</i>	2	
5	L, Q, K, S, G	<i>allein</i>	1	2
	L, Q, R, A, C	<i>genau</i>	1	
6	L, K, F, G, B, Ö	<i>aber</i>	1	1
			Всего	39

hatten uns *nämlich* in der Zeit geirrt» (Duden) и прилагательные (A): «Ich spreche die *lautere* Wahrheit» (Klapp.); «Sie zog wieder das *nämliche* Kleid an» (Duden); б) логические частицы (L) (*insbesondere*): «Er interessiert sich für Wissenschaften, *insbesondere* für Mathematik» (Mosk.) и интенсификаторы (C): «Die Nacht war *insbesondere* dunkel»; в) логическая частица (L) (*zwar*): «Wasch dir gefälligst die Hände, und *zwar* gründlich» (Mosk.) и логическое слово (G): «*Zwar* weiss ich viel, doch möcht' ich alles wissen» (J. W. Goethe); г) логические частицы (L) (*nicht, auch, noch, schon, nur*): «*Auch* der Geduldigste kann das nicht aushalten» (Mosk.), «*Schon* mein Vater hat mir darüber erzählt, Er kommt *nur* morgen» и модальные частицы (F): «Besten Dank *auch*, Herr Kluge!» (H. Fallada), «Wer denkt *schon* an seine Zehenspitzen, wenn das ganze Dasein in Flammen steht?» (E. M. Remarque), «Schweigen Sie *nur* nicht!».

К трехфункциональным лексемам (8<sup>7</sup> лексем) относятся лексемы, выступающие как: а) логические частицы (L) (*einzig, gewöhnlich, hauptsächlich*): «*Gewöhnlich* er kommt als erster, Dieses Theaterspielt *hauptsächlich* klassische Stücke» (Klapp.), прилагательные (A): «zur *gewöhnlicher* Zeit erwachen» (Klapp.), «der *hauptsächliche* Vertreter dieser Richtung» (Klapp.) и качественные наречия (Q): «Er benahm sich *gewöhnlich*» (Klapp.); б) логическая частица (L) (*selbst*): «*Selbst* er hat sich geirrt» (Mosk.), качественное наречие (Q): «Er versteht es *selbst*» и неизменяемое местоимение (I unf.): «Erkenne dich *selbst*!» (Duden); в) логическая частица (L) (*ausschliesslich*): «Das betrifft *ausschliesslich* die Schulabgänger» (Klapp.), прилагательное (A): «ein *ausschliessliches* Recht auf etw. haben» (Klapp.) и предлог (P): «Der Preis versteht sich *ausschliesslich* Verpackung» (Klapp.); г) логическая

частица (L) (*jedenfalls*): «Wir müssen etwas für die Familie tun, *jedenfalls* für die Kinder» (Klapp.), обстоятельственное наречие (B): «Wir müssen *jedenfalls* am 20. mit der Arbeit fertig sein» (Klapp.) и модальное слово (M): «Frau Finze hat fünf Söhne. *Jedenfalls* ist Herr Weiler dieser Meinung» (Klapp.); д) логическая частица (L) (*bloss*): «*Bloss* du bist schuld» (Klapp.), модальная частица (F): «Lass das *bloss!*» (Klapp.) и прилагательное (A): «Er schlief auf der *blossen* Erde» (Klapp.).

К четырем функциональным лексемам (8 лексем) относятся лексемы, выступающие как: а) логические частицы (L) (*besonders*, *gerade zu*, *gar*): «*Besonders* du war ungezogen» (Klapp.), предикативные слова (O): «Die Aufführung war nicht *besonders*» (Mosk.), качественные наречия (Q): «Dieses Thema werden wir zunächst zurückstellen und später *besonders* behandeln» (Klapp.); интенсификаторы (C): «Sie arbeitet *besonders* gut» (Klapp.); б) логическая частица (L) (*ja*): «Der Junge benahm sich ungebührig, *ja* frech» (Klapp.), модальная частица (F): «Das ist *ja* eine Frechheit» (Klapp.), утвердительно-отрицательное слово (R): «Gehst du mit?» «*Ja*» и вводящее слово (Ö): «*Ja*, was wollte ich dir *bloss* sagen?»; в) логические частицы (L) (*eben*, *erst*): «*Eben* das wollte ich sagen» (Klapp.), модальные частицы (F): «Komm *eben* mal her» (Klapp.), прилагательное (A): «eine *ebene* Landstrasse» (Klapp.) и обстоятельственное наречие (B): «*Eben* hat es fünf Uhr geschlagen» (Klapp.); г) логические частицы (L) (*einfach*, *gerade*): «*Gerade* er wird gesucht» (Klapp.), прилагательные (A): «Der *gerade* Weg ist der beste» (Klapp.), качественные наречия (Q): «*gerade* gewachsen sein» (Klapp.) и модальные частицы (F): «Das ist es *gerade!*» (Klapp.).

К пяти функциональным лексемам (2 лексемы) относятся лексемы, выступающие как: а) логическая частица (L) (*allein*): «*Allein* er kann noch helfen» (Klapp.), качественное наречие (Q): «Sie lebt *allein*» (Klapp.), сочинительный союз (K): «Die Botschaft hör' ich wohl, *allein* mir fehlt der Glaube» (J. W. Goethe) (выражает противопоставление), логическое слово (G): «Er versuchte alles, *allein* sie war nicht umzustimmen» (Klapp.) (выражает логическое следствие) и отделяемый глагольный префикс (S) в слове *alleinstehen*; б) логическая частица (L) (*genau*): «*Genau* er soll das tun» (Klapp.), утвердительно-отрицательное слово (R): «Hast du die heutige Zeitung gelesen?» «*Genau*» (Klapp.), качественное наречие (Q): «Die Uhr geht *genau*» (Duden), прилагательное (A): «die *genaue* Zeit» (Klapp.) и интенсификатор (C): «*genau* so viel wie...» (Mosk.), «Der Brief wiegt *genau* 10 Gramm» (Duden).

К шести функциональным лексемам относится лексема *aber*, выступающая как: а) логическая частица (L): «Hunderte und *aber* Hunderte» (Klapp.), сочинительный союз (K): «Er kommt, *aber* sein Vater ist verhindert» (Klapp.), модальная частица (F): «Das ist *aber* fein!» (Klapp.), «Du kommst *aber* spät» (Mosk.), логическое слово (G): «Er ist zwar alt, *aber* noch rüstig» (Klapp.), обстоятельственное наречие (B): «*Aber* und *aber* muss ich dir wiederholen, dass...» и вводящее слово (Ö): «*Aber*, *aber*, was soll es eben bedeuten?».

Прежде чем классифицировать неизменяемые слова немецкого языка, необходимо было проделать значительный предварительный анализ. Предварительно были изучены объективные свойства неизменяемых слов различных группировок с целью выявления их структурно-функциональных признаков (индуктивный путь выявления признаков). Затем, более или менее исчерпывающе, в соответствии с целями анализа были постулированы все выявленные признаки изменяемых и неизменяемых слов (194 признака), обобщены в 24 пробах на четырех уровнях языка — морфологическом, синтаксическом, просодическом и логико-грамматическом (де-

дуктивный путь постулирования признаков). Был избран индуктивно-дедуктивный метод построения системы неизменяемых классов слов, полностью опирающийся на грамматическую структуру самого языка<sup>15</sup>.

Постулированные с целью классификации неизменяемых классов слов 194 признака — не просто перечень изолированных и независимых друг от друга признаков, но система взаимообусловленных и взаимосвязанных признаков, которая не может не породить другую систему — систему неизменяемых классов слов. Анализирующая система как выражение грамматического строя немецкого языка есть, пользуясь термином В. Г. Адмони, «система построения»<sup>16</sup> другой системы.

Постулированная иерархическая система признаков («система построения») и порожденная ею другая система — система неизменяемых классов слов или, пользуясь термином В. Г. Адмони, «система отношений» как выражение грамматического строя языка находятся в определенных соотношениях. Те компоненты, которые вовлекаются в систему признаков (систему построения), одновременно являются и компонентами системы неизменяемых классов слов (системы отношений).

Однако в тесной связи с построенной двухъярусной системой неизменяемых классов слов, представленной как система построения и система отношений, обнаруживается еще одна система, заключающаяся в переходе материально одних и тех же лексем из класса в класс. Для анализа было использовано 1448 лексем (количество, которое оказалось достаточным для того, чтобы исчерпать все закрытые классы слов и наметить все открытые классы слов). Из них однофункциональных лексем, т. е. лексем, принадлежащих только одному классу, оказалось 892 (62%) (непересекающиеся секторы классов). Остальные 556 (38%) лексем — многофункциональны (пересекающиеся секторы классов), из них 410 лексем — двухфункциональны (они образовали  $410 \times 2 = 820$  слов), 103 лексем — трехфункциональны (они образовали 309 слов), 31 лексема — четырехфункциональны (они образовали 124 слова), 10 лексем — пятифункциональны (они образовали 50 слов) и 2 лексем — шестифункциональны (они образовали 12 слов) (см. табл. 2, в которой представлена только количественная сторона системы взаимопроницаемости всех классов слов).

Таким образом, 556 многофункциональных лексем дали в сумме 1315 «лексемуупотреблений», т. е. слов различных классов. Если к этому количеству слов прибавить все однофункциональные слова (892), то мы установим, что исходное количество лексем, подвергнувшихся анализу (1448), породило 2207 слов различных классов.

Выше мы установили связи между первой и второй системами (между системой построения и системой отношений). Какие связи существуют между второй и третьей системами (между системой отношений и системой взаимопроницаемости)? При сопоставлении второй и третьей систем обнаружено наличие взаимообусловленности и взаимозависимости между классом слов (т. е. между определенными структурно-функциональными признаками класса) и способностью лексем, образующих данный класс

<sup>15</sup> Ср.: «...описание сложных систем... максимально научно лишь тогда, когда оно структурно. Но не за счет того, что ученый постулировал ряд исходных утверждений о системе „произвольным образом“, а лишь при условии, что длинная цепь индуктивных обобщений привела его к убеждению, что постулируемые свойства наиболее адекватно моделируют реальные свойства исследуемой системы. Если же объект не изучен достаточно глубоко, никакие постулаты не помогут описать его структуру» [Г. Н. Мельников, Системная лингвистика и ее отношение к структурной, сб. «Проблемы языкознания. Доклады и сообщения советских ученых на X Международном конгрессе лингвистов (Бухарест, 28.8—2.9.1967)», М., 1967, стр. 101].

<sup>16</sup> См.: В. Г. Адмони, Язык как единство системы отношений и системы построения, ФН, 1963, 3.

Таблица 2

Система взаимопроницаемости классов слов в немецком языке

Классы слов	Код-во слов в данном классе						Тип класса		
	всего	однофункциональные	общее кол-во	многофункциональные					
				двухфункциональные	трехфункциональные	четырёхфункциональные		пятифункциональные	шестифункциональные
M	67	23 (34%)	44 (66%)	30	11	2	1	—	Закрытый
W	47	46 (98%)	1 (2%)	1	—	—	—	—	Закрытый
L	39	11 (28%)	28 (72%)	9	8	8	2	1	Закрытый
F	24	—	24 (100%)	10	6	7	—	1	Закрытый
P	179	101 (55%)	78 (45%)	48	16	9	4	1	Закрытый
K	22	15 (76%)	7 (24%)	2	1	2	1	1	Закрытый
C	101...	10 (9%)	91 (91%)	35	37	13	5	1	Открытый
Z	15...	6 (40%)	9 (60%)	4	2	2	1	—	Открытый
I unf.	27	13 (52%)	14 (48%)	11	3	—	—	—	Закрытый
S	108	5 (4%)	103 (96%)	49	33	11	9	1	Закрытый
U	63	46 (74%)	17 (26%)	16	1	—	—	—	Закрытый
G	32	20 (62%)	12 (38%)	7	2	1	1	1	Закрытый
R	5	1 (20%)	4 (80%)	1	—	2	1	—	Закрытый
H	48	5 (9%)	43 (91%)	9	22	8	4	—	Закрытый
D	49	36 (74%)	13 (26%)	13	—	—	—	—	Закрытый
Q	308...	32 (11%)	276 (89%)	197	55	17	6	1	Открытый
V	308...	183 (58%)	125 (42%)	69	40	12	3	1	Открытый
E	26...	26 (100%)	—	—	—	—	—	—	Открытый
O	14	5 (33%)	9 (67%)	1	3	3	1	1	Закрытый
O	39	23 (59%)	16 (41%)	4	—	7	4	1	Закрытый
V	2...	—	2 (100%)	2	—	—	—	—	Открытый
N	17...	—	17 (100%)	11	3	1	2	—	Открытый
I reg.	1	7 (100%)	—	—	—	—	—	—	Закрытый
A	660...	278 (43%)	382 (57%)	291	66	19	5	1	Открытый
Всего привлечено для анализа лексем	1448	892 (62%)	556 (38%)	410	103	31	10	2	
Всего получено слов различных классов	2207	892 (40%)	1315 (60%)	820	309	124	50	12	

слов, выступать как однофункциональные или как многофункциональные лексемы. Указанные выше многофункциональные лексемы (556), в зависимости от их принадлежности к тому или иному классу, обнаруживают далеко не одинаковые многофункциональные потенции. Например, такие классы слов, как предложно-вопросительные слова (W), сочинительные союзы (K), предлоги (P), подчинительные союзы (U) и предложно-указательные слова (D), восходят в основном к однофункциональным лексемам. Слова этих классов в подавляющем большинстве — строевые слова, структурные форманты предложения, служащие целям грамматической и логико-грамматической организации предложения. Эти слова обладают конкретной семантикой со значением отношения между словами и предложениями (слова типа *und, auf, darauf, worauf*), они ограничены в своем передвижении внутри предложения, характеризуются фиксированной позицией и другими очень специфическими сильными (не пересекающимися в других классах слов) признаками.

Им может быть противопоставлена другая группа классов слов, таких, как модальные слова (М), логические частицы (L), модальные частицы (F), интенсификаторы (С) и побудительные слова, восходящая в основном к многофункциональным лексемам. Слова этих классов обладают, напротив, большей свободой передвижения внутри предложения, большей сочетаемостью со словами различных классов, более абстрактной семантикой (их семантика — субъективно-модальное значение, т. е. отношение говорящего к высказыванию, положительная или отрицательная реакция на высказывание собеседника, «усиление» или «ослабление» признака, выраженного в семантическом значении других слов).

Прослеживается, таким образом, совершенно четкая зависимость между типом класса слов, т. е. каждым конкретным классом слов с его структурно-функциональными параметрами, и типом лексем, лежащих в основе слов данного класса, т. е. лексем, способных лишь к однофункциональному или многофункциональному употреблению в языке. Способность одной и той же материальной лексемы выступать как слова различных классов, образующих систему «взаимопроницаемости» неизменяемых классов слов, есть следствие грамматических признаков слов, взятых из предложения. Следовательно, система «взаимопроницаемости» неизменяемых классов слов есть следствие «системы отношений» тех же классов.

В каждый класс слов входят лексемы, с одной стороны, выступающие только как слова данного класса (они составляют ядро данного класса, образованное однофункциональными лексемами). Это такие лексемы, которые специализируются на одной функции (такие слова есть в каждом классе, кроме модальных частиц). Каждый класс слов имеет то большее, то меньшее ядро, в зависимости от класса, т. е. от его структурно-функциональных признаков. С другой стороны, в каждый класс входят лексемы, выступающие как слова других классов (они составляют периферию данного класса, образованную многофункциональными лексемами). Чем большему количеству классов принадлежит лексема, тем больше у нее структурно-функциональных потенций, тем она менее специализирована, более всеобща. И, наоборот, чем меньшему количеству классов принадлежит лексема, тем меньше у нее структурно-функциональных потенций, тем она более специализирована, менее всеобща.

Таким образом, классы слов, с одной стороны, строго детерминированы (система классов слов как система построения и система отношений), с другой стороны, классы слов — взаимопроницаемы (система классов слов как система взаимопроницаемости). «Противоречие» между жесткой классификационной схемой, жесткими признаками классов слов, жесткой границей между классами слов и способностью одних и тех же лексем выступать как слова различных классов является лишь кажущимся. Из класса в класс переходит не слово данного класса, переходит не часть речи в другую часть речи (в таком случае мы имели бы дело действительно с противоречием, так как в этом случае слово каждого класса, обладая набором признаков данного класса, переходило бы в другой класс с признаками своего класса), а лишь материальная форма данного слова (лексема).

Поскольку многие лексемы «переходят» из класса в класс, значит они имеют широкую сферу употребления, специализируются как многофункциональные лексемы (556 лексем из 1448, т. е. 38% лексем, привлеченных для анализа, — многофункциональны). Бесконечное количество единиц опыта разнесено по конечным символам языка. В основе этого соотноше-

ния единиц опыта и единиц языка лежит конечный характер языка, связанный с ограниченностью человеческой памяти. «Ни один язык не был бы в состоянии выразить каждую конкретную идею самостоятельным словом или корневым элементом. Конкретность опыта беспредельна, ресурсы же самого богатого языка строго ограничены. Язык оказывается вынужденным разносить бесчисленное множество понятий по тем или другим рубрикам основных понятий...»<sup>17</sup>. Способность языка как набора конечных единиц отражать бесконечный калейдоскоп опыта зиждется на том, что язык представлен в нейронных связях мозга чрезвычайно экономно как сжатая структура, в которой все элементы, будучи конечными, существуют только как элементы этой структуры. Поэтому одна и та же лексема, обладая набором различных грамматических свойств, производит разный эффект в различных контекстах, выступая то как модальная частица, то как логическая частица, то как качественное наречие, то как прилагательное и т. д. Можно сказать, что каждая лексема, только превратившись в слово, представляет собой общий семантический сегмент, некий семантический инвариант значения, перекрещивающийся в различных структурно-функциональных классах слов<sup>18</sup>. Почти все классы слов (кроме междометий и личных местоимений), обнаруживая общие или пересекающиеся сегменты (секторы, поля), втянуты в сложнейшую систему взаимопроницаемости классов, систему, являющуюся отражением механизма фиксации языка в мозгу и свойств человеческой памяти.

<sup>17</sup> Э. Сепир, Язык, М., 1934, стр. 65.

<sup>18</sup> Четкость границ между неизменяемыми классами слов, как явствует из вышеизложенного, несколько не «размывается» тем обстоятельством, что более одной трети лексем «переходят» из класса в класс. Если придерживаться традиции, то лексем, которые при переходе из класса в класс сохраняют семантический инвариант значения, можно считать полифункциональными лексемами (*während der letzten Zeit* — предлог, *Ich erzählte, während er schwieg* — подчинительный союз), а лексем, которые при переходе из класса в класс не сохраняют семантический инвариант значения, можно считать омонимичными лексемами (*Komm bloss schneller* — модальная частица, *mit blossen Augen* — прилагательное). Однако здесь не рассматривается соотношение полисемии и омонимии, хотя в подавляющем большинстве случаев функционирование в различных классах материально идентичных лексем основано на полисемии.

## Э. ПЕРУЦЦИ

## МИКЕНСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ЛАТЫНИ

В данной статье обобщены результаты ряда исследований, посвященных проблеме микенской культуры в Лациуме, точнее лингвистическому аспекту этой проблемы, а именно сохранению микенских языковых элементов в латыни<sup>1</sup>. Исследования такого рода покоятся на двух основаниях: на данных современной археологии и на античной традиции.

Археологические данные убедительно показывают, что микенские мореплаватели часто заходили в порты южной Италии — Апулии, Сицилии и Эолийских островов, которые впоследствии, в исторические времена, подверглись греческой колонизации. К этому следует добавить, что в последнее время фрагменты микенской керамики были обнаружены и в Лациуме. Это прежде всего фрагменты, найденные в Луни суль Миньоне; некоторые из них можно «с высокой степенью надежности», по словам Остенберга<sup>2</sup>, отнести к микенскому периоду III В (около 1300—1230 гг. до н. э.). Кроме того, найден новый фрагмент в хижине железного века в Сан Джовенале (эти данные еще не опубликованы), и мы с нетерпением ждем первой публикации материалов о фрагментах керамики, обнаруженных в самом центре Рима, в Сант-Омобоно, в пласте земли с Капитолийского холма. Некоторые из этих фрагментов принадлежат, по мнению Доро Леви, к позднемикенскому периоду.

Согласно античным преданиям, выходящим из Аркадии, возглавляемые Эвандром, достигли Лациума около 1243 г. до н. э., по хронологии Эратосфена. Эта дата согласуется с возрастом упомянутых выше археологических находок, относящихся к тому же периоду, что и архивы из Пилоса (из чего следует, что микенское государство распространяло свое влияние и на внутренние области Аркадии), а также найденные в граничившей с Аркадией Арголиде микенские и тиринфские тексты линейного письма В, написанные на языке, который, как бы мы его ни оценивали, стоит ближе к аркадо-кипрскому, чем к какому-либо другому историческому диалекту греческого языка.

Я не буду останавливаться здесь на предании об Эвандре, которое, как я уже показал в других работах, является весьма достоверным в своих основных деталях. Даже несообразность того факта, что мать Эвандра была убита в возрасте 110 лет, устраняется, если иметь в виду, что год у аркадцев состоял из трех месяцев (Plin. nat. hist. 7, 48, 154—155; Cens. d. nat. 19, 5), так что, согласно нашему летоисчислению, она умерла, когда ей было 27 лет. Предание гласит, что Эвандр отправился в путь из города Паллантониона, находившегося в удаленной от моря Аркадии, и отбыл в

<sup>1</sup> E. Peruzzi, I micenei sul Palatino, «La parola del passato», XXIX, 1974, стр. 309 и сл.; егo же, Prestiiti micenei in latino, «Studi urbinati», XLVII, 1973, Supplemento linguistico, 1 (published 1975), стр. 7—60; егo же, Agricoltura micenea nel Lazio, «Minos», XIV, 1973 (published 1975), стр. 164—187.

<sup>2</sup> C. E. Östenberg, «Luni sul Mignone», Lund, 1967, стр. 128—151; ср.: F. Biancofiore—O. Toti, «Monte Rovello», Roma, 1973, стр. 9—10, 56; C. E. Östenberg, «Annuario dell'Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma», XII—XIII, стр. 149; G. Ioppolo, «Rendiconti della Pontificia Accademia Romana d'Archeologia», XLIV, 1972, стр. 17.

Лациум с арголидскими кораблями, команда которых состояла из аргоцев.

Все источники сходятся на том, что выходцы из Аркадии принесли в Лациум более высокую цивилизацию (Dion. Hal. 1, 33, 4; Liu. 1, 7, 8; Ps. Aug. Vict. or. 5, 3, и др.). Это была не первая и не последняя из тех греческих миграций, подробный перечень которых мы находим у Дионисия, но это, несомненно, была самая важная миграционная волна с точки зрения истории культуры. В связи с этим у лингвиста может возникнуть вопрос: не сохранились ли в историческом латинском такие элементы, которые можно было бы приписать уже не позднему греческому влиянию, а культурному престижу аркадцев в Лациуме XIII в. до н. э. (в таком случае следовало бы предпочесть позднюю этимологию более ранней). Дионисий рассказывает, что аркадцы считались «первыми, кто ввел в Италию игру на таких инструментах, как лира, треугольная арфа и флейта; потому что их предшественники не знали никаких музыкальных инструментов, кроме пастушеской свирели» (Dion. Hal. 1, 33, 4).

Для латинского названия лиры уже было предложено соответствие в греческом: лат. *fidēs* мн. ч. «струны музыкального инструмента» > «лира» ~ греч. *sphídes* мн. ч. «кипки; жилы» (из которых изготовлялись струны). Особо отмечалось, однако, что исчезновение *s* в начале слова перед согласными и трактовка придыхательного согласного не согласуется с теми звуковыми соответствиями, которые характерны для греческих заимствований в латинском языке исторического времени.

Те же особенности (исчезновение *s* в начале слова перед согласными и нерегулярная трактовка придыхательного) можно обнаружить и в названии жертвенного сосуда, для которого отмечена греческая параллель: лат. *capis*, *-idis* ~ греч. *skapḗis*, *-idos*. Аналогичные черты свойственны также двум специальным терминам, связанным с сельским хозяйством: лат. *capula* и микен. *skapḗlā*, которое сохранилось на пилоесской табличке Un 1321, строка 2 (ср. греческое название ковша: *skapḗphalos*). Лат. *capula* обозначает небольшой ковш для переливания масла из одного сосуда в другой в процессе выжимания оливкового масла. Микен. *skapḗlā* обозначает сосуд, использовавшийся в Пилое в качестве мерки для жидкостей.

Исчезновение *s* перед согласными является также особенностью линейного письма В, где, например, для *skapḗlāi* находим форму *ka-pa-ra*.

По мнению Георгиева<sup>3</sup> и других, эта графическая особенность отражает характерную черту микенского произношения. Данный вывод, однако, нельзя признать бесспорным, к тому же мы ничего не знаем о фонологической системе диалекта, на котором говорили в XIII в. до н. э. на Палатинском холме. Следовательно, необходимо и достаточно отметить, что исчезновение *s* в начале слова перед согласными имеет место в латинских заимствованиях из греческого, относящихся, по-видимому, к микенской эпохе; тем самым мы получаем возможность использовать данную особенность как формальный эвристический критерий при изучении латинской лексики (и таким образом проверить ее справедливость).

В рассмотренных выше лексических параллелях представлены два разных результата отражения греческого *ph* в латинском языке: 1) *p* в середине слова и 2) *f* в начале слова. Первый результат, а именно лат. *p* на месте греч. *ph*, представляет собой соответствие, встречающееся в словах, которые до сих пор рассматривались как древнейшие прямые заимствования из греческого (например, *purpura*, *ampulla*), тогда как относительно второго результата этого сказать нельзя. Общеизвестно, что греческий

<sup>3</sup> См.: V. I. G e o r g i e v, *Introduzione alla storia delle lingue indeuropee*, Roma, 1966, стр. 72—75 (ср. стр. 81).

*ph* передавался латинским *f* в довольно позднее время (первые примеры такого рода найдены в Помпеях), когда он был уже не придыхательным, а фрикативным, как и латинский согласный. Из этого следует, что такие слова, как *fidēs, fōrma, fūr, fūcus, funda, fungus, fenestra*, не могли быть прямыми заимствованиями из греческого (в связи с чем постулируется существование неизвестных этрусских слов-посредников или общего средиземноморского источника неизвестного происхождения).

Таким образом, в латинских словах *capis, capula* и *fidēs* засвидетельствовано двойное отражение греческого *ph* в зависимости от позиции. Но в тех же позициях в латинском мы находим также двойное (хотя и отличное) отражение индоевропейского придыхательного звонкого губного, позволяющее провести разграничение между латинским и итальянскими языками, а также сабинским:

	Греч.	Итал.	Лат.	Сабин.
И.-е. *bh (1) в начале слова	<i>ph</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>
(2) в середине слова	<i>ph</i>	<i>f</i>	<i>b</i>	<i>p</i> <sup>4</sup> .

Легко заметить, что в параллелях *sphīdes — fidēs, skaphīs — capis, skaphālā — capula* греческий *ph* трактуется так же, как придыхательный взрывной в сабинском (другими словами, эти заимствования указывают на традицию, которую мне не хотелось бы называть сабинской, но которая тождественна традиции, засвидетельствованной сабинским языком).

Обратимся теперь к схеме развития индоевропейского придыхательного звонкого губного в латинском и итальянских языках, предложенной Асколи<sup>5</sup> и являющейся теперь общепринятой (к ней я добавил в IV периоде результаты развития в сабинском):

I Индоевропейский	придыхательный		*bh
II Протоиталийский и палеогреческий	придыхательный		*ph
III Протолатинский	фрикативный		*f
IV а) Латинский		f-	-b-
б) Сабинский		f-	-p-

Эта схема дает ключ к решению вопросов, связанных с формой и хронологией древнейших греческих слов с *ph* на территории Центральной Италии.

Такое заимствование, как *fidēs*, является более древним, чем те заимствованные слова, в которых начальный *ph* передается латинским *p*, потому, что процесс заимствования происходил в архаический период II, когда в диалектах, на которых говорили в Центральной Италии, все еще имелся придыхательный глухой губной. Другими словами, заимствование имело место в то время, когда греческий придыхательный был фонетически тождествен или очень близок местному придыхательному, развившемуся позднее в *f* и *b* в латинском, *f* и *p* в сабинском.

До сих пор мы имели дело с латинскими заимствованиями, которые, возможно, были микенскими по происхождению. Такая возможность, однако, может быть доказана только в том случае, если будет найдено латинское слово, которое обкаруживает те же особенности и обязательно

<sup>4</sup> Сабин. *alpus* «белый». P. Fest, p. 4. 7—9: «album quod nos dicimus, a Graeco, quod est *alphón*, est appellatum. Sabini tamen *alpum* dixerunt». Сабин. *crepus* ~ греч. *knéphas* «темнота» (ср.: А. Егнот, А. Меллет, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris, 1967, стр. 149, s. v. *creper*).

<sup>5</sup> См.: G. I. Ascoli, «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», XVII, 1868, стр. 241 и сл.; XVIII, 1869, стр. 417 и сл.; егже, Lezioni di fonologia comparata del sanscrito, del greco e del latino, Firenze, 1870, стр. 167—174.

должно восходить к микенской эпохе, т. е. слово, которое строго согласуется с микенской формой, но вместе с тем никоим образом не согласуется с более поздней греческой и поэтому не может быть отнесено к более позднему периоду и диалекту, чем микенский.

Таким словом является *cuspis*, *-idis*. (Следует, кстати, подчеркнуть, что основа, род и парадигма слова *cuspīdēs* совпадают с аналогичными характеристиками слов *capīdēs* и *fidēs*, для которых мы постулировали возможное микенское происхождение.) Форма двойственного числа *qi-si-pe-e* (*k<sup>w</sup>siphehe*) в табличке Та 716 показывает, что начальная группа согласных в греч. *ksíphos* возникла в результате диссимиляции лабиовелярного, причем более древней формой была *k<sup>w</sup>síphos*<sup>6</sup>. Наконечники копий и стрел имели форму небольших мечей и кинжалов, поэтому они также назывались в греческом *akro-ksíphides* (Lyd. mag. 1, 8). Однако тогда латинское слово *cuspis*, *-idis*, этимология которого неизвестна, не может быть возведено к греч. *ksíphis*, *-idos*, но легко выводится из микенского *k<sup>w</sup>síphis*, *-idos*, начальный лабиовелярный которого воспринимался говорившими на латинском языке как *ku*, а придыхательный трактовался так же, как в *capis* и *capula*:

II	микенское	<i>*k<sup>w</sup>síphides</i>	→	<i>*kusi phides</i>	
III				<i>*kusifides</i>	
IV				<i>*kusi pides</i>	
				<i>cúspides</i>	(с синкопой, вызванной ударением на первом слове).

Согласно преданию, выходцы из Аркадии привезли в Лациум различные музыкальные инструменты, а также ввели *tubilustrum*, церемонию, во время которой подвергались очищению культовые трубы — *tubi* (Fest. p. 480, 25—29). Древний религиозный термин *tubus* (Varro, Ling. Lat. 5, 117; Fest. p. 480, 25—27), соответствующий обычному слову *tuba*, восходит (если при этом учесть характерное для микенских заимствований выпадение *s* перед согласными) к греч. *stúpos* (также *o*-основа) (Hesych., s. v. *stúpe*: ho stúpos). Греч. *stúpos* обозначает полый ствол дерева, из которого еще во времена Плиния изготовлялись пастушеские свирели (Plin. nat. hist. 16, 71, 179). Обращает на себя внимание, что в параллели лат. *tubus* — греч. *stúpos* греческий глухой лабиальный соответствует звонкому в латинском слове, точно так же, как и в трех латинских словах, заимствованных из греческого и существовавших еще в микенскую эпоху:

Лат.	Греч.	Микен.
<i>burrus</i>	<i>purrós</i>	<i>pu-wo</i> ( <i>purwós</i> )
<i>buxus</i>	<i>púksos</i>	<i>pu-ko-so</i> ( <i>púksos</i> )
<i>carbasus</i>	<i>kárpasos</i>	<i>ka-pa-so</i> ( <i>kárpasos</i> )

У меня нет сомнений в том, что данное звукосоответствие является характерной чертой микенских заимствований. Действительно, результаты применения такого соответствия к другим латинским словам неизвестного происхождения подтверждают это предположение.

Микен. *prakteeus* обозначает особую категорию пилосских ремесленников, которые, очевидно, имели дело с *praktea*<sub>2</sub><sup>7</sup> (слово, не получившее

<sup>6</sup> Ср.: А. Н е u b e c k, «Minos», VI, 1958, стр. 55 и сл.; С. G a l l a v o t t i, «Athenaeum», XLVI, 1958, стр. 380.

<sup>7</sup> Ср.: М. L e j e u n e, «Historia», X, 1961, стр. 424 и сл., примеч. 79.

до сих пор объяснения). Если воспользоваться соответствием греч. *p* — лат. *b*, микенская форма может быть связана с лат. *bractea* «металлическая пластинка», где имел место сдвиг: ср. р. мн. ч. > жен. р. ед. ч., как в случае *opus* — *opera* ср. р. мн. ч. — *opera* жен. р. ед. ч. В самом деле, лат. *bractea* было первоначально формой мн. числа от *bracteum*, сохранившегося как название металлической пластинки, которой пользовались фламینی (CGL, II, 406, 27). Отсюда микенские ремесленники, которых называли *prakteewes*, — это чеканщики. Точно так же латинский военный термин *balteus* или *balteum*, обозначающий кожаный ремень, перекинутый по диагонали через плечо, к которому прикреплялись меч или щит или колчан со стрелами, является, по-видимому, производным, от микенского *paltón* «метательное оружие», засвидетельствованного в документах Кносского арсенала и в пилооском архиве производным *paltaiā* (кносские печати Ws 1704, 1705, 8495, пилооская табличка Jn 829, строка 3).

Мы не можем точно определить специфическую трактовку глухих и звонких придыхательных губных в латинских заимствованиях микенской эпохи, потому что мы не знаем системы фонем (и их материальных реализаций) того диалекта, на котором говорили в XIII в. до н. э. на Палатинском холме, к тому же наши знания о микенской фонетике весьма несовершенны. Во всяком случае нельзя не обратить внимания на последовательный характер данных особенностей в том смысле, что обе они затрагивают один и тот же ряд взрывных (губных) и по крайней мере в середине слова обнаруживают фонетическое изменение, при котором придыхательные глухие утрачивают аспирацию, а глухие становятся звонкими.

Какова же картина микенского культурного влияния в доисторическом Лациуме, которую можно составить на основании первых результатов проведенных исследований?

К музыкальным инструментам, которые были введены выходцами из Аркадии, в настоящее время можно отнести лиру (*fidēs*) и прямую трубу (*tubus*), связанную с ритуальными обрядами (в предании особо упоминается *tubilūstrium*, аркадская религиозная церемония, проводившаяся на Палатинском холме).

О бесспорном влиянии в области религии свидетельствуют и луперкалии, древнеримские праздники, одним из назначений которых была защита овец от волков и которые также упоминаются в преданиях как аркадская церемония (Dion. Hal. 1, 32, 3—5; 1, 79, 8; 1, 80, 1—2; Plut. Rom. 21, 3—5; Plut. Caes. 61; Liu. 1, 5, 1—3; Ou. fast. 2, 267—288; 5, 91—102; Justin. 43, 1, 6—7; Schol. Dion. Perieg. 348; Seru. in Aen. 8, 343; Val. Max. 2, 2, 9). Об их греческом происхождении говорит само название *lupercāles* из \**wl<sup>u</sup>k<sup>w</sup>arkādes* «волчья аркадцы» и специальный термин, обозначающий очистительное средство: *februm* из греч. *sphedrón* «katharón» (ср. греч. *khéludros* > лат. \**colubros* > *coluber* «змея»: группа *-dr-* совершенно не характерна для фонетической системы латинского языка и зафиксирована лишь в *quadr-* в сложных словах и производных от *quattuor*; ср. и.-е. \**-dhr-* > лат. *-br-*: \**rudhros* > \**rubros* > \**ruber* «красный»). К религиозной сфере относится также название жертвенного сосуда *capis*, и, по-видимому, название другого сосуда — *bucar* (P. Fest. p. 32, 20 «bucar... genus est uasis») из микенского *qo-u-ka-ra* «ритуальная чаша, имевшая вид головы быка или украшенная ею» (пилооская табличка Ta 711, 2—3).

Выше уже упоминались *balteus* (-um) и *cuspis* из обозначений оружия (точнее, наступательного оружия *tēla*, так как оборонительное, называвшееся *arma*, было заимствовано у греков лишь в эпоху Ромула<sup>8</sup>).

<sup>8</sup> См.: E. Peruzzi, *Origini di Roma*, II, Bologna, 1973, стр. 67—69, 71—72.

Именно аркадцам приписывает античная традиция введение в Лациуме использования волов в качестве тягловой силы при пахоте, а также более совершенных способов обработки земли (Ps. Aug. Vict. or. 5, 3). В этом пласте латинской лексики микенскими по происхождению являются *iūgus* «мера земельной площади (около 2500 кв. м)» из микен. *zeugos* «мера земли»<sup>9</sup>, *forbea* «пища» (P. Fest. p. 74, 7—8: «forbeam antiqui omne genus cibi appellabant, quam Graeci phorbēn uocant») из микен. *phorg<sup>w</sup>ā* (табличка из Пилоса Un 138.2 и табличка из Фив Ug 17 po-qa) и *capula* «ковш для масла», из микен. *skaphālā* «мерка для жидкостей».

Известно, какое важное место занимали ткани в микенских ремеслах и торговле. В латинском языке имеется по крайней мере три микенских заимствования, относящихся к названиям тканей: *carbasus*, *linum* и образованное от него нерегулярное прилагательное *linteus*.

Что касается лексики, связанной с обработкой металла, мы не можем установить, является ли лат. *bractea* заимствованием из микенского или, наоборот, микен. *praktea*<sub>2</sub> восходит к латинскому слову, но в любом случае данная лексическая параллель свидетельствует о широком распространении металлообрабатывающей техники сопровождавшем торговлю изделиями из металла, которую вели микенские купцы в западной части Средиземноморья.

В области строительной техники лат. *clāuis* восходит к микенской основе *klāwi-* и не может быть связано с греческими основами *klāwid-* или *klāwik-*, обозначавшими ключ. Не имея в своем распоряжении надежных данных языкового и культурного характера, мы не можем с полной уверенностью говорить о микенском происхождении следующих двух терминов, характерных для хижины раннего железного века в Лациуме: лат. *furca* «столб с двумя развилками, поддерживающий крышу и стены» (греч. *phórka* вин. п. толкуется как *kháraka* «столб» у Гесихия) и лат. *fenestra* «окно» из \**phaustēra* вин. п. (греч. *phaustēr* «окно») <sup>10</sup>.

Несмотря на то, что в настоящее время около двух десятков латинских слов, связанных с материальной культурой, могут считаться несомненными микенскими заимствованиями (или в некоторых случаях несомненными доисторическими заимствованиями из какого-либо греческого диалекта), трудно переоценить значение этих данных для истории латинского языка.

Признание микенских элементов в составе латинского языка, т. е. признание языковой и культурной традиции, связанной с цивилизацией, которая имеет свои собственные памятники письменности в виде микенских табличек XIII в. до н. э., позволяет ввести надежную хронологическую отметку (относительную и абсолютную) в то неопределенное пространство между реконструированным индоевропейским и документально засвидетельствованным латинским, в отношении которого до последнего времени нельзя было говорить о сколько-нибудь серьезном выделении дат и культур.

Это означает, что становится возможным изучение уже не предистории, а истории языка Рима за несколько столетий до самого раннего этапа его развития, засвидетельствованного памятниками письменности.

Перевела с английского И. А. Сизова

<sup>9</sup> См.: M. L e j e u n e, «Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes», XXIX, 1955, стр. 153, примеч. 25; M. S. R u i p é r e z, «Minos», IV, 1956, стр. 146—147; M. L e j e u n e, «Minos», VI, 1958, стр. 94.

<sup>10</sup> A. D a v i c o, «Monumenti antichi», XLI, 1951, стлб. 125—134 и рис. 2, E. G j e r s t a d, «Early Rome», III, Lund, 1960, стр. 52—53, рис. 23—26; IV, 1, Lund, 1966, табл. 1; S. M. P u g l i s i, «Monumenti antichi», XLI, 1951, стлб. 69—71.

П. ОНДРУС

К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРИСТИКЕ И КЛАССИФИКАЦИИ  
СОЦИАЛЬНЫХ ДИАЛЕКТОВ

1. Дискуссии о характере и классификации социальных диалектов время от времени возобновляются по мере того, как в их изучении достигаются новые результаты<sup>1</sup>.

Пока были известны главным образом арготеклассированных общественных групп и молодежные сленги, велось изучение характера, основных функций и особенностей использования языковых показателей и средств этих двух типов социальных диалектов. Когда же был достигнут прогресс в изучении арготеклассированных ремесленников, были раскрыты его сущность, функция и особенности использования языковых средств этого арготеклассированных социальных слоев и арготеклассированных ремесленников. В последнее время было обращено внимание и на изучение, с одной стороны, «тайного языка» детей, а с другой стороны, так называемого профессионального диалекта.

В данной статье мы попытаемся — в той мере, в какой это позволяют современные достижения в сборе и интерпретации материала арготеклассированных детей и так называемого профессионального диалекта, — на базе сопоставления сходных и отличительных черт данных типов социальных диалектов, их функций и языковых признаков, предложить не только характеристику, но и классификацию социальных диалектов, соответствующую результатам их исследования в новейшее время.

2. С точки зрения функции общей чертой всех упомянутых социальных диалектов является то, что все они используются как средство общения между членами определенной группы. Их различие заключается в той роли, которую они выполняют: в то время как жаргон<sup>2</sup> и сленг имеют экспрессивную функцию, арготеклассированный характеризуется конспиративной ролью.

<sup>1</sup> К дискуссии о характере и классификации социальных диалектов в Западной Европе см., например, работу И. Йордана «Романское языкознание» (М., 1974, стр. 530—539), а также информативную статью М. Н. Петерсона «Язык как социальное явление» («Уч. зап. Ин-та языка и литературы РАН ИОН», I, 1927, 20). Социальным диалектам русского языка уделял внимание В. М. Жирмунский в труде «Национальный язык и социальные диалекты» (Л., 1936); см. также: Ф. П. Филин, К проблеме социальной обусловленности языка, в кн.: «Язык и общество», М., 1968. Материал русского языка по арготеклассированных и торговцев, собиравшийся в течение двух столетий, обобщил В. Д. Бондалетов в докторской диссертации «Условно-профессиональные языки русских ремесленников и торговцев» (Л., 1966). Результаты исследования социальных диалектов в Болгарии учитывал Ст. Стойков в статье «Социальные диалекты» (ВЯ, 1957, 1). На опыт изучения данной проблематики в польской языковой среде опирается К. Дейна в статье «W sprawie terminów: język, dialekt, gwara, żargon» («Rozprawy Komisji językowej», 3, Łódź, 1955, стр. 151—156). В Чехословакии описанием социальных диалектов занимались Ф. Оберпфальцер (см. статью «Argot a slang», в кн.: «Československá vlastivěda», III — Jazyk, Praha, 1934, стр. 311—376) и в последнее время П. Ондрус (см. статью «Z problematiky sociálnej dialektológie na Slovensku», в кн.: «Studia Academica Slovaca», 3 — Prednášky X. letného seminára slovenského jazyka a kultúry, Bratislava, 1974, стр. 220—228).

<sup>2</sup> В словацких условиях жаргон не сложился. О жаргоне в русском языке пишет А. И. Горшков в книге «История русского литературного языка» (М., 1961, стр. 125—126).

Общим для воровского аргю, аргю ремесленников-отходников и торговцев, а также аргю детей является то, что каждое из них используется как средство общения между членами своей группы и каждое имеет одинаковое назначение: скрыть содержание информации от тех, кто не является членом их социальной группы. Конечно, они имеют отличные языковые признаки, обусловленные расхождением функций отдельных аргю.

Если сопоставляемые социальные диалекты мы соотнесем с так называемым профессиональным диалектом, то экспрессивный и конспиративный характер социальных диалектов выявится особенно четко. В то время как главная роль так называемого профессионального диалекта состоит в том, чтобы служить средством информации об относительно сложных приемах ремесла и домашнего производства<sup>3</sup>, основной функцией сленгов является функция экспрессивная — стремление вызвать при коммуникации впечатление чего-то особенного, оригинального<sup>4</sup>. В свою очередь все разновидности аргю отличаются от сленга тем, что их главной целью является не производить впечатление оригинальности, а скрыть содержание информации от тех, кто не входит в состав их социальной группы. Именно различием цели определяется дифференцированность экспрессивных и конспиративных социальных диалектов по их языковым признакам — прежде всего в сфере лексики.

Как же проявляется эта дифференцированность отдельных видов социальных диалектов? Для так называемых профессиональных диалектов типичны главным образом специфические выражения и иностранные слова, которые как составная часть лексики данного языка имеют характер специальных терминов. Их характерным свойством является тенденция (хотя и слабая) к однозначности. Эти выражения и термины нередко используются носителями данных диалектов на всей территории национального языка, и для представителей других профессий совершенно неизвестной бывает только их определенная часть. Для сленгов же типична намеренная деформация лексических средств, пристрастие к смысловым сдвигам и к синонимии: их спецификой является лексическая исключительность.

В отличие от так называемого профессионального диалекта и сленга, воровское аргю, а также аргю ремесленников-отходников и торговцев, предполагают лексический «билингвизм», естественно, при сохранении единства звукового и грамматического строя. Дело в том, что носители аргю, наряду с обычной лексикой данного языка (литературного, городского, местного говора и т. п.), на базе которого возникло аргю, используют и специальные слова, помогающие утаивать содержание информации, передаваемой другому носителю их тайного языка.

Однако в деталях лексическое «двуязычие» указанных аргю различается. В то время как специфическая лексика воровского аргю подчеркивает преступную «специализацию», особая лексика аргю ремесленников-отходников и торговцев охватывает все сферы жизни<sup>5</sup>: она включает наименования из области природы, жизни человека, производства и др.

В детском аргю лексический «билингвизм» отсутствует. Этим аргю детей отличается от двух вышеназванных аргю (воровского аргю и аргю ремесленников-отходников и торговцев). Помимо этого, детское аргю отличается от остальных аргю и другими свойствами.

<sup>3</sup> См. об этом: P. Ondrus, Výskum slovnej zásoby slovenských nářečí, Bratislava, 1966, стр. 26—269.

<sup>4</sup> См., например: Š. Krištof, Mládežnícky slang, «Studia Academica Slovaca», 3 — Prednášky X. letného seminara slovenského jazyka a kultúry, стр. 83—111. Там же указана и другая литература.

<sup>5</sup> См.: В. Д. Бондалетов, указ. соч., стр. 11.

Если носителями воровского аргю, а также аргю ремесленников-отходников и торговцев, являются прежде всего люди взрослые, то носителями детского аргю бывают в основном лица от восьми до четырнадцати лет. Это и определяет основную функцию тайного языка детей: его цель — утаить содержание информации не только от взрослых и детей старшего возраста (которым более четырнадцати лет), но и от тех детей, которые моложе восьми лет, и даже от ровесников с той же или соседней улицы<sup>6</sup>. Место детей в социальной структуре общества обуславливает особое положение детского аргю среди других тайных языков. Его особое положение еще больше подчеркивается языковыми признаками. Как мы уже отметили, в аргю детей отсутствует лексический «билингвизм». Детские тайные языки берут из своих языков (литературного, городского, местного говора), бытующих в той среде, где дети вырастают, весь словарный состав, и для утаивания содержания информации они не образуют новых слов и не заимствуют иностранных, как это делают носители воровского аргю и аргю ремесленников-отходников и торговцев. Создатели детского аргю лишь «деформируют» слова и их формы. Деформация слов и форм носит здесь иной характер, чем в сленгах. В то время как носители сленга деформируют слова только в плане словообразовательном, пользующиеся детским аргю различным образом изменяют или звуковой облик слов и форм, или число слогов в словах и их формах. Деформация слов и форм в тайных языках детей осуществляется в соответствии со следующими принципами:

1. В словах и формах слов каждый гласный заменяется другим гласным. Иногда опускается первый гласный в начальном слоге слова или формы. Примером подобной деформации слов и форм могла послужить речь дошкольников, у которых иногда наблюдается замена гласных, близких в артикуляционном и акустическом плане<sup>7</sup>.

2. Односложные элементы или передвигаются за каждый открытый слог, или же ставятся перед каждым открытым слогом слова или формы. Моделью такой деформации слов и форм в детском аргю может быть метод чтения слогов в первом классе начальной школы<sup>8</sup>.

3. Значения слов в детском аргю утаиваются также путем изменения порядка слогов в словах и формах. Изменение порядка слогов в словах может комбинироваться с двусложными проклитическими и энклитическими элементами в словах и их формах и, кроме того, сопровождаться фонетическим удлинением или сокращением гласных, а иногда и ассимиляцией согласных на том месте слова или формы, на котором в данном языке, послужившем базой создания детского аргю, подобной ассимиляции, как правило, не бывает. Возникновение деформаций подобного типа опирается на фантазию детей примерно от восьми до четырнадцати лет.

Все способы деформаций в гайном языке детей детерминированы стремлением как можно полнее скрыть не только значение слов, но и содержание всего высказывания. Подобные средства не применяются столь однозначно ни в воровском аргю, ни в аргю ремесленников-отходников и торговцев. Эти средства обеспечивают детскому аргю особое место в кругу остальных социальных диалектов.

3. Из анализа социальных диалектов, из сопоставления сходных и отличительных черт отдельных разновидностей социальных диалектов вытекает следующее заключение:

<sup>6</sup> В Словакии существует тайный язык детей на верхнем и нижнем конце деревни Горна Вес (район Приевидза, среднесловацкая область).

<sup>7</sup> Ср.: А. Н. Гвоздев, Вопросы изучения детской речи, М., 1961, стр. 7—31.

<sup>8</sup> См. об этом: Н. С. Рождественский, В. А. Кустарева, Методика начального обучения русскому языку, М., 1965, стр. 32 и сл.

1. Сопоставление сходных и отличительных свойств социальных диалектов выявило основное различие не только между арго, жаргоном и сленгом, но и между отдельными типами арго — между воровским арго, арго ремесленников-отходников и торговцев и детским арго. Проведенное сопоставление позволило показать характерные признаки, присущие социальным диалектам.

2. Установление основных функций социальных диалектов дает возможность предложить детальную классификацию социальных диалектов с подразделением их на экспрессивные (жаргоны высших слоев классового общества; сленги, в частности, студенческие, военные и т. п.) и конспиративные (воровское арго, арго ремесленников-отходников и торговцев, а также детское арго).

3. Рассмотренный метод установления основных свойств и функций социальных диалектов помогает вычленить так называемый профессиональный диалект из круга социальных диалектов на следующем основании: главная роль профессионального диалекта — передавать информацию об относительно сложных приемах ремесла и домашнего производства в повседневной жизни. Для него не характерна функция экспрессивная или конспиративная, его нельзя рассматривать как особую разновидность социального диалекта. Для так называемого профессионального диалекта типичны главным образом особые выражения и, как правило, иностранные слова, которые в качестве составной части лексики местного диалекта, имеют характер специальных терминов. Эти выражения и термины в среде представителей тех же самых профессий употребляются на всей территории диалектов национального языка, и работникам других профессий совершенно непонятна лишь их определенная часть<sup>9</sup>.

Перевел со словацкого *Л. Н. Смирнов*

<sup>9</sup> Тенденция к подобной характеристике профессионального диалекта проявляется в книге: J. Bělič, *Nástin české dialektologie*, Praha, 1972, стр. 9. В советской диалектологии принято мнение, что в данном случае речь идет о профессиональной лексике в местном говоре. Ср. статью Т. С. Котковой «К вопросу о производственно-профессиональной лексике говора и соотношении ее с терминологической лексикой литературного языка», сб. «Диалектная лексика, 1969», Л., 1971. Здесь же указана и другая литература.

К. И. ХОДОВА

ВАРЬИРОВАНИЕ И СИНОНИМИЯ В ГРАММАТИКЕ  
СТАРΟΣЛАВЯНСКОГО СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

При выявлении грамматических единиц языка, существование которых базируется на противопоставлениях и тесно связано с самой сущностью языковой системы, исследователя встречают трудности столь значительные, что порой они приводят к отрицанию самой идеи системных отношений в грамматике<sup>1</sup>.

Единица такой сферы языка, как грамматика, осуществляет связывание плана содержания с планом выражения; задача, следовательно, состоит в том, чтобы обнаружить в грамматической сфере систему противопоставлений и выяснить присущие ей особенности связи плана содержания с планом выражения. Такая связь бывает осложненной наличием нескольких форм с одинаковым содержанием. Поэтому наибольшие затруднения при системном представлении грамматики состоят в разрешении проблемы тождества.

В настоящей статье предпринята попытка решить этот вопрос на материале старославянского имени существительного, хорошо изученного с морфологической стороны. При исследовании связи содержания и выражения в пределах грамматических единиц имени существительного обнаруживаются некоторые общие закономерности, еще не привлекавшие к себе внимания, но важные для грамматической теории.

Итак, главный аспект проблемы тождества — это аспект вариантности единицы в пределах ее тождества. Различают вариантность в плане содержания — неизменность некоего формального выражения при варьировании значения — и вариантность в плане выражения, предполагающую неизменность значения единицы при варьировании ее форм. Мы исходим из того, что основу языка составляет системная организация о з н а ч а е м ы х, что системные отношения намечаются в плане с о д е р ж а н и я, и при построении грамматической системы следует отправляться от плана содержания. При таком подходе к языку функция (в широком смысле этого слова) понимается как предшествующая форме, поэтому означающие должны быть ориентированы на план содержания, на означаемые, а не наоборот. Поскольку единица системы создается прежде всего единством ее значения, задача исследователя состоит в том, чтобы локализовать внешние особенности ее передачи в пространстве языка, установить состав и объем способов ее материального воплощения. К этой стороне проблемы тождества относятся явления и варьирования, и синонимии, понимаемой в структурном смысле. Требуется определить сущ-

<sup>1</sup> Так, в статье М. И. Стеблин-Каменского «О предикативности» говорится: «Системы, аналогичной системе фонем, в области грамматических значений явно не получилось. Структура языкового содержания оказывается во всех случаях настолько более сложной, чем структура языкового выражения, что параллелизм между этими структурами удается доказать только ценой насилия над фактами» (см. сборник статей М. И. Стеблин-Каменского «Спорное в языкознании», Л., 1974, стр. 53—54).

ность этих двух видов явлений и разграничить их, основываясь на устойчивых критериях.

О признаке неизменности грамматического значения, которое объединяет разные манифестации единицы, следует сделать дополнительные пояснения. Г. Глисон пишет, что значение — это «переменная величина, не поддающаяся точному контролю»<sup>2</sup>. Действительно, сближения по значению могут быть в разной степени приблизительными и даже произвольными, и их следует для наших целей ввести в некоторые рамки. Поскольку речь идет о единицах значения, выявляемых в противопоставлениях, важно соблюсти условие применения приема коммутации лишь к тем элементам, которые занимают одинаковые синтаксические (синтагматические) позиции, памятуя известное положение о подчинении анализа парадигматического плана анализу синтагматического плана<sup>3</sup>. (Данное ограничение действительно и для вариантов, и для синонимов.) Таким образом, о единстве значения форм оказывается возможным говорить лишь при условии единства синтаксической позиции (синтаксического окружения), что существенно сдерживает возможность семантических сближений, когда они делаются в целях идентификации единиц. Например, исходя из вышеизложенного, предлог *оу* с род. падежом и глагольная приставка *при-*, имеющие, безусловно, много общего в значениях, не могут все же считаться манифестациями одной и той же единицы и поэтому не являются ни вариантами, ни синонимами.

Приходится, однако, констатировать, что до сих пор нет единства мнений по ряду фундаментальных вопросов, связанных с разграничением синтагматических и парадигматических отношений в сфере имени существительного. Например, беспредложный падеж рассматривается в одних работах как показатель парадигматических различий, в других же — как указание на синтагматическую позицию (функцию) имени существительного. В этом вопросе мы разделяем взгляды сторонников синтагматической концепции функционирования беспредложных падежей. Действительно, будучи преимущественно зависимыми (управляемыми) и тесно связанными с глаголом, падежи способны образовывать при некоторых глаголах целые последовательные ряды или цепочки сосуществующих форм, в которых каждая форма в то же время знаменует собой определенную синтагматическую позицию<sup>4</sup>. Правда, в области управляемых падежных форм не исключены и парадигматические противопоставления, при которых одна из нескольких форм, возможных в одной и той же позиции, становится предметом сознательного выбора<sup>5</sup>, но в целом парадигматические отношения менее характерны для беспредложных падежей, чем отношения синтагматические. Безусловно синтаксический характер носит функционирование независимого падежа — именительного субъекта, а также и таких падежей, которые являются формами единственного объекта при определенных глаголах. Ниже нам придется иметь дело с идентификацией грамматических единиц, выражаемых формами существительных, и беспредложный падеж при этом будет трактоваться как показатель синтаксической (синтагматической) позиции.

В настоящей статье развивается положение о том, что варианты единиц грамматического содержания (грамматических единиц) опреде-

<sup>2</sup> Г. Г л и с о н, Введение в дескриптивную лингвистику, М., 1959, стр. 124.

<sup>3</sup> Указания на литературу см.: К. И. Х о д о в а, Структура отношений, выражаемых формами склонения имени существительного в старославянском языке, «Славянское языкознание. VII международный съезд славистов. Доклады советской делегации», М., 1973.

<sup>4</sup> Более подробно об этом см. там же, стр. 393 и сл.

<sup>5</sup> Там же, стр. 401—402.

ленного класса слов есть разновидности внешнего выражения этих единиц, создаваемые, во-первых, различиями лексико-грамматических разрядов данного класса слов и, во-вторых, различиями других грамматических оппозиций того же самого класса слов.

Рассмотрим последовательно эти два фактора, создающих различия сферы выражения единиц.

I. Начнем с лексико-грамматических разрядов и их участия в создании вариантов плана выражения.

К числу лексико-грамматических разрядов при расширенной трактовке этого понятия можно было бы отнести все лексические группировки слов одного и того же грамматического класса, так или иначе различаемые при помощи грамматических средств, которые как бы ставят видимые перегородки между группами. При таком подходе в число лексико-грамматических разрядов имени существительного попали бы даже словообразовательные ряды, выделяемые, например, по признаку единства префикса или суффикса. Однако далеко не все форманты имени существительного оказывают влияние на состав и характер формальных вариантов его единиц. Так, имена существительные, объединяемые единством какой-либо приставки, пронесут с собой эту приставку по всем падежам и числам и, следовательно, ни характер приставки, ни даже самое ее присутствие или отсутствие никак не отразятся на различии вариантов грамматических единиц имени существительного. Поэтому для решения вопроса о содержании и границах варьирования следует привлекать лишь такие лексико-грамматические разряды, которые обеспечивают внешнее разнообразие единиц в условиях единства синтаксической позиции. К таким лексико-грамматическим разрядам в старославянском языке принадлежат группы существительных, объединенных тождеством их собственных окончаний (вместе с исходом основы), родовые классы существительных, а также группы существительных, отделяемые одна от другой по признаку формально выраженной неличности-личности<sup>6</sup>.

Основополагающая роль синтагматического тождества при выделении единиц предписывает выбрать сначала определенные синтаксические функции, в пределах которых различаются единицы, представленные их вариантами. Одной из таких синтаксических функций является функция субъекта. В функции субъекта двусоставного предложения, которая формально обозначается им. падежом, действует противопоставление по числу; здесь, следовательно, присутствует грамматическая категория числа и различаются грамматические единицы числа, соответствующие противочленам этого противопоставления. Мы не будем здесь входить в детали содержательной стороны этой оппозиции, а также поднимать вопрос о том, какой из противочленов является отмеченным, а какие неотмеченными. Задача здесь другая: требуется исследовать особенности внешнего выражения каждой единицы.

Как заметил Г. Глисон, в английском языке «некоторые морфемы выступают во многих разновидностях, в то время как другие имеют всего лишь одну алломорфу во всех окружениях». Морфема мн. числа принадлежит к числу тех, которые в английском выражаются большим числом

<sup>6</sup> В некоторых лингвистических работах и до сих пор допускается терминологическая неточность, состоящая в том, что родовые классы и деления по одушевленности и неодушевленности называются категориями, в то время как это — разряды лексики, отделяемые один от другого при помощи формальных средств. На принципиальное различие между лексико-грамматическими разрядами и грамматическими категориями недавно указал А. В. Бондарко. См.: А. В. Б о н д а р к о, Категории и разряды славянской функциональной морфологии (морфологические категории и лексико-грамматические разряды), «Славянское языкознание. VII международный съезд славистов. Доклады советской делегации».

весьма сильно различающихся алломорфов<sup>7</sup>. В славянских языках аналогичная ситуация наблюдается не только во мн. числе, но также в дв. и в ед. числах.

А. В им. падеже формальное выражение единиц числа представлено в старославянском языке двумя разнородными сериями вариантов, одна из которых, наиболее многочисленная по количеству содержащихся в ней лексико-грамматических разрядов, перекрыта другой, включающей меньшее число разрядов. Первая серия создается различиями, обусловленными «типами склонения»<sup>8</sup>, вторая же — различиями в грамматическом роде.

1. Существенным фактом истории славянского склонения является утрата осознания древнейшей основы. «В славянском склонении уже нет ни основы, ни формата, а есть только „окончания“, слагающиеся из элемента, взятого у основы, и остатков старого элемента формата, часто полностью измененных вследствие особых изменений конца слова»<sup>9</sup>. При этом совпадение некоторых падежных окончаний в основах, первоначально принадлежавших к разным классам, вызвало смешение типов склонения. Излагая вопрос о смешении существительных с основами на -о и на -й, Н. Ван-Вейк заметил, что для некоторых из этих имен «даже невозможно установить ископное окончание»<sup>10</sup>. Поэтому окончания существительных уже не мотивированы в историческое время принадлежностью этих слов к древним классам; как полагает Н. Ван-Вейк, «можно... употреблять названия типов склонения, принятых индоевропейской грамматикой, но при этом надо помнить, что такие названия уже не отражают состояния славянского склонения»<sup>11</sup>.

Смысловая основа объединения существительных в группы с одинаковым типом склонения в старославянском уже не просматривается<sup>12</sup>. Лишь некоторые существительные, относящиеся к исчезающим типам склонения, можно представить в виде закрытых списков слов с более или менее однородными значениями. Ни один тип склонения не отличается в своей формальной парадигме (включая ед., мн. и дв. число) всех падежных форм от остальных типов: в каждой парадигме представлены формы, общие с формами каких-либо других типов склонения. Различиям ед. числа не соответствуют регулярно различия мн. и дв. чисел и наоборот.

В и м е н и т е л ь н о м п а д е ж е для каждой единицы числа отмечается собственная группировка окончаний: например, в ед. числе

<sup>7</sup> Г. Г л и с о н, указ. соч., стр. 138.

<sup>8</sup> Мысль о типах склонения имен существительных как источнике варьирования его единиц уже встречалась в научной литературе. Так, Н. Д. Арутюнова, иллюстрируя разницу между понятиями системы и структуры, замечает: «Для структуры латинского языка существенно наличие в нем пяти склонений имен и четырех спряжений глаголов. Однако система латинской грамматики несколько не изменилась бы, если бы эти части речи не распались на морфологические группы, а образовывали стандартные парадигмы» (Н. Д. А р у т ю н о в а, О значимых единицах языка, «Исследования по общей теории грамматики», М., 1968, стр. 104). Ср. также замечание С. Карцевского: «... одна и та же значимость внутри различных рядов может быть представлена разными знаками; ср. имя существительное множественного числа — *столаы, паруса, крестьяне* и т. д.» (С. К а р ц е в с к и й, Об асимметричном дуализме лингвистического знака, в кн.: В. А. З в е г и н ц е в, История языкознания XIX — XX веков в очерках и извлечениях, ч. II, 3-е изд., М., 1965, стр. 87).

<sup>9</sup> А. М е й е, Общеславянский язык, М., 1951, стр. 308.

<sup>10</sup> Н. В а н - В е й к, История старославянского языка, М., 1957, стр. 241.

<sup>11</sup> Там же, стр. 236.

<sup>12</sup> В частности, в этом плане интересен факт существования в древнеславянском существительных, тождественных по лексическому значению, но различающихся по типам основ (например, *блзнь* — *блзна* — *блзнь*). См. о них в работе: Л. А. Г л и н к и н а, О вариантных основах существительных (по «Материалам словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского), сб. «Вопросы истории и диалектологии русского языка», II, Челябинск, 1967.

существительное *пасаъ* можно объединить по характеру окончания с существительным *сынаъ*, но во мн. числе их окончания различаются; также и существительные *село* и *чѣло* объединяются по внешнему сходству их форм в ед. числе, но во мн. числе различаются. Наоборот, есть случаи, когда мн. число дает единую форму для различающихся в ед. числе существительных: так, внешне различные в своих исходных формах *пасаъ* и *коста* имеют в им. падеже мн. числа один и тот же тип окончания. В дв. числе в им. падеже наблюдается совпадение форм существительных, различающихся в ед. и мн. числе (например, *село*, *жена*). Обрисованное положение дел диктует особый способ описания вариантов. Представляется целесообразным установить типы существительных, представители которых отличаются по формальному признаку от прочих хотя бы в одном числе и падеже, обозначить условно каждый тип каким-либо одним входящим в него существительным (имея при этом в виду весь состав данного ряда), а затем установить для каждого числа в том или ином падеже группировки существительных-типов, объединяемые тождеством окончаний.

Сгруппируем теперь некоторое количество существительных-типов, привлекаемых здесь в иллюстративных целях, по признаку внешнего тождества их грамматических формантов в им. падеже. При объединении в группы принимается во внимание конечный гласный звук, мягкость или немаякость предшествующего ему согласного, а для существительных с древними основами на *-й*, *-й̄* и на согласные — суффикс основы в том виде, который имелся у этого суффикса в старославянском. Привлечение этого последнего показателя необходимо потому, что существуют варианты и с суффиксом, и без суффикса (например, *сыни* наряду с *сынске*, *камы* наряду с *камена*). В единственном числе получаются такие главные группы: /*пасаъ*, *ксинъ*, *сынъ*/; /*ножа*, *стаца*/; /*краи*/; /*село*, *чѣло*/; /*поле*, *жена*, *слоуга*/; /*земла*, *змиа*/; /*рабыни*/; /*лдии*/; /*пжтъ*, *дана*, *коста*, *камен*/; /*камы*, *цраки*/; /*има*, *агна*/; /*мати*/.

Во множественном числе группировки меняются за счет перехода тех же существительных-типов в другие соединения: /*пасаи*, *ксини*, *костѣ*, *пжти*, *дани*, *сыни*<sup>13</sup>/; /*ножи*, *стаци*/; /*краи*/; /*села*, *пола*/; /*жены*, *слоугы*/; /*земля*, *змиа*, *лдии*/; /*рабыни*/; /*сынске*, *сынски*/; /*пжтиѣ*, *даниѣ*, *камениѣ*/; /*матери*/; /*цракѣки*/; /*чѣла*/; /*имена*, *агната*, *данѣ*/.

В двойственном числе представлены новые группировки: /*паса*, *коина*, *сына*/; /*ножа*, *стаца*/; /*краи*/; /*селѣ*, *женѣ*, *слоузѣ*/; /*поли*, *земли*/; /*змии*, *лдии*/; /*рабыни*/; /*сыны*/; /*пжти*, *костѣ*, *дани*/.

Известны два основных вида варьирования: связанное и свободное. При связанном варианты каждой единицы находятся в отношениях дополнительной дистрибуции, т. е. каждый из алловариантов встречается в таких сочетаниях, в которых не встречается ни один из остальных алловариантов (иначе говоря, варианты этого вида взаимно исключают, но в то же время и взаимно дополняют друг друга при выражении единицы грамматического содержания). Свободное варьирование означающих не зависит от сочетаемости, т. е. осуществляется в условиях совпадающей дистрибуции<sup>14</sup>. Свободное варьирование может иметь место в условиях ограниченной совпадающей дистрибуции (частично свободная вариантность)<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Форма *сыни* отмечена в Зографском кодексе, Ио XII, 36, и в Синайской псалтыри, 135, 18.

<sup>14</sup> О делении вариантов на «связанные» («обусловленные») и «свободные» в связи с разными условиями дистрибуции см.: Л. Ельмслев, Прологомены к теории языка, сб. «Новое в лингвистике», I, М., 1960, стр. 338—339.

<sup>15</sup> См.: М. Д. Степанова Вопросы лексико-грамматического тождества, ВЯ, 1967, 2, стр. 91.

Варьирование окончаний в наших примерах отличается своеобразием: слова, представляющие один и тот же тип, входят в разные объединения в ед., мн. и дв. числе. И все же это, бесспорно, алловарианты, так как в пределах одной и той же единицы каждый из них исключает и в то же время дополняет другой.

В то же время заметны случаи свободного варьирования означающих относительно означаемых — грамматических единиц числа. «Хотя язык располагает обычно некоторым количеством „свободных“ вариантов, — пишет Н. Н. Семенюк, — употребление определенного варианта часто имеет известные ограничения»<sup>16</sup>. И действительно, свободное варьирование в большинстве случаев осуществляется в четко определяемых условиях (частично свободная вариантность или варьирование в рамках ограниченной дистрибуции). В ед. числе возможны и древняя форма *камы*, и более поздняя *камѣна*; во мн. числе существительное *сына* представлено свободными вариантами *сынокѣ*, *сынокси*, *сыни*, а в дв. числе — вариантами *сына* и *сынаи*; существительное *дѣна* во мн. числе встречается в формах *дѣни*, *дѣнине*, *дѣне*<sup>17</sup>. Перед нами свободное варьирование в лексически ограниченных рамках: диапазон варьирования может быть установлен по отношению к некоторой совокупности слов (лексем) или к отдельному слову. Колебания в выборе формы для одного и того же слова (или одной и той же группы слов) в конце концов приводят к сокращению общего числа алловариантов; как известно, существование колебаний такого рода было важным моментом в преобразовании славянского именного склонения.

Итак, имеются основания для того, чтобы констатировать в пределах грамматических единиц числа комбинированный характер варьирования форм существительных: «связанное» варьирование переплетается здесь со «свободным». Переплетение двух типов варьирования выражается в нарушении четкой обусловленности вариантов лексическими элементами: с одной стороны, один и тот же тип окончания может охватывать несколько существительных с разными лексемами (эти существительные зачастую принадлежат к разным историческим типам склонения), с другой же стороны, существительное с одним и тем же лексическим элементом может иметь разные типы окончаний. Н. Д. Арутюнова заметила, что в языке противостоят две силы. «Одна из них направлена на разобщение сторон знака... Под действием этой силы возникает варьирование знака, а следовательно избыточность языка как знаковой системы, присутствие в нем различий плана выражения, несоотнесимых с различиями плана содержания... Другая сила направлена на объединение сторон знака, на предотвращение их разрыва. Она проявляется в действии аналогии..., уменьшающей... избыточность языка (алломорфию)»<sup>18</sup>. Эта закономерность подтверждается и нашим материалом. Можно лишь добавить, что разобщение и объединение сторон знака следует понимать как основные направления развития, как результаты длительного исторического процесса<sup>19</sup>.

Передают ли различия окончаний самих имен существительных в пределах одной и той же единицы какую-либо разницу в грамматическом

<sup>16</sup> Н. Н. Семенюк, Некоторые вопросы изучения вариантности, ВЯ, 1965, 1, стр. 51.

<sup>17</sup> В некоторых случаях приходится говорить о формах отдельных существительных, а не целых лексических рядов, так как смешение окончаний начинается с индивидуальных случаев, с отдельных слов.

<sup>18</sup> Н. Д. Арутюнова, указ. соч., стр. 94—95.

<sup>19</sup> См. об этом, например, в работах: Г. Глисон, указ. соч., стр. 380; А. Мартинье, Структурные вариации в языке, «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 450—464; Н. Н. Семенюк, указ. соч., стр. 48—55.

содержании или они семантически пусты? На первый взгляд эти различия кажутся не подкрепленными смыслом, тем более, что одно и то же существительное в разных числах и падежах способно вступать в разные соединения с другими именами, что как будто бы исключает наличие постоянных мотивов объединения. И все же семантика проступает, хотя и очень слабо, на одном из участков этого уровня: названия лиц в им. падеже мн. числа спорадически принимают окончание *-ске* (см., например, *испске Син. евх. 49, 11; асухске Супр. 210, 1*) (а в дат. падеже ед. числа — окончания *ски-, -еки*, например, *иьки Лука VI, 11; мжжеки Лука I, 27 Мар., Зогр.*).

2. Варьирование следующего уровня в им. падеже достигается за счет тех лексико-грамматических разрядов имени существительного, которые называются родовыми классами. Мотивы разбиения на родовые классы ясны в отношении одушевленных существительных, все же остальные «противопоставляются друг другу по грамматическому роду только в силу вековой традиции»<sup>20</sup>. Формальные различия родовых классов существительных находятся за пределами слов этого класса — они выражаются согласованными с ними формами слов, посредством которых все имена существительные делятся на три больших разряда. Как известно, родовые показатели согласованных форм частично совпадают с окончаниями существительных, частично же не совпадают. Существительные с одним и тем же типом окончания могут относиться к разным родовым классам (*нжтѣ, ксгтѣ*). Материально тождественные существительные (например, *гасуга м.р.* и *гасуга ж.р.*) могут принадлежать к разным родовым классам. Деления существительных по грамматическому роду местами разрывают группы, объединяемые тождеством окончаний, и создаются новые деления существительных на группы в пределах единиц числа. Это говорит об известной независимости двух серий вариантов в пределах каждой единицы: серии, определяемой тождеством окончаний существительных-типов и серии, определяемой грамматическим родом.

Существенно, однако, не только то, что при разделении на родовые классы рассекается разделение по типам окончаний существительных, но и то, что в пределах каждой единицы теперь наблюдается группа новых вариантов, вариантов окончаний согласуемых форм. Так, у имен прилагательных кратких в ед. числе *-ъ* или *-ь* для муж. рода, *-а* или *-а* для жен. рода, *-о* или *-е* для ср. рода; во мн. числе *-и* или *-и* для муж. рода, *-ы* или *-а* для жен. рода, *-а* или *-а* для ср. рода; в дв. числе *-а* или *-а* для муж. рода, *-ѣ* или *-и* для жен. рода, *-ѣ* или *-и* для ср. рода. Действительно, эти форманты, входящие в состав прилагательных, на самом деле состоят на службе существительных, обеспечивая их разбиение на родовые классы, и варьирование этих формантов имеет непосредственное отношение к материальной репрезентации единиц существительного.

Показатели родовых классов существительных заключены также в окончаниях других частей речи, выступающих в качестве согласуемых определений: неличных местоимений, согласуемых в роде слов, обозначающих числа, склоняемых причастий настоящего времени, действительных и страдательных.

Род существительного-подлежащего повторяется в формантах родоизменяемых частей сказуемого. В составном именном сказуемом именная часть, выражаемая (со связкой или без нее) краткой формой прилагательного, причастием действительного или страдательного залога, сохранившим адъективное свойство изменения по родам, ориентируется на грам-

<sup>20</sup> А. Мейе, Сравнительный метод в историческом языкознании, М., 1954, стр. 79.

матический род существительного-подлежащего и одновременно определяет его род. Ориентация на род подлежащего существует и у форм несклоняемого действительного причастия прошедшего времени на *-л-*, входящего в состав сложных глагольных времен (перфекта, плюсквам-перфекта, будущего второго), а также у форм условного наклонения.

Синтагматические границы единиц числа, таким образом, раздвигаются: в них включаются форманты согласованных с существительными форм, представленные присущими для них родовыми вариантами.

Описание разбиения существительных по родам на основе особенностей согласования было бы слишком громоздким, если бы мы включили в него все согласуемые с существительным части речи со всем разнообразием их форм. Поэтому в целях простоты и удобства описания разбиение существительных-типов по родам дается ниже только в сопровождении согласуемых с существительными кратких прилагательных, которые здесь как бы представляют формы всех согласуемых с существительными частей речи.

Разбиение существительных-типов на группы выглядит теперь следующим образом:

**Единственное число.** Мужской род: при окончаниях прилагательных *-ъ* или *-ь* (*добръ, сийъ*) выделяются имена существительные-типы: / *плада, коина, сынъ / ножа, отаца / краи / пжга, камена, дана / камы / слоуга м.р.* / Женский род: при окончаниях прилагательных *-а* и *-а* (*добра, сийа*) выделяются имена существительные-типы: / *жена, слоуга ж. р. / зэмла / змла / рабыи / лдди / когъ / мати / цраки* /. Средний род: при окончаниях прилагательных *-о* или *-е* (*добро, сийе*) выделяются имена существительные-типы: / *село, т'сло / поле / има, агна* /.

**Множественное число.** Мужской род: при окончаниях прилагательных *-и* или *-и* (*добрн, сийн*) выделяются имена существительные-типы: / *пладн, коинн, пжтн, данн, синн / ножи, отаци / краи / сыноке / пжтне, динне, каменные / сыноки / дане / слоугы м.р.* / Женский род: при окончаниях прилагательных *-ы* или *-а* (*добры, сийа*) выделяются имена существительные-типы: / *жены, слоугы ж. р. / зэмла / змла, лдди / рабыи / кости / матери / цракы* /. Средний род: при окончаниях прилагательных *-а*, *-а* (*добра, сийа*) выделяются типы имен существительных: / *село / т'села / имена / агната / пола* /.

**Двойственное число.** Мужской род: при окончаниях прилагательных *-а* или *-а* (*добра, сийа*) выделяются имена существительные-типы: / *плада, коина / ножа, отаца / краи / сыны / пжти, данн* /, *слоуѣт м.р.* / Женский род: при окончаниях прилагательных *-ѣ* или *-и*, (*добрѣ сийи*) выделяются имена существительные-типы: / *женѣ, слоуѣт ж. р. / зэмли / зми, лдди / рабыи / кости* /. Средний род: при окончаниях прилагательных *-ѣ* или *-и* (*добрѣ, сийи*) выделяются имена существительные-типы: / *селѣ / пола / т'селе / именѣ / агнатѣ / т'сели* /.

Алловарианты родовых классов, выраженные окончаниями прилагательных, в целом (об отклонениях будет сказано ниже) обусловлены типами окончаний существительных. Таким образом оказывается, что в пределах единиц числа формальные варианты уровня грамматического рода опираются на варианты более низкого уровня.

На уровне грамматического рода обнаруживается также и свободное варьирование. Как раз этот факт не позволяет при определении родовых классов довольствоваться только данными окончаний существительных, но предписывает обращаться с этой целью к формальным различиям согласованных определений. Мы уже упоминали о том, что к разным родам могут относиться существительные формально тождественные, но имеющие разные лексические морфемы (*пжга, когъ*), а также существитель-

ные формально тождественные и имеющие одинаковую лексическую морфему (слоуга м. р. и слоуга ж. р.). Явления этого рода кажутся помехами в регулярном и четком объединении существительных в родовые классы на основании одних только типов их окончаний. Ср. сходное положение на низшем уровне варьирования, где объединение существительных в группы с одинаковым типом окончания в целом зависит от характера лексического элемента, но некоторые существительные с одинаковыми лексическими элементами могут иметь разные типы окончаний.

Рассмотрение внешнего выражения единицы ед., мн. и дв. числа в им. падеже позволяет сделать вывод о том, что два вида лексико-грамматических разрядов имени существительного образуют в этой функции две входящие одна в другую серии вариантов грамматических единиц числа; обе серии организованы по единому принципу, допускающему два основных вида варьирования: связанное и свободное (частично свободное). Варианты единиц числа, конечно, не ограничены рамками одного им. падежа, но характерны, в других внешних проявлениях, и для прочих падежей.

**Б.** В винительном падеже как показателе особой синтаксической функции отмечается еще одна серия вариантов. Правда, варианты прослеживаются здесь не во всех трех единицах числа, но в пределах единицы ед. числа у существительных муж. рода, имеющих чаще всего род. падеж на *-a*, *-'a*. Существование этой серии вариантов обусловлено лексико-грамматическими разрядами «неличных» и «личных» существительных, которые внешне различаются в вин. падеже и собственными окончаниями, и окончаниями согласованных с ними определений. Именно, одни из них, «личные», принимают в вин. падеже окончания *-a*, *-'a* (внешне совпадающие в преобладающем количестве случаев с окончаниями их род. падежа), другие же, «неличные», сохраняют окончания *-ъ*, *-'ъ* (совпадающие с их окончаниями в им. падеже). Согласованные определения «личных» существительных принимают окончания, совпадающие с их окончаниями в род. падеже, а «неличных» — с их окончаниями в им. падеже. Внутри серий, обусловленных различиями «личных» и «неличных» существительных, сохраняется варьирование формантов имен существительных, обусловленное различиями эволюционировавших «типов склонения». К числу «личных» относятся прежде всего имена собственные, а затем некоторые (не все!) нарицательные, обозначающие лиц. При распределении существительных муж. рода на «личные» и «неличные» наблюдается множество отклонений от семантического принципа, множество колебаний, заключающихся в том, что существительные, обозначающие лиц, могут быть оформлены как неличные, а существительные «неличные» — как личные. Одно и то же существительное может быть оформлено и как «личное», и как «неличное». Поэтому точнее было бы констатировать наметившееся размежевание двух рассматриваемых лексико-грамматических разрядов, обуславливающих формальное варьирование единицы ед. числа в вин. падеже<sup>21</sup>. В плане изучения особенностей варьирования весьма важно то, что обязательная обусловленность формальных показателей типом лексической семантики существительных наблюдается не всегда, а это значит, что связанное варьирование и здесь переплетается со свободным, подобно тому, как это наблюдалось при организации групп

<sup>21</sup> Более подробно (с библиографией вопроса) см. об этом в работах: Cz. Bağcıoğlu, Związki czasownika z dopełnieniem w najstarszych zabytkach języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1964, стр. 72—73; К. И. Ходова, Лексико-грамматические разряды и грамматические единицы существительного в старославянском языке, «Советское славяноведение», 1974, 5, стр. 83—86.

существительных, объединяемых общностью их окончаний, а также и при организации родовых классов.

В границах того небольшого числа существительных, которые мы неизменно привлекаем в настоящей работе в иллюстративных целях, варьирование имеет в вин. падеже следующий вид.

Единственное число. Мужской род. При окончаниях согласованных прилагательных *a*, *-'a* (добрѣ, синѣ) (разряд личных существительных) формы имен существительных: / сына, сына / стаца /. При окончаниях прилагательных *-ъ*, или *-'ь* (добрѣ, синѣ) (разряд неличных существительных) формы имен существительных: / плсѣ, сынѣ / ножа / краи / пѣтъ, дамѣ / камѣнѣ /. Как можно видеть, существительное *сынѣ* в вин. падеже оформляется и по «личному», и по «неличному» типу (интересно, что в первом случае встречается форма *сына* на месте ожидающейся *сыноу*).

\*

Различия типов окончаний славянского существительного, а также различия по грамматическому роду и неличности-личности рассматривались здесь как варианты единиц плана содержания. Известные факты морфологии (которые здесь иллюстрируются только наиболее типичным, достаточным для выявления основных закономерностей материалом) интерпретируются с точки зрения учения о грамматических единицах языка. Лексико-грамматические разряды существительных — группировки по типам окончаний, грамматическому роду, неличности-личности — обуславливают количественную и качественную стороны варьирования грамматических единиц. Варьирование достигается не только за счет формантов самих существительных, но и за счет формантов согласуемых с ними форм других частей речи.

Предложенное истолкование роли лексико-грамматических разрядов в системе языка делает понятие единицы грамматической системы более осязаемым, овеществленным. Определенные факты морфологии, которые на первый взгляд кажутся разрозненными, становятся связанными между собой и известным образом причастными к системной организации языка; они полностью охватываются рамками противочленов грамматических оппозиций, занимают свое место в структуре языка, вписываются в нее, так что в морфологической сфере имени не остается участков, свободных от притяжения системы. Представляется в равной степени важным и описать морфологические особенности языка, и найти между ними внутреннюю связь.

Деление существительных на разряды не является полностью свободным от семантической стороны, от различий в семантическом содержании самих разрядов; эти последние различия известным образом перекрещиваются с семантическими различиями единиц системы<sup>22</sup>. Правда, применительно к лексико-грамматическим разрядам «можно говорить лишь о наличии или отсутствии различий между ними (а не об их противопоставленности) и об общем типе этих различий»<sup>23</sup>. И все же варианты не являются в подлинном смысле слова «формальными», лишенными собственного содержания.

Нельзя не обратить внимания на служебную разноплановость одного и того же форманта. Окончание существительного указывает, с одной стороны, на особый, проявляющийся через форму лексико-грамматического разряда, способ манифестации грамматической единицы (например,

<sup>22</sup> См.: К. И. Ходова, Лексико-грамматические разряды..., стр. 87—88.

<sup>23</sup> Н. Д. А р у т ю н о в а, указ. соч., стр. 103.

ед. числа), с другой же стороны — на синтаксическую функцию (например, прямого объекта), в рамках которой осуществляется эта манифестация<sup>24</sup>.

II. Имена существительные способны вступать не только в противопоставления по числу, но и в другие противопоставления, например, в локальные, темпоральные, причинно-следственные, выражаемые внешне преимущественно формами падежей с предлогами. Как же соотносятся между собой разнородные, взаимно пересекающиеся оппозиции одного и того же класса слов? Кажется, можно считать, что материальная репрезентация одной из таких оппозиций может служить источником вариантов другой и это соотношение взаимно. Действительно, в старославянском оппозиция, имеющая пространственное содержание и выражаемая предложно-падежными формами *въ + лок.*: *на + лок.*, которые передают различие полного ~ неполного включения в замкнутое пространство<sup>25</sup>, допускает формы и ед., и мн., и, вероятно, дв. числа, т. е. пересекается с оппозицией грамматического числа. Если отправляться от данной локальной оппозиции, то можно увидеть, что формы различного грамматического числа служат свободными вариантами каждой из единиц оппозиции локального содержания:

- а) *кз грѣвъ* Ио. XI, 17  
*зпѣштѣ кз грѣвъчхз* Син. пс. 115 б27  
 б) *на грѣвъ оушнѣти* Супр. 536,5  
 [на *грѣвъчхз*]

Здесь а) и б) — представленные вариантами грамматического числа единицы локального содержания, различающие полное ~ неполное включение предметов в замкнутое пространство (второй вариант второй единицы является искусственной реконструкцией).

Если же исходить от оппозиции грамматического числа, то формы выражения локальной оппозиции, привлеченной здесь в качестве примера, предстают в виде свободных вариантов единиц числа:

- а) *кз грѣвъ* Ио. XI, 17  
*на грѣвъ оушнѣти* Супр. 536, 5  
 б) *зпѣштѣ кз грѣвъчхз* Син. пс. 115 б27  
 [на *грѣвъчхз*]

Здесь а) и б) — представленные вариантами локального содержания единицы ед. и мн. числа. Варианты одной из оппозиций, представленные противочленами другой, сохраняют смысловое различие этих последних; иначе говоря, при пересечении оппозиций их содержание не разрушается и различия в содержании не сглаживаются; правда, одно содержательное различие, принимаемое в каждом отдельном случае за главное, выступает как будто бы на первый план, другое же, пересекающееся с первым, в данной ситуации воспринимается как менее существенное.

Если бы для иллюстрации использовалось не одно существительное *грѣвъ*, а несколько разных (например, *чѣлс*, *члскѣкз*, *члѣкина* и т. д.), то наряду с варьированием, вызванным пересечением оппозиций, здесь присутствовали бы также варианты другой плоскости и более низкого уровня, обусловленные различиями лексико-грамматических разрядов.

<sup>24</sup> А. Мартин обращает внимание на то, что в лат. *homini* «в амальгамированном виде» выражены, с одной стороны, функция датива, а с другой — понятие ед. числа. «В одном случае мы находим центробежную роль прикрепления к чему-то внешнему. В другом — центростремительную роль квалификации центрального элемента». Это различие квалифицируется автором как один из фундаментальных фактов всего синтаксиса. См.: А. Martinet, *Quelques traits généraux de la syntaxe*, «Free University Quarterly», VII, 2, August 1959, Amsterdam, стр. 9—10.

<sup>25</sup> К. И. Ходова, Падежи с предлогами в старославянском языке (опыт семантической системы), М., 1971, стр. 60—71.

Это значит, что пересечение оппозиций создает еще один уровень варьирования, надстраивающийся над уровнем вариантов, обусловленных различиями лексико-грамматических разрядов. На каждом из этих уровней варианты не полностью свободны — или же полностью несвободны — от собственных содержательных различий.

III. Грамматические синонимы представляют собой группы внешне различных, но функционально (со стороны содержания) тождественных форм. Это значит, что каждая форма синонимичной группы имеет одинаковый с каждой другой формой этой же группы набор семантических дифференциальных признаков, т. е. что эти формы функционируют наподобие вариантов, передающих одну и ту же единицу смысла. Отличие синонимов от подлинных вариантов, рассмотренных в предыдущих параграфах, заключается в том, что эти скопления семантически тождественных форм образуются на базе целостных единиц в результате утраты ими в некоторых специальных условиях семантических противопоставлений определенного типа. Поэтому грамматическая синонимия в предлагаемом здесь понимании является чаще всего следствием утраты противопоставлений одного уровня абстракции и появления противопоставлений другого уровня абстракции.

Например, при использовании форм, передающих локальные отношения, для выражения темпоральных отношений утрачиваются некоторые коррелятивные признаки пространственного содержания, так как темпоральные представления отличаются от локальных принципиальным, более абстрактным содержанием. В связи с этим формы, передававшие в локальном плане самостоятельные и противопоставленные друг другу единицы, перейдя в темпоральный план, попадают в рамки одной и той же единицы, становятся синонимами. Так формы *кз + лок.* и *на + лок.*, противопоставленные, как это только что было показано, в локальном плане, могут служить способами выражения одной и той же единицы, когда они употребляются для обозначения темпоральных отношений. Например, формы *кз + лок.* и *на + лок.* от существительного *житие*, если оно употреблено в темпоральном значении, равнозначны в следующих примерах: *кз неправдѣмъ жити не висте кѣрши Лука XVI, 11*, *Зогр. и мѣнѣшати на семѣ жити пакостѣ гѣоргаз еси Клоц. 9, 9*. В данном случае под влиянием определенных условий недифференцированно используются две формы, внешне соответствующие противопоставленным единицам<sup>26</sup>; эти формы как полностью тождественные по смыслу, входящие в состав одной и той же новой единицы, которая во всей своей совокупности противопоставляется некоей другой и цементируется этим противопоставлением<sup>27</sup>, можно считать грамматическими синонимами.

В нашем примере синонимы организованы, в пределах новой единицы смысла, наподобие свободных (частично свободных) вариантов: обе формы образуются от одного и того же существительного *житие*. Если привлечь для иллюстрации синонимических отношений несколько разных существительных (например, *кѣкз, данѣ, недѣмѣ*), внутри синонимичных форм можно было бы обнаружить варьирование, обусловленное, в известных границах, различиями лексико-грамматических разрядов. Если же при этом еще иметь в виду, что каждое существительное может быть употреблено в ед., мн. и дв. числе, то мы встретимся с вариантами, обусловленными оппозицией грамматического числа.

<sup>26</sup> Свободное использование нескольких форм — это лишь один из четырех установленных А. Мартине способов реализации «архимонем» (см.: А. Мартине, Нейтрализация и синкретизм, ВЯ, 1969, 2).

<sup>27</sup> Более подробно о противопоставлениях в сфере темпоральных отношений см.: К. И. Ходова, Надежды с предлогами в старославянском языке, стр. 124 и сл.

\*

В настоящей статье были показаны особенности материальной репрезентации грамматических единиц старославянского существительного. Связь означаемого и означающего осложнена в сфере этих единиц наличием множества форм, объединенных общим содержанием. У грамматических единиц числа план выражения представлен вариантами, образующими несколько связанных друг с другом уровней. Варианты создаются, во-первых, различиями лексико-грамматических разрядов существительных (это значит, что такие традиционные грамматические понятия, как тип окончания существительного, его грамматический род, неличность-личность, непосредственно причастны к выражению системных отношений и в системных описаниях могут выступать как уровни варьирования существительного), а во-вторых — различающимися формами соседних противопоставлений в сфере существительного. На всех уровнях варианты бывают либо связанными, либо свободными («частично свободными»); наблюдается комбинирование связанного и свободного типов варьирования. Каждый ряд или уровень вариантов одной и той же единицы может нести собственные различия в содержании, соответствующие, полностью или же частично, формальным различиям данного ряда (ср., например, различия по неличности-личности).

Репрезентация единиц существительного осуществляется, кроме того, посредством синонимов (ср. единицы темпорального содержания). В пределах синонимических рядов формальные различия не подкрепляются семантическими.

## ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

А. А. АЛЕКСЕЕВ

АКАДЕМИК А. И. СОБОЛЕВСКИЙ—ИСТОРИК РУССКОГО  
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Язык письменных памятников, созданных и бытовавших в России на протяжении тысячелетней истории русской письменности, стал предметом изучения с первых шагов славяно-русской филологии. Однако попытки обобщения разнообразных знаний, которые давало изучение текстов, относятся к более позднему периоду.

Заслуга создания университетского курса истории русского литературного языка принадлежит В. В. Виноградову, опубликовавшему в 1934 г. «Очерки по истории русского литературного языка» (2-е изд.—1938), которые явились «первой попыткой уложить в систему сложный и разнообразный языковой материал, относящийся к истории русского литературного языка XVIII и XIX в.»<sup>1</sup>

Впрочем предмет истории русского литературного языка, под которым необходимо подразумевать опыты по осмыслению путей и итогов исторического существования языка русской письменности, имеет более отдаленные истоки. Выяснению этих истоков, а также истории изучения русского литературного языка посвящена обширная работа В. В. Виноградова и статья В. Д. Левина и А. Д. Григорьевой<sup>2</sup>. К сожалению, в них не затронут вопрос о времени возникновения понятия «русский литературный язык», что немаловажно при определении момента, к которому можно отнести начало истории русского литературного языка как науки. Не имея возможности решить здесь этот вопрос, отметим, что слово «литературный» с некоторых пор стало попадать в заголовки языковедческих сочинений. Ср.: «Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII веке» П. Житецкого (1889), «Главнейшие течения в русском литературном языке» Е. Ф. Карского и «Церковнославянские элементы в современном литературном и народном русском языке» С. К. Булича (1893), «Из истории русского литературного языка конца XVIII и начала XIX века» (1901) и «Очерк истории современного литературного русского языка» (1908) Е. Будде. Среди этих работ необходимо упомянуть и скромную по размеру лекцию акад. А. И. Соболевского «Русский литературный язык», прочитанную в 1903 г.<sup>3</sup>, а также его речь в собрании Академии наук

<sup>1</sup> В. В. Виноградов, Русская наука о русском литературном языке, «Уч. зап. МГУ», т. III, кн. 1, вып. 106, 1946, стр. 141.

<sup>2</sup> В. В. Виноградов, Русская наука...; В. Д. Левин, А. Д. Григорьева, Вопрос о происхождении и начальных этапах русского литературного языка в русской науке XIX века, «Уч. зап. Моск. гор. пед. ин-та им. В. П. Потемкина», 51, 1956.

<sup>3</sup> «Труды I съезда преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях». Приложение 1, СПб., 1904, стр. 363—370.

«Ломоносов в истории русского языка» (СПб., 1911), близко примыкающую по содержанию к названной лекции.

И тут и там А. И. Соболевский указывает на письменное двуязычие Древней Руси (где церковнославянский язык на болгарской языковой основе был противопоставлен деловому языку на собственно русской языковой основе), замененное в XVIII в., благодаря усилиям Тредиаковского и Ломоносова, новым литературным языком, в котором церковнославянский и народный русский элементы распределены были каким-то иным образом, чем в предшествующий период. Едва ли было возможно предположить, что эти два выступления представляют собой самый сжатый конспект обширного систематического изложения истории русского литературного языка. Между тем, это так, как показывает обнаруженная недавно рукопись, которая в числе нескольких других рукописей А. И. Соболевского сохранилась в архиве Н. Л. Туницкого, известного русского слависта (Личный архив Н. Л. Туницкого, содержащий большое число завершенных, но неопубликованных работ, погиб в 1941 г., чудом уцелела большая зеленая папка с рукописями А. И. Соболевского).

Ввиду важности этой находки приводим здесь краткое описание обнаруженных рукописей А. И. Соболевского<sup>4</sup>.

1. «Новые славяно-скифские этюды», 13 лл. Подписано: «А. Соболевский. Москва. 10.V.1929», следовательно, работа закончена за 16 дней до смерти. Ср. опубликованные в течение 20-х годов в ИОРЯС «Русско-скифские этюды», «Новые русско-скифские этюды», «Славяно-скифские этюды».

2. Этимологические заметки о слове *русь*, 14 лл. Неозаглавлено, неокончено. Писалось между 1927 и 1929 гг. Кое-что из этой рукописи попало в «Славяно-скифские этюды» (см. «Известия по русскому языку и словесности», 2, кн. 1, 1929, стр. 159—162). Согласно А. И. Соболевскому, вульгарное греч. *Ῥῶς* служило обозначением Таврии, затем было перенесено на киевских славян, занявших полуостров.

3. Черновики для предыдущего, 4 лл.

4. Этимологические заметки, 4 лл. Содержат черновые варианты для статьи «Несколько замечаний о заимствованных словах (по поводу книги А. Стендер-Петерсена)» («Slavia», 8, 1929, стр. 489—492).

5. Отрывок, 2 лл. Критика на книгу И. А. Шляпкина «Св. Димитрий Ростовский и его время», СПб., 1891. Как известно, А. И. Соболевский выступил официальным оппонентом на магистерской диссертации И. А. Шляпкина. Отчет о защите с изложением выступления А. И. Соболевского см.: «Историческое обозрение», 2, СПб., 1891, стр. 177—181.

6. «Древняя Москва», 23 лл. Историко-филологический обзор первых сведений о Москве.

7. «Начало Москвы», 23 лл. Рукопись 20-х годов, отчасти совпадает с предыдущей.

8. Выписки из рукописей Публичной библиотеки и старопечатных книг, 8 лл.

9. Наконец, последняя рукопись, которая явится предметом более подробного анализа в настоящей статье. Рукопись состоит из 182 пронумерованных листов in folio, исписанных как правило с лицевой стороны; в некоторых случаях заполнены и обороты, имеются вставные дополнительные листы, так что общий объем рукописи составляет приблизительно

<sup>4</sup> Считаем своим приятным долгом выразить глубокую признательность А. Н. Туницкому, сыну покойного слависта, за предоставление нам возможности изучать эти материалы. Необходимо отметить, что именно А. Н. Туницкий спас эти рукописи из разрушенного бомбой дома и сохранил их в дальнейшем. 11 декабря 1974 г. рукописи были переданы А. Н. Туницким в дар Архиву Академии наук в Ленинграде.

7 п. л. Рукопись писана черными чернилами, пагинация — синим карандашом. На полях имеются дополнительные заметки синим и простым карандашом, карандашом же перечеркнуты местами довольно обширные куски текста. Рукопись обернута в лист, на котором написано рукою Н. Л. Туницкого (?) «История русского литературного языка» и — уже безусловно Н. Л. Туницким — «В случае моей смерти передать Соболевской» (эти слова дважды повторены на самой папке, в которую помещены все рукописи).

Перечисленные работы оказываются первым рукописным наследством А. И. Соболевского научного характера, с тех пор как в 1918 г. пропал его архив. Государственные хранилища (Архив АН СССР, ЦГАЛИ, ЛГИА) содержат лишь письма и различного рода официальные документы, касающиеся жизни А. И. Соболевского<sup>5</sup>.

Обращаясь непосредственно к последней из названных рукописей А. И. Соболевского, озаглавленной «История русского литературного языка», прежде всего отметим, что авторство А. И. Соболевского устанавливается как по почерку, так и по содержанию (между прочим, значительное число фраз лекции «Русский литературный язык» полностью совпадает с фразами настоящей рукописи). Стиль изложения, методичность и последовательность с полной убедительностью говорят о том, что рукопись представляет собою запись университетского лекционного курса. Время составления курса — начало 90-х годов XIX в. *Terminus post quem* — это 1889 г.: на л. 1 говорится о книге П. Житецкого «Очерк литературной истории малорусского наречия», изданной в Киеве в 1889 г., как о «только что вышедшей в свет». С меньшей определенностью можно заключить, что *terminus post quem non* — это 1893 г., когда А. И. Соболевский выступил на съезде археологов в Вильне с обоснованием своего знаменитого лексического критерия в определении восточнославянских оригиналов церковнославянских текстов<sup>6</sup>. Упоминание об этом критерии есть и в курсе, но здесь этот вопрос изложен беднее и бледнее, являясь как бы черновым наброском будущего доклада. Заметим также, что ссылки на научную литературу 90-х годов отсутствуют. Встречающиеся кое-где стилистические поправки карандашом, заметки на полях говорят о втором этапе работы над текстом. Однако предпринятие не было доведено до конца: несколько мелких разделов, намеченных к разработке, как это видно из заметок на полях (например, язык Уложения 1649 г.), так и не были сделаны. Курс этот, по всей вероятности, никогда не читался студентам Санктпетербургского университета<sup>7</sup>.

Содержание курса «История русского литературного языка»:

1. Введение. Определение понятий, лл. 1—2.
2. Языковая ситуация в Древней Руси, л. 2 [См. лекцию «Русский литературный язык», стр. 363—365].
3. Церковнославянский язык и особенности древних переводов богослужебных и библейских книг, лл. 3—7 [Раздел перечеркнут карандашом. Сходный по содержанию пассаж содержится в курсе А. И. Соболевского «Славяно-русская палеография», СПб., 1908, стр. 93—94].
4. Язык житий, слов, поучений; язык хронографов, лл. 8—11.
5. Особенности русского извода церковнославянского языка, лл. 11—14 [Ср. «Славяно-русская палеография», стр. 82—83].

<sup>5</sup> См., в частности, вкн.: «Материалы по истории Ленинградского университета», Л., 1961.

<sup>6</sup> А. И. Соболевский, Особенности русских переводов домонгольского периода, «Труды IX Археологического съезда в Вильне», 2, М., 1897.

<sup>7</sup> Лекционные курсы А. И. Соболевского в Санктпетербургском университете названы Т. А. Ивановой. См.: «Русское языкознание в Петербургском-Ленинградском университете», Л., 1971, стр. 48.

6. Местные особенности церковнославянского языка по русским землям, лл. 14—16 а [Ср.: «Славяно-русская палеография», стр. 83—85].
7. Постановка обучения в Древней Руси, л. 16 б.
8. Церковнославянский язык как языковой идеал для русских писцов. Еще о местных особенностях, лл. 16 а — 18.
9. Хорошее и плохое знание церковнославянского языка. Трудности в различении церковнославянских текстов по их происхождению, лл. 18—19 [Ср.: «Судьбы церковнославянского языка». Лекции проф. А. И. Соболевского, СПб., 1891 (Литография), стр. 21—22].
10. Язык переводов, выполненных в Древней Руси. Лексический критерий, лл. 20—21 [Ср.: А. И. Соболевский, Древнерусская переводная литература, СПб., 1892/3 уч. год. (Литография), стр. 8—11, а также названный доклад «Особенности русских переводов домонгольского периода»].
11. Церковнославянский язык русского извода, лл. 22—23.
12. Деловой язык домонгольской Руси, лл. 23—24 [Ср. в лекции «Русский литературный язык», стр. 366].
13. Политические обстоятельства татарского нашествия. Обзор местных литератур, лл. 25—31 [Часть этого раздела составляет заметка А. И. Соболевского «Остатки библиотеки XIII века», «Библиограф», 1889, стр. 144—145].
14. Язык Москвы, лл. 32—33 [Ср.: «Славяно-русская палеография», стр. 89—90].
15. Язык Новгорода, его падение, лл. 33—38 [Ср.: «Славяно-русская палеография», стр. 88—89].
16. Язык Пскова, его падение, лл. 38—41 [Ср.: «Славяно-русская палеография», стр. 89].
17. Усиление различий между русским и церковнославянским языками, лл. 41—42 [Ср.: А. И. Соболевский, Южно-славянское влияние на русскую письменность в XIV—XV веках, Сб. ОРЯС, 74, 1903. Разумеется, изложение в курсе еще очень далеко от замечательных наблюдений и мыслей доклада 1894 г.].
18. Язык северо-восточной Руси. Образованность, лл. 41—46.
19. Деловые языки северо-восточной Руси, лл. 46—48 [Ср.: «Славяно-русская палеография», стр. 91—93].
20. Языковые особенности юго-западной Руси. Письменность западной Руси в XII—XIV вв., лл. 49—52 [Ср.: «Славяно-русская палеография», стр. 90—91].
21. Письменность западной Руси в XV—XVI вв.: Библия Скорины, сборник Залусского, Познанский сборник, лл. 53—60 [Ср. в рецензиях А. И. Соболевского на книгу Е. Ф. Карского «Обзор звуков и форм белорусской речи» (ЖМНП, 1887, 5, стр. 137—147) и на книгу П. В. Владимирова «Доктор Франциск Скорина, его перевод, печатные издания и язык» (ЖМНП, 1888, 10, 321—332)].
22. Историческая обстановка и письменность западной Руси XVI—XVII вв.: Супрасльский сборник, Лютеранский катехизис 1562 г., Евангелие Тяпинского, Учительное евангелие 1616 г., лл. 61—66 [Литература та же, что и для предыдущего пункта].
23. Западно-русский деловой язык, лл. 67—72 [Ср.: А. И. Соболевский, Смоленско-полоцкий говор в XIII—XV вв., РФВ, XV, 1886, стр. 7—26].
24. Историческая обстановка в южной Руси, лл. 72—76.
25. Галиция и Волынь в XII—XIV вв. Малорусский язык в XV в., лл. 77—82 [Ср.: А. И. Соболевский, Очерки из истории русского языка, Киев, 1884, стр. 1—69].
26. Деловой язык Галиции и Волыни, лл. 83—85 [Ср.: А. И. Соболевский, Очерки..., стр. 59—64].

27. Южная Русь в XVI—XVII вв. Образованность, лл. 85—91 [Ср.: «Судьбы церковнославянского языка», л. 25—29].
28. Язык литературных произведений в Малоруссии XVI—XVII вв., лл. 92—96.
29. Народный язык в малорусской письменности, лл. 97—98.
30. Язык ученых книг южной Руси, лл. 99—100.
31. Польский язык в южной Руси, л. 101.
32. Сношения южной Руси с Москвою в XVII в., лл. 102—108.
33. Малорусские писатели середины и конца XVII в., лл. 108—111.
34. Письменность в Киеве в XVIII в., лл. 111—114.
35. Церковнославянский язык в Москве в XVII в., лл. 115—118.
36. Язык русских повестей XVII вв., лл. 118—122 [Ср.: А. Соболевский, Светская повесть и роман в древнерусской литературе, «Университетские известия», 1883, 1, Киев, стр. 33—43].
37. Язык народной словесности XVII в., л. 123.
38. Развитие литературного языка на народной основе, лл. 124—129.
39. Церковнославянский язык Петровской эпохи, лл. 130—133.
40. Повести и переводы Петровского времени, лл. 133—134.
41. Деловой язык Петровского времени, лл. 135—139 [См.: «Русский литературный язык», стр. 366—367].
42. Язык письменности старообрядцев, л. 140.
43. Язык 30—40-х годов XVIII в., лл. 141—142.
44. Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков, лл. 143—149 [См.: «Ломоносов в истории русского языка»].
45. Язык второй половины XVIII в., лл. 150—153 [См.: «Русский литературный язык», стр. 368—369].
46. Карамзин и Шишков, лл. 154—158 [См.: «Русский литературный язык», стр. 369].
47. Архаизмы, Пушкин, Лермонтов, лл. 158—159.
48. Литературный язык и московский говор, лл. 160—161 [Ср.: «Русский литературный язык», стр. 370].
49. Изображение народной речи в русской литературе, лл. 161—167.
50. Судьбы малорусского литературного языка, лл. 167—182 [Раздел отчасти отражен в заметке А. И. Соболевского «К юбилею И. П. Котляревского», «Библиограф», 1889, стр. 189—195].

Итак, курс хронологически охватывает время от митрополита Иллариона до поэта Надсона. Из 182 нумерованных листов на домонгольский период приходится 24, на московскую Русь XIV—XVI вв. — 24, на юго-западную письменность — 65, на Москву XVII в. — 15, на Петровскую эпоху — 10, на все последующие события — 20 л. Два последних раздела — «Изображение народной речи в русской литературе» и «Судьбы малорусского литературного языка» — носят характер более или менее самостоятельных экскурсов. Распределение материала в этом курсе довольно традиционно для старой филологии с ее особым вниманием к более древним периодам, и все же бросается в глаза обширность раздела, посвященного письменному языку юго-западной Руси, в настоящее время вообще, как правило, не попадающему в обзорные курсы истории русского языка.

Здесь, как и в других работах А. И. Соболевского, заметны основательные исторические познания автора, идущего к толкованию духовной и идеологической жизни из конкретных исторических условий, глубокое и осторожное проникновение в существо предмета, интерес к реконструкции психологических представлений прошлого, чтобы в них искать *spiritus movens* языковых изменений. Как видно из наших сопроводительных примечаний, многие темы привлекали внимание А. И. Соболевского задолго до создания этого обобщающего курса, другие стали предметом его

разработки позже, третьи не были — или почти не были — затронуты в дальнейших его трудах, так что эти лекции представляют собой единственный или важнейший источник для изучения взглядов А. И. Соболевского по таким, например, вопросам истории русского литературного языка, как взаимоотношения московского и малорусского вариантов церковнославянского языка, как процессы XVII в., приведшие к созданию современного русского литературного языка.

Обнаружение этого курса позволяет иначе строить историю нашей науки, а также в известной мере отвести упреки В. В. Виноградова, писавшего в 1938 г., что «дореволюционная русская филология меньше всего уделяла внимания истории литературного языка новейшего времени. Не было даже курса истории русского литературного языка в кругу университетского преподавания...»<sup>8</sup>. Курс истории русского литературного языка А. И. Соболевского, несмотря на давность своего возникновения и несмотря на то, что сам автор так и не нашел возможным представить его научной общественности, имеет важное научно-педагогическое значение и сегодня. На разборе этого последнего положения мы остановимся подробнее.

Прежде всего следует отметить, что к концу 80-х годов прошлого века А. И. Соболевский стал крупнейшим знатоком славяно-русского рукописания<sup>9</sup> и, как кажется, не был никем превзойден в этом отношении за все последующее время. В этом курсе, так же как в «Лекциях по истории русского языка», А. И. Соболевский представляет результаты своих собственных работ над рукописным материалом с критическим использованием существующих изданий<sup>10</sup>. При этом интерпретация языковых фактов целиком принадлежит А. И. Соболевскому, а не является, как это довольно обычно для обобщающих курсов, заимствованной из тех или иных исследований. Этим обеспечивается гармония между языковыми явлениями, которые выступают как посылки силлогизмов, и филологическими и историко-лингвистическими обобщениями, которые в качестве синтеза выводятся тою же рукою, которая выбрала и распределила явления.

Рассмотрим основные понятия и положения курса.

1. Свой предмет А. И. Соболевский определяет следующим образом: «Благодаря почти полному отсутствию разработки мы не имеем установленного понятия даже о том, что такое наш литературный язык. Прежде всего должно сказать, что литературный язык народа и просто язык народа часто не совпадают друг с другом. Германия в средние века, да и в течение нескольких столетий нового времени, употребляла для литературных произведений мертвый язык латинский, не имевший с немецким ничего общего. Нынешние греки стараются употреблять для литературных произведений древний греческий язык, фукидидовский, хотя их народный язык уже настолько изменился и настолько стал отличен от языка древних аттиков, что простолюдин не в состоянии понимать написанную литературным языком книгу. Далее, не излишне заметить, что под литературным языком мы будем разуметь не только тот язык, которым писались и пишутся произведения литературы, в обычном употреблении этого слова, но вообще язык письменности. Таким образом, мы будем говорить не только об языке поучений, летописей, романов, но и об языке всякого рода документов вроде купчих, закладных и т. п., не только о

<sup>8</sup> В. В. Виноградов, *Очерки...*, 2-е изд., стр. 3.

<sup>9</sup> К такому мнению, во всяком случае, пришел А. А. Шахматов. См.: сб. ОРЯС, 70, 1902, стр. XXVII.

<sup>10</sup> Из изданий прежде всего нужно указать «Историческую хрестоматию» Ф. И. Буслаева, библиографические описания рукописей И. И. Срезневского, издания грамот (они охарактеризованы среди источников в «Лекциях» А. И. Соболевского).

языке произведений, написанных или переведенных в России, но и о языке произведений, составленных и переведенных вне России, но обращавшихся в России, вроде евангелия, апостола, богослужебных книг, творений отцов церкви» (лл. 1—2). Как видно, это понятие литературного языка полностью совпадает с понятием письменного языка, так что А. И. Соболевский последовательно вплоть до XVIII в. рассматривает параллельно церковно-богослужебные, беллетристические и деловые тексты. Начиная с Тредиаковского, однако, речь идет только о произведениях художественной литературы. Делается ли это потому, что язык художественной литературы нового времени является наиболее авторитетным выразителем (репрезентантом) литературного языка в многообразии его стилей, или потому, что вообще при рассмотрении языка нового времени склонность игнорировать различие между языком художественной литературы и литературным языком оказывается преобладающей, — затруднительно решить. Отметим, однако, что в «Очерке» Е. Ф. Будде, вышедшем много позже, вообще как будто не предусматривается возможность функционирования литературного языка вне художественной литературы. Приведенное выше определение предмета в этом курсе не позволяет считать, что А. И. Соболевский не различал этих двух важных понятий, но вместе с тем необходимо признать, что полной ясности в этом вопросе нет, и в дальнейшем это будет еще раз подтверждено.

2. Для всего периода XI — XVII вв. А. И. Соболевский устанавливает наличие письменного двуязычия: «Рядом с церковнославянским языком старая Русь употребляла народный живой русский язык, и памятники последнего параллельно с памятниками первого тянутся издревле до новейшего времени» (л. 2). Церковнославянский язык, южнославянский по своей языковой основе, появился в России вместе с церковной письменностью. А. И. Соболевский не считал необходимым рассуждать о диалектной основе этого языка: «для нас важно только то, — говорит автор, — что он (церковнославянский язык. — А. А.) был употреблен Кириллом и Мефодием для переводов с греческого и что после Кирилла и Мефодия он сделался литературным языком сперва Болгар, потом Сербов и Русских» (л. 3). Это высказывание, настойчиво повторявшееся А. И. Соболевским (см. «Русский литературный язык», «Судьбы церковнославянского языка» и др.), позволяет думать, что церковнославянский язык мог представляться ему не в виде какого-либо южнославянского диалекта, получившего привилегию на письменно-литературное употребление, а в виде продукта совместной деятельности всех славянских племен (ср., в частности, его особый интерес к моравизмам в церковнославянских памятниках). Сходная мысль о наддиалектном характере древнеславянского литературного языка становится сейчас все более популярной в среде историков литературного языка<sup>11</sup>.

Вообще, изучение взглядов А. И. Соболевского, высказанных до того, как история русского литературного языка получила свою теорию и свои «проклятые» вопросы, представляет интерес и с точки зрения разработки этих вопросов. Именно поэтому необходимо признать важным замечание А. И. Соболевского о том, что язык церковнославянских текстов, пришедших на Русь, воплощал в себе языковой идеал, к которому стремились русские писцы, переводчики, авторы оригинальных сочинений. Этим обусловлены трудности при определении места создания текста, поскольку

<sup>11</sup> См., например: Л. П. Жук о з с к а я, О некоторых проблемах истории русского литературного языка древнейшего периода, ВЯ, 1972, 5, стр. 74; Р. И. А в а н е с о в, К вопросам периодизации русского языка, «Славянское языковедение. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации», М., 1973, стр. 6; Ф. П. Ф и л и н, Об истоках русского литературного языка, ВЯ, 1974, 3, стр. 9—11.

ку болгаризмы могли быть внесены русским по происхождению автором, а русизмы могли появиться и в болгарском тексте, коль скоро он был переписан на Руси или русским. Для нас отсюда следует также важное методологическое соображение о невозможности исключить из рассмотрения при построении истории русского литературного языка тексты церковных, пришедших на Русь со славянского юга, особенно если своим происхождением они обязаны Кириллу и Мефодию<sup>12</sup>. Рассматривая язык митрополита Иллариона, епископа Кирилла Туровского, нельзя отбрасывать новозаветные тексты, тексты слов Иоанна Златоуста, Василия Великого и др., переведенные (либо созданные, как это будет, например, с сочинениями Иоанна экзарха Болгарского) хотя не в России, но, во-первых, вошедшие в основной фонд древнерусской литературы, а, во-вторых, обладавшие наивысшим языковым престижем<sup>13</sup>.

Далее А. И. Соболевский указывает на наиболее регулярные языковые черты церковнославянских текстов русского извода и отмечает, что со временем — по мере грамматических и лексических изменений русского языка — церковнославянский язык становится непонятен и требует непрременной выучки для чтения и писания на нем. Эти указания идут вполне в русле «Мыслей об истории русского языка» И. И. Срезневского, здесь еще нет и намека на изменение самого церковнославянского языка, изменение, последовавшее в результате второго южнославянского влияния.

Язык деловых памятников, особенно «Русской правды», А. И. Соболевский считает почти адекватным отражением живой восточнославянской речи, хотя и здесь он отмечает черты традиции, а также те черты, которые своим существованием были обязаны церковнославянскому влиянию. Особенности языка летописи А. И. Соболевский ставит в прямую связь с образованностью писца и с излагаемой темой: «Другие русские деятели (помимо митрополита Иллариона, епископа Кирилла Туровского. — А. А.) сравнительно слабо знали церковнославянский язык. Таковы все наши древние летописцы, таков Владимир Мономах, таков автор „Слова о полку Игореве“. Они старались писать по-церковнославянски, но отчасти не в состоянии были изложить на церковнославянском языке всего того, что хотели, отчасти не умели отличить церковнославянского от русского, и потому в их произведениях мы находим полное смешение церковнославянского элемента с русским, причем в одних местах летописи — в похвалах умершим, в благочестивых размышлениях, в молитвенных обращениях и т. п. — преобладает первый, в других — в описаниях сражений, в передаче разговоров — второй. Это смешение придает особый колорит языку летописей, „Почтения“ Мономаха, „Слова о полку Игореве“ (л. 22). На связь темы летописной записи с языком вновь обратил внимание только И. П. Еремин<sup>14</sup>, а лингвистически это стало изучаться И. С. Улухановым<sup>15</sup> и другими. Последние работы Т. Н. Кандау-

<sup>12</sup> Так, А. Бартошевич считает, что евангелия, псалтыри и т. п. «представляя собой механические списки со старославянских оригиналов и тем самым не могут привлекаться как образцовый материал при характеристике древнерусского литературного языка» («История русского литературного языка», ч. 1, Warszawa, 1973, стр. 39).

<sup>13</sup> Близко к этому высказанное недавно мнение о том, что норма древнерусского литературного языка складывалась под воздействием южнославянских образцов (см.: D. Freydanck, Ch. Fleckenstein, W. Voessk, Geschichte der russischen Literatursprache, Leipzig, 1974, стр. 35—36).

<sup>14</sup> И. П. Еремин, Киевская летопись как памятник литературы, ТОДРЛ, 7, 1947, стр. 67—97.

<sup>15</sup> И. С. Улуханов, Предлоги *предъ* — *передъ* в русском языке XI — XVII вв. «Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка», М., 1964, стр. 125—160, и др. работы.

ровой и Г. Хюттль-Ворт, показывающие, что в летописных текстах церковнославянские элементы могли не иметь стилистической маркированности<sup>16</sup>, звучат согласно с приведенным высказыванием А. И. Соболевского.

3. А. И. Соболевский говорит не только о двух письменных языках в древней Руси, он выделяет несколько местных вариантов этих письменных языков. Кроме новгородского, это открытое А. И. Соболевским несколько анее галицко-волыньское и псковское наречия древнерусского языка, а также киевское и ростово-суздальское. Последние два не имеют каких-либо ярких языковых черт. Смоленско-полоцкий диалект, за отсутствием достаточных данных от XI — XII вв., не получает здесь полной характеристики. «Славяно-русский язык церковнославянских текстов, — говорит А. И. Соболевский, — был различен в разных местах древней Руси XI—XIII вв. Причина этого заключалась в отсутствии на Руси этого периода, во-первых, выдающегося политического и литературного центра, во-вторых, училищ и учебных руководств по церковнославянскому языку. Политическое значение Киева, высокое при Владимире и Ярославе, пало при их преемниках, когда Русь разделилась на несколько удельных княжеств, бывших фактически независимыми от Киева и не признававших его главенства. Литературное значение Киева, несмотря на жительство в нем митрополита, на обилие и богатство его церквей и монастырей, на многочисленных грамотных, может быть даже ученых, людей, также не было признаваемо в других городах Руси, и, например, Новгород не обнаружил никакой склонности видеть в нем для себя литературный авторитет. Вследствие этого язык киевских церковнославянских текстов не получил значение образцового языка, не сделался общерусским и остался таким же провинциальным языком, как языки церковнославянских текстов новгородских, псковских, ростовских» (лл. 15—16а)<sup>17</sup>.

Деловой язык на собственно русской основе также имел местные особенности, более или менее отражавшиеся на письме, при этом «новгородский деловой язык был выразителем живого новгородского говора, московский — московского, псковский — псковского» (л. 46). Естественно, что особенное развитие деловой язык получил в западнорусских областях<sup>18</sup>.

Изложение этого предмета А. И. Соболевский резюмирует следующими словами: «Итак, домонгольская Русь не знала одного, общего ей всей, литературного языка. Она употребляла два языка: один, церковнославянский, для собственно литературных произведений, другой, чистый русский, для деловой письменности. Эти два языка делились каждый на несколько второстепенных, местных, которые были различны в разных ме-

<sup>16</sup> Из работ Т. Н. Кандауровой особо см.: «О случаях параллельного употребления неполногласных и полногласных слов-вариантов в памятниках XI—XIV вв.», в кн.: «Русская историческая лексикология», М., 1968, стр. 140—153; Г. Хюттль-Ворт, Спорные проблемы изучения литературного языка в древнерусский период «Wiener slavistisches Jahrbuch», 18, 1973, стр. 44.

<sup>17</sup> Позже, в согласии с этой точкой зрения, В. М. Истрин объяснял отсутствие ярких местных особенностей в древнерусских текстах важной ролью церковнославянского языка как языкового идеала (см.: «Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода», Пг., 1922, стр. 82).

<sup>18</sup> Совершенно необоснованными, во всяком случае по отношению к А. И. Соболевскому, должны казаться следующие слова В. В. Виноградова: «А. И. Соболевский, а вслед за ним и В. М. Истрин и Б. М. Ляпунов придавали очень мало значения диалектным расхождениям восточнославянской письменной-деловой речи в древнейшую эпоху... Специфика речи именно деловых памятников, грамот, актов и т. п. их почти не интересовала» («Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка», М., 1958, стр. 86).

стах Руси и отличались друг от друга в той мере, в какой отличались друг от друга местные говоры» (л. 24)<sup>19</sup>.

Относительно языка Москвы А. И. Соболевский говорит следующее: «Московский народный говор XIV в., когда возникла в Москве литература, а может быть и письменность, был почти тождествен с говором старого Ростова, особенности которого мы знаем по рукописям начала XIII в.; равным образом, он почти совсем не отличался от говоров Твери, Ярославля, Переяславля, Рязани; таким образом, он был не только московским, но вообще среднерусским говором. Он был сравнительно чист, то есть не имел никаких резких особенностей, которые бы выделяли его из ряда других говоров... Эти исключительно отрицательные черты делали его вполне удобным и благозвучным для говоривших на других говорах, и ни один из них не мог находить в нем ничего для себя чуждого или смешного. Например, москвич не менял *ц* и *ч*: он говорил *царь* только с *ц* и *чаша* только с *ч*. Новгородец, говоривший и *царь* и *чарь*, и *чаша* и *цаша*, не мог находить для себя ничего неудобного или смешного в произношении *царь* и *чаша*... По мере того, как распространялось владычество Москвы в северо-восточной Руси, по мере того как все более и более начинала чувствоваться гегемония Москвы в Новгороде, Пскове и их областях, распространился авторитет ее литературного языка на счет литературных языков новгородского и псковского» (л. 32—33). Далее на примере нескольких новгородских памятников А. И. Соболевский показывает исчезновение в них провинциальных особенностей языка. Важно при этом замечание автора, что в деловых текстах местные особенности Новгорода сохранялись несколько дольше, чем в собственно литературных текстах (л. 48).

4. Рассматривая письменность западной и южной Руси, А. И. Соболевский дает содержательный анализ целого ряда текстов, вышедших из этих пределов и написанных как на *простой мове*, так и на церковнославянском языке, содержащем местные особенности в большей или меньшей степени. Здесь автор указывает, что: 1) церковнославянский язык юго-запада существовал в условиях конкурентной борьбы с *простой мовой* и *польщицкой*, имевшими больший круг распространения, так что тенденция превратиться в ученую «православную латынь» постоянно нарушалась потребностями православной пропаганды, 2) церковнославянский язык юго-запада формировался под воздействием московской нормы его употребления, выражением которой явилась грамматика Мелетия Смотрицкого уже в первом своем издании 1619 г.<sup>20</sup>, 3) воздействие во второй половине XVII в. церковнославянского языка юго-запада на церковнославянский язык Москвы в силу названного обстоятельства не было значительным по своим языковым результатам, ограничиваясь немногими словами и формами да, пожалуй, приданием еще большей схоластической мертвости языку, и без того отличавшемуся этим невеселым свойством<sup>21</sup>.

С нашей точки зрения, совместное рассмотрение судеб церковнославянского языка в Москве и на юго-западе имеет принципиальное значение, поскольку такое рассмотрение предполагает признание единства церковнославянского языка как литературно-письменного языка всех восточных

<sup>19</sup> Ср. аналогичное мнение П. С. Кузнецова: В. И. Б о р к о в с к и й, П. С. К у з н е ц о в, Историческая грамматика русского языка, М., 1965, стр. 29.

<sup>20</sup> К подобному же выводу пришел С. К. Булич («Церковнославянские элементы...», особенно стр. 400—403).

<sup>21</sup> Напротив, используя по преимуществу историческую аргументацию, о значительности юго-западного влияния говорят Б. А. Успенский [«Эволюция понятия „просторечия“ (простого языка) в истории русского литературного языка», «Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка. Тезисы», М., 1973, стр. 219] и А. Н. Робинсон («Борьба идей в русской литературе XVII века», М., 1974, особенно стр. 338).

славян с XI по XVII в. Формирование трех национальных восточнославянских языков шло независимо в той степени, в какой были независимы процессы консолидации местных диалектов в три крупных наречия, но даже в эпохи политического разъединения восточных славян связь их языковых традиций осуществлялась благодаря единой письменности и единому языку этой письменности — церковнославянскому языку<sup>22</sup>. И поскольку из трех восточнославянских литературных языков церковнославянское наследие наиболее полно представлено в языке русском, именно истории этого последнего должны учитывать все формы существования церковнославянского языка на восточнославянских землях<sup>23</sup>.

5. Переходя к обзору языковой ситуации в Москве в конце XVII — начале XVIII в., А. И. Соболевский указывает на причины известного расцвета в это время письменности на церковнославянском языке. Дело заключалось в том, что многие писатели были малорусского происхождения, великорусское наречие было им чуждо, так что церковнославянский язык был для них единственным языком, на котором они могли писать и быть поняты. Это касается Симеона Полоцкого, Димитрия Ростовского, позже Стефана Яворского, Гавриила Бужинского, Феофана Прокоповича и других авторов до конца Петровской эпохи (лл. 129—130).

Однако существование церковнославянского языка как литературно-письменного языка русского общества подходило к своему концу. В XVII в. число грамотных людей весьма возросло, потребность в чтении была велика, появился спрос на повествовательные произведения, что повело к созданию переводов и оригинальных сочинений в этом новом жанре. А. И. Соболевский характеризует язык целого ряда светских повестей: О Савве Грудцыне, о купце Басарге, романы о Мелюзине, о Петре Златые ключи, о Василии Златовласом, сборники «Зерцало великое», «Звезда пресветлая», «Римские деяния», «Апофегмата», «Фацеции». Здесь везде виден церковнославянский язык с большим или меньшим числом вульгаризмов. Рядом с ними появляется несколько повествовательных произведений, написанных «на более или менее чистом русском языке» (л. 120), это сказка о Еруслане Лазаревиче, повесть о Фроле Скобееве, сатирическая челобитная монахов Калязина монастыря<sup>24</sup>.

Затем А. И. Соболевский переходит к непростой задаче реконструкции исторических процессов, приведших к созданию современного русского литературного языка. Дело обстояло следующим образом. Обучение грамоте шло в старой Руси по часослову и псалтыри, церковные книги для этого заучивались наизусть, почти вся литература была на церковнославянском языке. С течением времени это привело к качественному изменению языка образованного общества (т. е. прежде всего приказного со-

<sup>22</sup> Подобная точка зрения является отражением концепции о церковнославянском языке как едином литературно-письменном языке всех православных славян XI — XVII вв., так настойчиво и умело защищаемой в наше время Н. И. Толстым.

<sup>23</sup> Кстати будет напомнить слова А. А. Шахматова из его «Курса истории русского языка» (СПб, 1908/9, стр. 36 (литография)): «Нашему изучению подлежит русский язык во всем его объеме, в составе всех его наречий и говоров. Разумеется, в таком определении предстоящего курса высказывается лишь пожелание; выполнение такой задачи невозможно и по ограниченности времени и по недостатку сил. Данное же здесь определение имеет тот смысл, что выдвигает принципиальное требование, чтобы курс истории русского языка имел в виду не одну какую-нибудь ветвь его, не один какой-нибудь ряд явлений, а весь материал, необходимый для восстановления процесса, приведшего русский язык в настоящее его состояние».

<sup>24</sup> Насколько большое значение придавал А. И. Соболевский состоянию языка эпохи, видно из того, что, по его мнению, именно языковая неповятность и темнота древнерусской литературы привели в XVII в. к ее замрачению и вытеснению новой литературой на обновленном языке («Несколько мыслей об древней русской литературе», ИОРЯС, 8, кн. 2, 1903, стр. 144—146).

словия) и к разрыву его с языком неграмотного населения. Коренное отличие языка образованного общества состояло, таким образом, в наличии церковнославянских элементов (л. 125). Лишь немногие произведения XVII в. написаны «не на славянском или чисто русском языке», а на «языке образованного общества» — это повесть о Фроле Скобееве да, пожалуй, повествование о России Котошихина (л. 127). Применение и развитие этот язык нашел в Петровское время вместе с расцветом неизвестной прежде публицистики. Здесь А. И. Соболевский подчеркивает личную роль Петра I в распространении этого языка, на котором говорил и писал он сам и его окружение<sup>25</sup>. «Так явился новый литературный язык, смесь двух прежних языков, вполне русский в звуковом, почти вполне русский в формальном отношении, но далеко не вполне русский в словаре» (л. 129). История литературного языка не представляет, таким образом, непрерывный процесс, как это оказывается в крайне заостренных концепциях Шахматова — Унбегауна, с одной стороны, и Обнорского, с другой: в XVII в. ликвидируется старое письменное двуязычие, и на новой почве вырастает новый литературный язык. К этой точке зрения очень близко подошел в свое время Г. О. Винокур: старое письменное двуязычие переходит в XVII в. в состояние трехязычия — церковнославянский язык канонических книг, олитературенный язык приказов, новый литературный язык, возникший в конце XVII в. на основе церковнославянского языка (язык светской беллетристики), затем два последние языка сливаются и образуют в XVIII в. современный русский литературный язык<sup>26</sup>.

В дальнейшем изложении оказывается, однако, что письменное двуязычие сохраняется и в Петровскую эпоху, правда, в измененном виде. Церковнославянский язык еще употребляется как язык литературы, и на нем написаны такие тексты, как проповеди Феофана Прокоповича, «Эзоповы басни» 1700 г., «Приклады како пишутся комплименты» 1708 г., «Феатрон или позор исторический» Стратемана и др., а также повесть о российском матросе Василии и пьесы, вышедшие из Посольского приказа. Заканчивается обзор этих текстов следующими словами: «Итак, литературный язык собственно литературных произведений Петровской эпохи — или славянский, или русский, испещренный славянизмами. Очевидно, вековая привычка к употреблению в литературе славянского языка была очень сильна, и нужно было пройти порядочному количеству времени, чтобы от нее освободиться» (лл. 134—135).

С другой стороны, в это же время бытуют такие публицистические произведения, как «Правда воли монаршей», «Рассуждение» Шафирова, «Юрнал о взятии Нотебурга», «Ведомости», написанные на языке образованного общества. Этот язык прежде был назван «новым литературным языком», здесь, видимо, как результат терминологической непоследовательности, да и под несомненным влиянием жанра привлеченных текстов, ему возвращено название «делового». Он получает следующую характеристику: «Деловой язык Петровского времени — живой язык образованного класса того времени, класса, к которому принадлежал царь и его двор. Он не был чистым русским языком, таким чистым, каким был деловой язык в Москве XV, XVI, XVII вв. Он заключал в себе довольно много

<sup>25</sup> Весьма сходно с А. И. Соболевским оценивал роль Петра I и Е. Будде («Очерк истории современного литературного русского языка», стр. 47).

<sup>26</sup> Г. О. В и н о к у р, Избранные работы по русскому языку, М., 1959, стр. 113—114. В. В. Виноградов также отмечает слом старой языковой ситуации, наступивший в XVII в. («Основные проблемы...», стр. 114—121, 125). С полной определенностью на перерыв традиции указывает Г. Хюттль-Ворт, см.: G. H. W o r t h, Thoughts on the turning point in the history of literary Russian: the eighteenth century, «International journal of Slavic linguistics and poetics», XIII, 1970, стр. 125—126.

славянизмов, из которых большая часть (едва ли не все) остается в живом языке нынешнего образованного класса. Сверх того в нем было небольшое количество славянизмов, едва ли встречавшихся в живом употреблении, принадлежавших исключительно письменному языку. Одни произведения публицистического и делового характера имели их больше, другие меньше. Вообще, язык их был недалеко от литературного, и нередко при сравнительно значительном количестве славянизмов в публицистическом труде и незначительном в литературном оба языка, деловой и литературный, совпадали. Так, можно назвать почти тождественными язык Рассуждения Шафирова и язык драматических пьес, переведенных при Петре» (лл. 136—137).

В дальнейшем, продолжает А. И. Соболевский, небольшая группа образованных людей, во главе которых стояли Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков, обратила внимание на «близость, почти тождество литературного языка на западе с живым языком, а вместе с тем живость литературного языка запада. Деятельность этой группы в России на поприще русской литературы, естественно, имела своим предметом сознательное сближение литературного русского языка с живым, то есть с тем языком, который был в употреблении у образованного русского общества» (лл. 142—143). Как видно, под «литературным языком» здесь уже пужно понимать собственно язык беллетристики, художественной литературы. Первый шаг был совершен Тредиаковским в «Езде в остров любви»: «Язык Тредиаковского очень похож на язык манифестов и ведомостей Петровской эпохи с тою разницею, что мы не замечаем в нем латино-немецкой конструкции» (л. 145). Однако «язык Тредиаковского показывает отсутствие чувства изящного в авторе... Иное дело Ломоносов» (там же). Ломоносову удалось достичь вкуса и гармонии во взаиморасположении церковно-славянского и русского элементов в составе русского литературного языка.

Таким образом, согласно представлениям А. И. Соболевского новый литературный язык возник первоначально как устная форма общения образованного круга лиц в XVII в., затем он был использован в публицистике Петровского времени, а затем на него «перевели» художественную литературу Тредиаковский и Ломоносов. Можно сказать по крайней мере, что хотя эта концепция не была никем повторена, она не производит впечатление безнадежно устарелой<sup>27</sup>.

Заканчивая рассмотрение созданного А. И. Соболевским между 1889 и 1893 гг. курса «История русского литературного языка», необходимо сказать, что мы не исчерпали всех вопросов, затронутых курсом, и никоим образом не смогли передать содержания лингвистических характеристик, данных автором тому или иному памятнику русского языка, и — тем более — подвергнуть эти характеристики критическому разбору. В статье мы стремились указать на тесную связь этого курса со всею научною деятельностью его автора, показать — насколько это возможно — место курса среди основных направлений и проблем истории литературного русского языка как науки и подчеркнуть важность дальнейшего изучения этого бывшего в забвении труда А. И. Соболевского.

<sup>27</sup> Ближе всего, как говорилось, к этой концепции подошли Г. О. Винокур и В. Д. Левин (см.: В. Д. Левин, Краткий очерк истории русского литературного языка, М., 1964, особенно стр. 103—104).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

«O marxistickú jazykovedu v ČSSR» Zborník referátov  
zo seminára 17 mája 1973 v Prahe. — Bratislava,  
Veda. Vydavateľ'stvo Slovenskej akadémie vied, 1974. 264 стр.

По инициативе идеологического отдела ЦК КПЧ и Президиума Чехословацкой академии наук 17 мая 1973 г. в Праге состоялся семинар чешских и словацких языковедов-коммунистов, на котором была произведена оценка общественного, идеологического и методологического состояния чехословацкого языкознания и выдвинуты задачи, стоящие перед лингвистикой как составной частью идеологического фронта в Чехословацкой Социалистической Республике. Рецензируемый сборник содержит прежде всего доклады и выступления, имевшие место в ходе семинара, а также некоторые материалы, подготовленные для этого форума.

Открывая семинар, зав. отделом науки и школ ЦК КПЧ акад. Г. Павлович (стр. 7—11) отметил, что среди общественно-научных дисциплин языкознание в Чехословакии обладает богатыми традициями. Оно может опираться на позитивные и прогрессивные труды чешских и словацких языковедов — на работы Й. Добровского, Й. Юнгманна, Я. Гебауера и его учеников, на труды А. Бернолака, Л. Штура, М. Гатталы и С. Цамбеля вплоть до видных деятелей современной лингвистики. С другой стороны, современное чехословацкое языкознание обладает рядом недостатков, обусловленных его предшествующим развитием. К ним относятся: недостаточная разработка принципиальных философско-гносеологических вопросов и категорий языка как общественного явления, как орудия мышления и общения, слабые контакты с развитием других общественных наук, односторонность и эклектизм при разработке и решении теоретических и методологических проблем.

Основной целью семинара являлась критическая оценка современного чехословацкого языкознания, анализ его кадрового и идейно-политического состояния с тем, чтобы уяснить теоретические и методологические исходные положения мар-

систского языкознания, основанного на принципах диалектического и исторического материализма и марксистской методологии, и на этой базе определить задачи и направления работы в будущем. Опираясь на решения XIV съезда КПЧ и указания руководящих партийных органов по идеологическим вопросам, языкознание должно приблизиться к решению потребностей развитого социалистического общества, задач научно-технического прогресса и идеологической борьбы. Этими принципами следует руководствоваться как в теоретической работе языковедов так и при планировании исследовательских работ научных коллективов и отдельных научных работников.

Известно, что в 60-е годы многие чехословацкие языковеды ориентировались на модные западные течения, например, на некоторые американские неопозитивистские семантические теории или методы генеративного описания языка, причем зачастую некритически использовали и такие методы, от которых их авторы уже отказались. Подобная ориентация неизбежно вела к отходу от принципов марксизма-ленинизма. По мнению Г. Павловича, «структурализм, который в свое время сыграл положительную роль в развитии нашего языкознания, вследствие своей односторонности стал тормозом дальнейшего прогрессивного развития, ибо его новейшие течения создают благоприятные условия для проникновения различных антимарксистских лингвистических теорий в языкознание. Абсолютизация правильного структуралистского принципа — изучать системные отношения языковых единиц и категорий — еще не создает теоретической и методологической базы для изучения языка как общественного явления, орудия мышления и общения, связанного с развитием общества» (стр. 9).

Чехословацкие языковеды еще не создали цельную, глубоко продуманную

марксистскую теорию языка. Нет также удовлетворительной теории литературного языка и его культуры. Важной задачей является разработка теории и практики языковых контактов в условиях социалистического многонационального государства, а также сопоставительное изучение родственных и неродственных языков. Для решения этих важных задач, по мнению докладчика, необходимо усиление сотрудничества всех языковедческих коллективов. Было бы полезно создать рабочие коллективы из видных чешских и словацких языковедов, чтобы быстрее преодолеть остатки известного обострения в отношениях между ними в прошлом. Необходимо углубить и упрочить сотрудничество с языковедами других социалистических стран, прежде всего с советскими

Наиболее важными докладами, которые отражали критическое отношение к методологическим ошибкам чехословацких языковедов и на которые в конечном итоге опирались как другие докладчики, так и выступавшие, явились следующие: 1) доклад К. Горалека и Я. Горещкого «Современное состояние и задачи нашего языкознания», 2) доклад Вл. Грабье «О преодолении влияния современных буржуазных лингвистических направлений в нашей лингвистике», 3) доклад И. Ружички «Главные особенности и задачи словацкого языкознания». К ним примыкают доклад Я. Петра «Идеологические проблемы истории языкознания» и его же статья, помещенная в сборнике, «Место К. Маркса и Ф. Энгельса в истории языкознания».

В докладе директора Института чешского языка К. Горалека и Я. Горещкого подробно анализируется современное состояние языковедческих исследований с учетом ошибок недавнего прошлого<sup>1</sup>. Языкознание в системе общественных наук занимает особое положение, находясь на границе с естественными науками, хотя, в отличие от последних, в нем в большей мере проявляются моменты идеологического и политического характера. Языковая проблематика составляет важный элемент теории познания. Почти все выдающиеся философы занимались вопросами языка. Классики марксизма-ленинизма также содействовали решению принципиальных лингво-философских проблем. Языкознание содействует укреплению научного мировоззрения, вследствие чего его следует постоянно оберегать от влияния различных идеалистических концепций. К. Горалек подчеркивает, что современное марксистское языкознание создано трудами прежде всего советских теоретиков. Вместе с тем история советского языкознания убедительно сви-

детельствует о том, что в лингвистических исследованиях нельзя поверхностно применять основные положения марксистской теории.

Среди представителей Пражской школы, по мнению К. Горалека, имелись значительные расхождения в мировоззрении и идейно-политических позициях. В этой связи отмечается, что В. Матезиус сторонился некоторых крайностей структуралистского понимания языка и в максимальной степени стремился опереться на лингвистическую традицию. Автор указывает на противоречивый характер филологической теории пражцев, на отличия в трактовке сущности литературного языка в чешских и словацких условиях. Он отмечает, что вследствие плохой организации и недостаточного развития теоретических исследований до сих пор не создана научная грамматика чешского языка.

Автор полагает, что создание большой научной грамматики чешского языка имеет принципиальное значение, так как предоставит возможность проверить на конкретном языковом материале общелингвистические концепции чешских языковедов. Словацкое языкознание в этом отношении проделало больше работы и находится в более выгодном положении. Естественно, что эта большая работа должна быть дополнена повседневной политико-воспитательной работой в языковедческих коллективах, подготовкой молодых научных кадров, выделением наиболее важных теоретических проблем, которые следует разрабатывать в тесном сотрудничестве с лингвистами Советского Союза и других социалистических стран.

В своем выступлении Вл. Грабье остановился на критической оценке американского дескриптивизма и глоссематики Л. Ельмслева. В Чехословакии после конференции 1957 г. на первое место были выдвинуты неопозитивистские принципы американского прагматизма. В результате все активные научные силы были брошены на разработку проблем алгебраической лингвистики, а изучение родного языка и накопление материалов было поставлено под угрозу. Между тем дескриптивизм и глоссематика как система взглядов несовместимы с марксистским языкознанием. В дескриптивизме обходится проблема системного характера языка, снимается противопоставление языка и речи. Языковая система заменена анализом текста. Сущность языковых единиц сводится к их дистрибуции, а их значение выводится за пределы лингвистики. Не случайно, что операционными единицами текстового анализа оказываются фонемы и морфемы, тогда как слово как важнейшая языковая единица сливается с другими синтаксическими конструкциями: «Принятие принципов дескриптивизма означало бы отчетливое обеднение нашей лингвистики, которая, подобно советской,

<sup>1</sup> См. также: K. H o r á l e k, Dnešní situace a úkoly naší jazykovědy, SaS, XXXIV, 1973.

достигла значительных успехов в изучении систем языковых значений, будь это лексические или грамматические значения, значения словесных форм и частей речи» (стр. 48)

Научное изучение языка нельзя отрывать от таких общественно значимых задач, как создание грамматики родного языка, изучение родного и иностранных языков в школе и вузе, повышение культуры речи, усовершенствование стилистических возможностей языка, улучшение качества переводов и т. п. Наиболее важными задачами в настоящее время является создание академической грамматики чешского языка и сопоставительной русско-чешской грамматики. По мнению В. Грабье, наиболее существенным достижением чешского языковедения в последние годы были труды М. Докудила по чешскому словообразованию.

Директор института языковедения им. Л. Штура в Братиславе И. Ружичка отметил возрастание возможности словацкого языковедения, его кадровый рост как в количественном, так и особенно в качественном отношении. В настоящее время наряду с языковедческими и педагогическими институтами Словацкой академии наук научная работа по языковедению успешно развивается на языковедческих кафедрах двух философских факультетов (университет им. Коменского в Братиславе и университет им. Шафарика в Прешове) и четырех педагогических институтов (в Трнаве, Нитре, Банской Быстрице и Прешове). Эта разветвленная сеть научных лингвистических коллективов позволяет решать актуальные задачи, выдвигаемые строительством социализма и международными связями, в области словацкистики, русистики, украинского, венгерского языковедения, западной и восточной филологии.

И. Ружичка отмечает недостатки организации и планирования лингвистической работы в Словакии. Недостаточно координируется работа, например, над основной темой «Структура и развитие словацкого языка», в результате чего возникает дублирование тематики (в частности, в области диалектологии), выдвигание индивидуальной тематики в ущерб установленным планам. Имеются недостатки в подготовке научных кадров и трудности, обусловленные сменой научных поколений. Помимо организационных недочетов, существенным моментом исследовательской работы является методологическая проблематика. Слабость методологической вооруженности словацкого языковедения, по мнению автора, проявляется в двух формах. Во-первых, в старомодных и поэтому неэффективных методах работы, вследствие чего появляются ценные по своему фактическому материалу (например, по истории словацкого языка) труды, на историко-методологическая значимость которых не соответст-

вует затраченным усилиям. Во-вторых, подавляющее большинство словацких языковедов следует методам структурной лингвистики без достаточного стремления к открытию и применению диалектической взаимосвязи языковых явлений. Речь идет не об использовании структурализма как философской теории, а о констатации и объяснении системой обусловленности явлений языка. Признавая позитивным фактом достижения структурного подхода как для развития языковедения, так и для сотрудничества языковедения со смежными научными дисциплинами, автор вместе с тем отмечает, что новые и модные математические и логико-математические приемы изучения языка оказались малоэффективными и ограниченными в своих возможностях. В качестве примера он отмечает курьезные выводы глоттохронологии, по данным которой выделение словацкого языка датируется по второй половине XVIII, то XV, то X в. Словацкое языковедение может преодолеть различные недостатки структурализма путем творческого применения диалектического материализма с опорой на результаты научной работы в других социалистических странах и сближения с требованиями общественной практики.

Далее автор формулирует основные задачи современного словацкого языковедения: 1) во всех языковедческих коллективах повседневно в лингвистической и общественной деятельности проводить в жизнь партийную линию, обратив особое внимание на научную подготовку и идеологическое воспитание молодых кадров; 2) развитие языковедческой теории должно стать кровным делом всех лингвистов. «Поскольку речь идет о марксистском языковедении, всего целесообразнее было бы создать соответствующий международный рабочий орган: очевидно, было бы лучше всего основать постоянную международную комиссию из представителей ведущих лингвистических институтов всех социалистических стран, которая имела бы целью постепенную разработку теории марксистско-ленински ориентированного языковедения» (стр. 99). Естественно, что успешная работа указанной комиссии должна опираться на целенаправленную идеологическую и методологическую подготовку всех научных работников и соответствующее разделение труда при решении необходимых задач; 3) существующие формы международного сотрудничества при решении конкретных языковедческих задач должны сохраняться и укрепляться, однако следует стремиться к тому, чтобы это сотрудничество опиралось на научные коллективы, а не на отдельных специалистов; 4) при решении важных задач научного исследования целесообразно использовать научные конференции словацких или чехословацких ученых. Весьма актуальными

проблемами, которые следует обсудить на этих конференциях, являются: теория литературного языка и его функционирования в социалистическом обществе, периодизация новейшего периода истории словацкого литературного языка, взаимоотношение наций и языков в социалистическом государстве и союзе социалистических государств, возникновение и начальный этап развития словацкого языка в семье славянских языков; 5) следует улучшить координацию лингвистической работы академических учреждений и кафедр высших учебных заведений; 6) при планировании следует иметь в виду первоочередность некоторых проблем. К ним, в частности, относятся: изучение словарного состава (историческое, этимологическое и типологическое изучение словарной лексики, функционально-стилевое расслоение современного словарного состава, проблемы терминологии), изучение и кодификация словацкого литературного происхождения, подготовка и издание новых школьных учебников и двуязычных пособий (словарей, грамматик и учебников) практического характера.

В других рефератах и выступлениях рассматривались более частные вопросы и анализировались состояние и перспективы работы в отдельных отраслях чехословацкого языковедения. Ш. Пециар в докладе «О языковых контактах» (стр. 57—68) отметил, что расширение билингвизма вызвало к жизни теоретическое изучение языковых контактов, процессов языковой интерференции и конвергенции. По его мнению, необходимо развивать сопоставительное изучение чешского и словацкого языков на всех уровнях, создать теорию литературного языка, соответствующую сложившейся в стране ситуации, добиваться взаимного ознакомления широких народных масс с двумя национальными языками Чехословакии.

Г. Кржижкова и Р. Зимек в докладе «О развитии, современном состоянии и перспективах чешской русистики» (стр. 69—80) дают обзор чехословацкой русистики после 1945 г., отмечая, что чехословацкие русисты не создали теории сопоставительного изучения русского и чешского языков и что значительная их часть в свое время подпала под влияние оппортунизма и национализма. Эту сторону деятельности некоторых чехословацких русистов осветил в своем выступлении «Политико-воспитательные задачи при изучении иностранных языков» Ф. Сосна (стр. 208—224).

Акад. Б. Гавранек, отметив специфические черты литературного языка, указал на противоречия, проявляющиеся в развитии литературного языка.

Я. Кухарж, говоря о задачах богемистики в социалистическом обществе (стр.

103—109), особое внимание уделил языковой культуре, языковой политике, обучению родному языку и некоторым сторонам прикладной лингвистики. Ш. Ондруш осветил состояние и задачи славянского и индоевропейского сравнительно-исторического языковедения в ЧССР (стр. 116—121), М. Грельп говорил о некоторых проблемах изучения грамматики (стр. 122—131), Я. Попела коснулся вопроса о влиянии языка на мышление (стр. 166—169), Ш. Криштоф осветил состояние и задачи ономастики (стр. 170—177), А. Лампрехт сделал это на материале славянской диалектологии (стр. 192—196), Я. Горещкий стремился очертить место математических методов в языковедении (стр. 203—207).

Я. Петр в своем докладе «Идеологические проблемы истории языковедения» (стр. 134—148) указал на первостепенное значение трудов классиков марксизма-ленинизма как для разработки проблем марксистского языковедения, так и критики идеалистических концепций. Он поставил вопрос об издании хрестоматии с языковедческими материалами из трудов К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина, а также перевода важнейших работ советских языковедов.

Таким образом, семинар языковедов-коммунистов проделал позитивную работу как в деле критической оценки прошлого чехословацкого языковедения, так и в выдвигании важнейших задач на будущее. Об этом свидетельствует прежде всего ход семинара, отраженный в рецензируемом сборнике, а также решения, принятые на этом форуме. Среди принятых решений следует отметить: 1) работа семинара содействовала политико-критической оценке современного состояния чехословацкого языковедения и явилась необходимой предпосылкой при решении новых задач, стоящих перед языковедением; 2) языковеды должны в своих исследованиях последовательно руководствоваться принципами марксизма-ленинизма; 3) языковеды должны большее внимание обратить на разработку теоретических проблем (язык и общество, теория описания языковых систем, языковая политика в социалистическом государстве и т. п.); 4) следует оживить интерес к проблемам национальных языков (чешского и словацкого); 5) руководящая роль партии должна осуществляться в кадровой политике как в академических учреждениях, так и в вузах. Следует проявлять постоянную заботу о воспитании научной смены. Общее языковедение следует ввести в качестве специальности в университетах Праги и Братиславы.

*Н. А. Кондрашов*

**F. H. H. Kortlandt. Modelling the phoneme. New trends in East European phonemic theory. — The Hague — Paris, Mouton, 1972; 177 стр. («Janua Linguarum», Series Maior, 68)**

Книга Ф. Кортландта, отражающая его диссертацию, написанную под руководством К. Эбелинга, состоит из двух неравных по объему частей: первая занимает 110 стр. и содержит критический разбор фонологических моделей «восточноевропейских» авторов, вторая занимает 50 стр. и представляет собой анализ общих принципов фонетического моделирования, а также изложение собственной позиции Ф. Кортландта.

Монография Ф. Кортландта принадлежит к числу немногих западных работ, не несущих на себе печати преклонения перед генеративной фонологией. Автор учитывает позицию Хомского и Халле, но высказывает свое несогласие с рядом кардинальных положений этой школы. Однако не генеративная фонология находится в центре его внимания. Ставя своей основной задачей анализ формальных процедур моделирования системы фонем<sup>1</sup>, Ф. Кортландт, естественно, обращается к работам советских, польских и румынских исследователей, которым и принадлежит основные попытки формализации этих процедур<sup>2</sup>.

Небольшой первый раздел первой части (всего 8 стр.) посвящен развитию теории фонемы в России и характеристике основных советских фонологических школ (любопытно, что в число русских авторов, наряду с Бодуэном, Щербой, Яковлевым, Кортландт включает и Трубенцого). Указанный раздел, пожалуй, слишком краток, чтобы дать представление о рассматриваемом в нем вопросе непосвященному читателю или чтобы сообщить что-либо новое посвященному. Кроме того, здесь автор черпал, очевидно, материалы из

<sup>1</sup> В настоящей рецензии собственно формальным процедурам уделяется сравнительно мало внимания: учитывал интересы основного круга читателей, авторы рецензии сочли более целесообразным остановиться преимущественно на изложении лингвистических аспектов анализа, представленного в монографии.

<sup>2</sup> Отметим, что монография Кортландта является второй книгой, вышедшей за последние несколько лет в серии «Janua Linguarum», в которой специально освещаются фонологические концепции советских авторов: в 1970 г. был опубликован труд Д. Мильвоевича (D. D. M i l i v o j e v i č, Current Russian phonetic theory, 1952—1962, The Hague — Paris, 1970, 126 стр.). В отличие от указанной книги, которая, вероятно, была задумана скорее с целью ознакомления западных читателей с советскими фонологическими работами, труд Кортландта содержит детальный критический разбор соответствующих исследований.

третьих рук<sup>3</sup>. Поэтому его критические замечания часто бьют мимо цели. Кортландт приписывает, например, школе Щербы джоунзовско-дескриптивистское понимание фонемы как «семейства фонетически сходных звуков» (стр. 19 и др.), что находится в резком противоречии с щербовскими взглядами на сущность этого понятия. Автор не принимает во внимание то фундаментальное обстоятельство, что школа Щербы в вопросе о фонологическом отождествлении придает важное значение чередованиям в пределах морфемы. Что касается изложения взглядов Московской фонологической школы, то основной упрек, который высказывает Кортландт в адрес ее сторонников, состоит в «гетерогенности» принципов, используемых ими для фонологического отождествления. Кортландт имеет в виду принцип сохранения тождества морфемы и принцип возможности противопоставления в данной позиции. Автор замечает далее, что если соглашаться с ограничением скажем, /а/, которое не чередуется с /а/ и /о/, от /а/, которое обнаруживает подобное чередование, то, последовательности ради, нужно различать также /о/, которое чередуется с /а/, и /о/, которое с /а/ не чередуется (стр. 24—25; собственно говоря, мы получим в этом случае различные «фонемные ряды» Р. И. Аванесова). Позитивная программа Кортландта состоит здесь в допущении нейтрализации для слабой позиции, причем нейтрализацию «следует четко отличать от дефектной дистрибуции» (стр. 23). Нейтрализация, по Кортландту, состоит в том, что замена фонем в данной позиции не приводит к изменению значения (стр. 22, 24 и др.). Автор утверждает, что, например, оппозиция русск. /т/ и /д/ в исходе слова нейтрализуется, так как замена /т/ на /д/ в *труд* не ведет к изменению значения. Мы не можем сейчас обсуждать подробно это

<sup>3</sup> Вызывает также удивление тот факт, что фонологические дискуссии в русской и советской литературе в изложении Кортландта зачастую выглядят как чисто локальное явление, не связанное с мировой фонологической мыслью (см. особенно стр. 19, 26, 28) — в то время как достаточно хорошо известно, что именно русские и советские ученые поставили многие основные проблемы, которые и в настоящее время определяют содержание фонологии (ср.: D. J o n e s, The history and meaning of the term «phoneme», London, 1957; M. H a l l e, Phonemics, в кн.: «Current trends in linguistics», 1, The Hague, 1963; F. H ä u s l e r, Das Problem Phonetik und Phonologie bei Baudouin de Courtenay und in seiner Nachfolge, Halle (Saale), 1968).

утверждение, однако ясно, что в приведенной форме с ним нельзя согласиться: дело в том, что реально мы заменяем /t/ на /d/ в /rgut/ и в результате получаем изменение значения, так как многозначная морфема (*пруд/прут*) превращается в однозначную (*пруд*). Если же заменить /t/ на /d/ в морфеме типа *скот*, то значение разрушится (т. е. также определенным образом изменится). Следовательно, строгое следование рассуждениям Кортландта должно привести к признанию оппозиции для данного случая.

Рассмотрение собственно «математических и полуматематических моделей фонемы» (стр. 15) Кортландт начинает с анализа «двухступенчатой теории» С. К. Шаумяна. Автор подвергает эту теорию весторонней критике, основные положения которой следует признать вполне справедливыми. Кортландт не считает возможным признать «антиномии» Шаумяна (антиномию транспозиции, антиномию парадигматической идентификации, антиномию синтагматической идентификации), отмечая, в частности, что формулирование двух последних антиномий в действительности опирается также на допущенные допущения: допущение того, что известны правила фонологического отождествления, и допущение того, что имеется естественная дофонемная сегментация потока речи соответственно (стр. 32—33) <sup>4</sup>.

Относительно определения фонемы у Шаумяна Кортландт отмечает неясность употребления символа Р («фонема»): «символ Р слена от знака равенства может обозначать „Р есть фонема“, но в этом случае неясно, в каком отношении фонема Р отличается от любой другой фонемы, поскольку переменная *x* связана квантором всеобщности» (стр. 34) <sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Следует отметить, что когда Шаумян аргументирует положение о естественной дофонемной сегментации ссылкой на спектрографические данные Г. Фанта, он явно неверно интерпретирует эти данные: Фант совершенно ясно пишет о том, что сегменты, устанавливаемые на основе акустических параметров, зачастую вообще несоотносимы с языковыми единицами (см.: Г. Фант, Акустическая теория речеобразования, М., 1964, стр. 23 и др.).

<sup>5</sup> Со своей стороны, заметим, что Шаумян мог бы избежать указанной неясности путем, например, введения двух связанных квантором всеобщности переменных, *x* и *y*, тогда формула читалась бы: «Для всех *x* и для всех *y*, если *x* есть звуковой сегмент и *y* есть звуковой сегмент, и *x* находится в отношении контраста к *y*, то *x* находится в отношении воплощения к фонеме Р, и *y* находится в отношении воплощения к фонеме Р». В этом случае, впрочем, определение Шаумяна утратило бы какие бы то ни было признаки новизны.

Серьезные недостатки находит Кортландт и в «операторных методах» Шаумяна для парадигматической и синтагматической идентификации фонем. Так, он отмечает, что критерием гомогенности звуков, по Шаумяну, выступает мотивированность их изменений под действием операторов; в то же время «измерение действия операторов» определяется путем сравнения гомогенных множеств звуков, что «является явным порочным кругом» (стр. 37). Можно добавить к этому, что Шаумян, по-видимому, не замечает отсутствия какого-либо лингвистического содержания в предлагаемых им операторных методах: операторы, по существу, представляют собой чисто механически действующие фонетические факторы. Кортландт указывает также на произвольность процедуры «выбора эталона» (стр. 36—37).

В целом Кортландт не видит в теории Шаумяна существенного вклада в современную фонологию <sup>6</sup>. В особенности низко оценивает Кортландт применение Шаумяном логического аппарата к фонологическому анализу (стр. 31, 91).

Общие замечания Кортландта относительно теоретико-множественных моделей в работах И. И. Ревзина, С. Маркуса <sup>7</sup> и др. сводятся к тому, что все эти модели исходят из уже установленных основных фактов, являющихся результатами собственно лингвистического анализа, из определения предсказуемости признаков на основании известных дистрибутивных характеристик, а не из отождествления единиц по их собственным внутренним свойствам (стр. 76). «Алгоритм (установления парадигматической классификации фонем у Ревзина.— Л. З., В. К.) хорошо иллюстрирует сдвиг интересов в „математической лингвистике“: все, что является существенным с лингвистической точки зрения, представляется известным (единицы, признаки, их взаимные отношения и синтагматические характеристики), и единственная остающаяся проблема — это вопрос о том, как организовать данные или, скорее даже, как сформулировать правила, по которым эти данные могут быть организованы» (стр. 51; см. также стр. 47).

Заклучая разбор модели Ревзина, автор говорит, что фонема Ревзина — «не что иное, как семейство фонетически сход-

<sup>6</sup> Ср.: Л. Р. Эндер, Материальная сторона языка и фонема, в кн.: «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970; В. Б. Касевич, Некоторые логические аспекты понятия фонемы, ВЯ, 1971, 5; E. Fudge, [реп. на кн.:] S. K. Saumjan, Problems of theoretical phonology, «Lingua», 30, 2, 3, 1972.

<sup>7</sup> И. И. Ревзин, Модели языка, М., 1962; S. Marcuș, Introduction mathématique à la linguistique structurale, Paris, 1967, и др.

ных звуков, находящихся в отношении дополнительной дистрибуции» (стр. 49)<sup>8</sup>.

Основное различие между моделями Ревзина и Маркуса Кортландт видит в том, что для последнего разбиение множества звуков на классы эквивалентности осуществляется на основании сохранения/несохранения идентичности значения при замене звуков. Он не соглашается с Л. Невески<sup>9</sup> в том, что это следует признать недостатком модели Маркуса. Напротив, Кортландт полагает, что именно с введением подобным образом истолковываемых классов эквивалентности модель Маркуса «стапвится интересной с лингвистической точки зрения» (стр. 69). В то же время он замечает, что отношение между членами разбиения, осуществляемого на основании показаний информантов, в действительности может оказаться не эквивалентностью (стр. 63).

По поводу геометрических моделей (например, у А. Евдошенко)<sup>10</sup>, Кортландт совершенно справедливо утверждает, что графическое представление по существу «не является моделью, но предполагает [уже имеющуюся] модель» (стр. 71).

Довольно подробно разбирает Кортландт наиболее формализованную модель фонологических процедур, принадлежащую польскому логичу Т. Батугу<sup>11</sup>. Основные замечания автора относительно данной модели формулируются им в трех пунктах: 1) в модели Батуга не представлено значение; 2) Батуг, по существу, «обходит» важнейшую проблему — проблему фонологического отождествления: тождество сегментов он выводит из тождества признаков, а это последнее вводит как исходное неопределяемое понятие; таким образом, проблема не решается, а лишь переводится в иной план; 3) серьезным недостатком является «фонетизм» модели Батуга (стр. 103—104).

Безусловно интересны те части анализа модели Батуга, где Кортландт подробно обрисовывает диагностическую ограниченность критерия дополнительной дистрибуции. Он показывает, что этот критерий позволяет отождествить любые два сегмента, находящиеся в отношении дополнительной дистрибуции, и не позволя-

ет различить заведомо разные фонемы (стр. 101, 106—107)<sup>12</sup>.

Вторая часть книги начинается с раздела, посвященного вопросу о применении математических методов в лингвистике. Этот вопрос рассматривается в связи с дискуссией, вызванной статьей В. И. Абаева о «лингвистическом модернизме»<sup>13</sup>. Не соглашаясь с Абаевым, отрицающим правомерность приложения математики как метода лингвистического исследования (прежде всего неколичественной математики), Кортландт считает, что Абаев прав, когда подчеркивает неэффективность количественных методов для решения собственно лингвистических проблем (стр. 118—119).

Изложение основных положений своей теоретической программы Кортландт предваряет критикой генеративной фонологии. Не излагая подробно его аргументации, которая в целом представляется убедительной, отметим, что Кортландт называет свою позицию «диаметрально противоположной» точке зрения Хомского и Халле: он настаивает на реальности самостоятельного фонологического уровня; по его словам, фонемы «образуют особую часть языковой структуры, и бесфонемное описание языка является поэтому неполным» (стр. 132—133).

Переходя к формулированию собственной позиции, Кортландт предлагает определить исходные объекты фонемного анализа как  $P = [K, R, S]$ , где  $K$  есть множество фонетических параметров (признаков типа «средний», «задний»), число которых определяется «способностью исследователя различать такие признаки»,  $R$  есть отношение эквивалентности между последовательностями звуков с точки зрения информанта,  $S$  есть множество звуковых последовательностей, возможных в данном языке (стр. 137). «Элементы  $K$  ... суть множества гомогенных признаков (в смысле Маркуса)»<sup>14</sup> (там же).

<sup>12</sup> Серьезная критика модели Батуга содержится в недавно появившейся рецензии Джонсона: С. D. J o h n s o n, [реци. на кн.:] T. B a t u g, The axiomatic method in phonology, «Foundations of language», 9, 2, 1972.

<sup>13</sup> В. И. А б а е в, Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке, ВЯ, 1963, 3.

<sup>14</sup> Гомогенные признаки, по Маркусу, принадлежат перекрещивающимся множествам общего множества признаков: любому признаку звука отвечает единственный признак из каждого такого подмножества; гомогенные признаки, следовательно, не могут соответствовать одному и тому же звуку, например, «твердый» и «мягкий» представляют собой гомогенные признаки (подробнее см.: S. M a g u s, указ. соч., стр. 45 и сл.; а также стр. 57—58 рецензируемой монографии).

<sup>8</sup> Нужно, однако, сказать, что указанный результат не расходится с намерениями Ревзина, который прямо связывает свою модель с понятием фонемы у Д. Джоуиза (см. И. И. Р е в з и н, указ. соч., стр. 22).

<sup>9</sup> L. N e b e s k ý, On the notion of relevant features, «The Prague bulletin of mathematical linguistics», 1966, 6.

<sup>10</sup> А. П. Е в д о ш е н к о, К вопросу о применении стереометрической модели в области фонологии, в кн.: «Исследования по структурной типологии», М., 1963.

<sup>11</sup> См.: T. B a t u g, The axiomatic method in phonology, London, 1967.

Далее определяется процедура сегментации звуковых последовательностей. Сегментация звуковой цепочки осуществляется путем ее последовательного расчленения с точки зрения возможности охарактеризовать данный сегмент тем или иным признаком (например, слово *сумрак* членится на глухую — звонкую — глухую части: *с-умра-к*). После того, как все параметры (признаки  $k \in K$ ) исчерпаны, мы получаем «элементарную сегментацию» цепочки  $s$  из  $S$ .

По поводу описанной здесь вкратце процедуры сегментации следует заметить, что очень трудно представить себе реальное функционирование указанных операций. Ведь здесь речь идет о «сыром» фонетическом материале, в сущности, долингвистическом, где сфера действия физических коррелятов соответствующих признаков отнюдь не совпадает с «границами» каких-либо реальных сегментов. Хорошо известно, в частности, что корреляты многих дифференциальных признаков (а здесь подразумеваются именно они) могут распространяться на весь слог. В результате сегментация (по признакам) приведет к чрезвычайно пестрой и противоречивой картине с огромным числом «границ», которые вряд ли удастся привести в соответствие с какой-либо фонологически оправданной сегментацией. Правда, автор вводит понятие «промежуточных» признаков и, соответственно, «промежуточной» сегментации (стр. 137), но это скорее делает общую картину еще более запутанной<sup>15</sup>.

Хочется особо подчеркнуть, что в фонологии мы никогда не имеем дела с «чисто физическими» явлениями, но всегда с явлениями, опосредованными функционально — поэтому и не было создано до сих пор процедуры сегментации, которая членила бы реальный речевой поток каким-либо последовательным и непротиворечивым образом, опираясь исключительно на собственно фонетическую информацию (ср. стр. 140).

На базе имеющейся «элементарной сегментации» и зная характеристику каж-

дого сегмента в терминах фонетических признаков, Кортландт вводит понятие релевантного признака (стр. 138—140). Релевантный признак произвольного сегмента  $x$  из цепочки  $s$  определяется как множество множеств последовательностей, составленных из сочетаний фонетических признаков, «такое, что одновременная замена всех или части признаков, присутствующих в сегменте  $x$ , ... изменяет фонемную идентичность (т. е. класс по  $R$ -эквивалентности)  $s$ , в то время как частичная замена признаков не может дать третью отмененную цепочку» (стр. 139). Здесь нетрудно усмотреть параллель с использованием понятия «связанных признаков» у Ревзина. В то же время не совсем понятно в определении соотношение «замены части признаков» и «частичной замены признаков».

Фонемы, по Кортландту, суть «минимальные множества релевантных признаков, сочетающихся в потоке речи» (стр. 119; 131, 143—144). «Фонемы идентичны, если они составлены из одних и тех же релевантных признаков» (стр. 146).

Кортландт признает, что хотя определение релевантного признака в его модели зиждется на понятии различительности, не имеется критерия для установления данного отношения: сами признаки всегда находятся в разных окружениях (стр. 146), а установление классов эквивалентности звуковых цепочек по показаниям информантов недостаточно надежно, так как информантам при этом неизбежно задаются два вопроса одновременно: один о форме и другой о содержании (стр. 136). «Таким образом, — заключает Кортландт, — нам требуется некий критерий» (стр. 146).

Оценивая книгу в целом, следует отметить прежде всего широкое и основательное знакомство автора с большим кругом работ советских, польских, румынских и чехословацких исследователей: отсутствие анализа этих работ часто ощущается в трудах других западных авторов.

Критический разбор рассматриваемых в монографии трудов, а также собственные концепции ее автора, может быть, не всегда до конца убедительны, однако нельзя отказать Кортландту в глубоком подходе к фундаментальным проблемам фонологического анализа и в понимании трудностей ряда проблем, которые автор четко формулирует и в тех случаях, когда он не может предложить их решения.

Л. Р. Зиндер, В. Б. Касевич

<sup>15</sup> Справедливости ради следует сказать, что от «элементарной сегментации» Кортландт отличает «сегментацию», которая проводится после установления релевантных признаков и основана, прежде всего на возможности/невозможности установления отношения порядка для таких признаков (стр. 140—143). Думается, однако, что реально такая процедура возможна только тогда, когда уже известно фонемное строение текста и известна, следовательно, сегментация.

«Словарь русских народных говоров». Вып. 1—10  
(А — *варсить*). Главный редактор Ф. П. Филин,  
редактор Ф. П. Сороколетов. Л., ЛО изд-ва «Наука», 1965—1974.

Составители Словаря десятый выпуск отмечают определенный этап своей работы, это видно и по предварительным результатам, приведенным в томе: «В первых десяти выпусках Словаря помещено 36 811 слов, не считая 2444 отсылочных. Из них существительных — 16 600, прилагательных — 5021, местоимений 30, числительных 28, глаголов 11 340, наречий 2838, предлогов 58, союзов 132, частиц 175, междометий 329, грамматически не определенных слов — 260» (СРНГ, 10, стр. 3). Судя по этим данным, вышла примерно пятая часть всех выпусков Словаря, который по словнику будет в 2,5 раза больше словаря под ред. Д. Н. Ушакова («Толковый словарь русского языка», I — IV, 1935—1940) — в нем до данного отрезка около 15 000 слов, и даже больше «Словаря современного русского литературного языка» в 17 томах — в последнем до данного отрезка чуть больше 25 000 слов, что также составляет около пятой части всего Словаря. Таким образом, читатель получит исчерпывающий компендиум по русской диалектной лексике, в который войдет около 200 тыс. слов, когда-либо представленных хотя бы в одном русском говоре. Это огромное предприятие включает в себя фактически все источники по русской диалектной лексикографии, которые когда-либо существовали или появятся впредь: в первых выпусках использовано 1984 печатных и 1402 рукописных источника — словари, картотеки, исследования, описания, диссертации и т. д., большое количество рукописных материалов, которые иначе никогда бы не получили возможности издания, само по себе важно для характеристики Словаря. Он и по своей источниковедческой основе оказывается оригинальным и новым изданием, не дублируя уже изданные, хорошо известные специалистам словари. Перед ним стоят совершенно другие, важные для современной лексикографии задачи.

Словарь русских народных говоров (СРНГ) можно рассматривать как своеобразное дополнение и к предполагаемым к изданию историческим словарям русского языка, и к академическим полным и толковым словарям современного русского литературного языка. Фактически, только завершение всех трех предприятий подобного рода обеспечит русистике и славистику основательной базой, необходимой для широких лексикологических исследований, снимет тот налет тематической узости, неизбежного субъективизма в толкованиях, случайности в интерпретациях наличного материала, которые характерны для современных лексикологических работ.

Отношение к нормативности, с одной стороны, и к истории — с другой, у составителей Словаря неравноценное. От нормативности СРНГ отталкивается, не включая в себя слов и значений, характерных для современного русского литературного языка (опираясь в этом смысле на обширную картотеку к БАС и столь широко представляя принцип дифференциальности); следовательно, он ориентирован на лексику не повсеместного распространения. Уже это сближает СРНГ со словарем историческим, который включает слова, встречающиеся в редких рукописях и источниках. Действительно, всякая оппозиция к нормативности неизбежно ведет к динамической реконструкции — и это основное достоинство рецензируемого Словаря как источника. Многочисленные примеры демонстрируют эту его ориентацию: и система помет, и порядок расположения значений в словарной статье, даже вызванная издательскими требованиями краткая цитация примеров — характером своего исполнения, сам материал, отражающий развитие диалектной речи на протяжении двух последних столетий (включены также исследования по истории диалектной лексики); Словарь учитывает архаизмы и новации, разные типы фразеологизмов, лексикографические комментарии старых описаний диалектной лексики, а также употребление диалектной лексики в языке старых бытописателей — все это отражает на страницах СРНГ историческую перспективу в развитии диалектной лексики, ее стилистические, грамматические и прочие возможности. Авторам никогда не изменяет чувство исторической реальности: по существу, они не выходят за пределы XVII—XX вв., т. е. того периода, когда русские говоры существуют и развиваются наряду с национальным литературным языком и противопоставлены ему как единое целое. Факты фольклорной речи, несмотря на их литературность, все-таки включаются в корпус СРНГ — поскольку функционально они противопоставлены тому же литературному языку. По-видимому, и сами составители СРНГ безотчетно проникнуты историческим тоном своей работы, поскольку в Словаре довольно часто именно те цитаты и примеры, которые ведут читателя в самые истоки значения — если только оно было характерно русскому говору хотя бы XVII в. (ср. *великий* в значении «большой» и мн. др.). Всесторонность материала, его широта и глубина таковы, что на кратком поле словарной статьи оказывается возможным представить и всю родословную слова, и всю систему в ее прошлом виде. В самом деле, если чи-

татель получает выразительную серию из 137 слов с корневым *дом-*, или 140 слов с корневым *дуб-*, или массу других образованных, столь же репрезентативных, для его исследовательских целей этого окажется вполне достаточно в решении любого вопроса. Сам Словарь становится в конце концов той ограничительной рамкой, в которую укладываются предельные возможности исследования. Покажем это на примере корня *див-*.

С одной стороны, имеются и собственно литературные слова и значения, входящие в данную группу слов (обычно с пометкою «стар». они и приводятся из Словаря 1847 г. и др.) — *див*, *диво*, *дивий* «дикий, лесной», много такого рода примеров в интердиалектных фольклорных текстах, которые демонстрируют «неразговорность» соответствующих форм (ср. *дивеса* «чудеса»). Весь остальной, представленный словарем материал, определенно расслаивается на две группы: для южнорусских говоров характерно широкое использование слова *диво* и производных (*дивачиться* «чудить», *дивяще* «удивление», *дивиться* и др.), что частично сближает их с украинскими говорами, в севернорусском материале находим только лексикализованные остатки этого корня в виде некоторых обобщенных форм, но зато в семантическом отношении они являются и самыми архаичными, ср. *дивен* «большой» Арх., *дивенько*, *дивечко* (сказ.) «странно» Свердл., *диви*, *дивья бы* «если бы», *дивно* «много» и т. д., что всегда связано с исходным значением «величины и удивительности (божества)». В другом случае распределение слов *живот* — *жит(ь)* — *житье*, в зависимости от территориального распространения или сохранения архаического значения слова, позволяет представить схему соотношения этих лексем для передачи древнерусских значений «жизнь» во всех сферах языка и общественного быта. Именно тут мы и нуждаемся в сверточных данных исторических словарей, которые своим материалом, идущим дальше XVII в., покажут исходные точки дифференциации и уже собственно систему (а не схему) древнерусского языка. Примеры такого рода легко увеличить — их легко обнаружит сам читатель, заинтересованный строгими и последовательными определениями Словаря, точными пометами, исчерпывающими ссылками на время и место записи. Высокая культура лексикографического исполнения должна гарантировать объективность и законченность представленных в Словаре данных.

Цельность этих данных определяется тем, что мы почти последовательно имеем дело именно с русским материалом, т. е. условно ограничимся единой в прошлом лексической системой. Тот же материал в широкой проекции на другие восточнославянские или вообще на другие славянские языки мог бы показать разную степень архаичности в значениях общесла-

вянских слов (тех же *живот* — *житье*, например, с предпочтением второго первому в западнорусских языках, даже в украинском языке), различные отношения к литературному эквиваленту (например, в русском языке — к слову *жизнь*), специфику новых, развившихся позже, значений в ряде слов (например, ориентацию на разные части тела в сужении значения слова *живот*: «желудок» в русском, но — «материнская утроба» в кашубском и т. д.). «Русскость» материала в Словаре представлена всесторонне. В частности, большое значение уделяется фонетическому облику слова, всему многообразию формального варьирования лексемы во времени и в пространстве. Это само по себе ограничивает рассмотренный лексический состав известным славянским регионом (ср. *жагло* «жалко», которое может быть ограничено северо-западными русскими, восточнопольскими и некоторыми словацкими говорами; только *гнус* при отсутствии *гнус* и прочих подобных чередований неисконной мягкости, что ограничивает русские факты даже от белорусских, не говоря уж о других славянских языках). Словообразовательное варьирование, также широко представленное в Словаре, в свою очередь позволяет реконструировать последовательное развитие семантики слова в зависимости от материально наглядных процессов словообразования и всегда определено в данной диалектной зоне; ср., например, взаимозависимость значений и форм *жалкий* — *жалобный* — *жалостный* — *жалучий* — *жалый* и др., представленных каждый раз в ограниченной диалектной зоне, но совместно противопоставленных литературному *жалостливый* — единственной формой этого ряда, в Словаре не представленной. К сожалению, именно в данном отношении СРНГ не вполне последователен: иногда представлены материалы, заведомо не русские. Вряд ли целесообразно включать сюда заимствования из белорусского, украинского, польского языков в характерной для этих последних огласовке: *вонтроба* «утроба» (в русских говорах Латвии), *вибжа* «обжа», *вышеньє* «вишни», *гострый*, *грать* «играть», *гарный* «хороший, красивый» (в южнорусских говорах на пограничье с Украиной), *вёска*, *весца* «деревня» (в западнорусских говорах) и т. д. Подобные примеры способны сместить в целом четкую перспективу системности, взятую в ее конечном, но национально ограниченном пределе. Впрочем данное замечание требует оговорки: непоказательная для реконструкции старой лексической системы и для истории собственно русских диалектов, данная лексика впоследствии может оказаться важной для исследования межславянских лексических контактов. Поэтому лексикологическое ограничение темы, преимущественное внимание чему уделяется в настоящем обзоре, разумеется, не долж-

но влиять на лексикографическую обработку материала в рецензируемом словаре: Словарь шире тех требований и пожеланий, которые мы могли бы высказать в его адрес.

В любом случае общая совокупность материала, представленная в СРНГ, именно своей массовостью выявляет те лексемы русского языка, которые остаются литературными и не входят в систему народного языка. Как правило, литературное происхождение слова проявляется в том, что соответствующая лексема имеет одно общее значение (не расслоилось по говорам семантически), слабо обросло производными, фиксируется не на всей территории распространения русского языка и (обычно на основе народной этимологии) связано с близким народному языку словом. В свете данных критериев, взятых в их совокупности, такое странное для литературного языка слово, как *гайно*, или объявляемое заимствованным (в памятниках с XIV в.) слово *глаз* — общерусские лексемы чрезвычайно высокой семантической насыщенности, тогда как, например, *вещь* — явно заимствованное из литературного языка слово. В последнем случае вариант *вещѣ*, судя по приведенным в Словаре контекстам, смешивает два первоначально самостоятельных значения: собственно диалектное, поскольку *вещь* — «лекарство, приворотное зелье», также прочие вещи существа (например, змея) и предметы, и фонетическое искажение русского литературного слова в значении «предмет». Литературное *вещь* сталкивается здесь с русским *вещ(а)* (из *вѣд*), приведя к смешению первоначально различных, но схожих значений (ср. неясное *вещина*, встречаемое только в былинных текстах, в котором можно видеть первоначальный этап наложения литературного *вещь* на древнее *вѣща*). Этот пример особо подчеркивает важность той внимательности к внешней форме слова, которая так характерна для составителей СРНГ: именно форма слова могла стать и в большинстве случаев действительно становилась поводом для семантических сближений или расхождений, важно не упустить ни одного факта, способствующего осознанию таких процессов.

Однако значение СРНГ для разграничения собственно русской и русской литературной лексики выходит за пределы чисто формальных сходств. Ср., например, слово *дар*, которое в БАС представлено как слово высокого (поэтического) слога или дано в переносном значении «способность, дарование», а в СРНГ детально разработано как слово народного языка («свадебные подарки; приданое; наследство; урожай; жир»). Вместе с тем *дань*, которое и в БАС дано как «истор.», напротив, оказывается не народно-разговорным словом, и этим, в частности, определяется возможность разговорных отклонений в произношении слов, ср. *дань*

как стилистический вариант произношения наречия *недавно*. Отсутствие в системе слова позволяет в изменениях формы доходить до пределов омонимии, поскольку это не приводит к столкновению с реальной для системы лексической единицей. Варьирование формы лимитируется реальностью семантической системы, которая в каждом говоре индивидуальна. Тут мы переходим к теме, неоднократно дискутировавшейся: преимущество полного словаря одного говора перед дифференциальным диалектным словарем. Слишком теоретический по существу, этот спор показал практическую важность (и зависимость друг от друга) словарей обоего типа. Имея же в виду СРНГ, не следует забывать, что этот словарь является с о д н ы м, в нем критически пересмотрены и иллюстрации, и толкования использованных источников, уточнены многие значения слов. Чтобы увидеть это, достаточно сравнить ряд словарных статей в Словаре русского языка под ред. А. А. Шахматова и в СРНГ (ряд источников, использованных в этих словарях, совпадает). Так, слово *задел* в СРНГ разбирается на несколько самостоятельных значений, всегда четко соотносящихся с определенной диалектной зоной; ср. третье значение шахматовского словаря, которое в СРНГ распадается на три самостоятельных, близких друг другу только с точки зрения всего русского языка, но различных с позиции конкретного говора: «рубка и заготовка леса к вывозу на сплав» — «вывоз бревен зимой для сплава их вespoko по реке» — «верфь, на которой строятся суда для соляных промыслов». Ср. также и другие отличия в разработке словарных статей, основанных на старых источниках, в Словаре Шахматова и в СРНГ (*выть*, *займа*, *заллом*, *заклад* и т. д.). Во всех случаях СРНГ строго дифференцирует мельчайшие оттенки значения, привязанные к различным диалектным зонам; составители как бы исходят из предположения, что в данной диалектной зоне именно этот оттенок значения может оказаться единственным для данного слова. Таким образом, новый сводный словарь является дифференциальным и в этом отношении: любой оттенок значения он соотносит с определенной диалектной системой, в целом, в границах самостоятельной словарной статьи подчеркивая совместимость этих оттенков как равноценных диалектных единиц. Такова трудность исполнения работы, определяемая жанром словаря. С одной стороны — цельное и последовательное противопоставление литературной норме, с другой стороны — ясно осознаваемая системность отдельного говора. Возникают полярные грани композиционного замысла СРНГ, его центробежные и центростремительные пределы, форма, в которую бережно и максимально исчерпывающе укладывается наличный материал. Досадной

помехой последовательной структуре словаря здесь могут оказаться те редкие окказионализмы, которые составители почему-то не решились отбросить. Ср. *Я в ы ш е господского делать не стану* в значении «против» (запись Тихв. Новг., 1854), или *гора* в значении «женская грудь» (запись Ветлуж. Костром., 1933). В конечном же счете, основной материал СРНГ, репрезентативный количественно и качественно, в корпусе Словаря представлен настолько точно, что дает выразительную картину варьирования по говорам и реальному (см. *жито*), и семантического (см. *жить*), и историко-этимологического (см. *гад*) значения описанных лексем. Фактически это свод различных диалектных систем с точки зрения их внутренней сопоставимости — как одинаково русских и в потенции восходящих к одной общей системе.

Словарь, являясь толково-переводным, значение многих диалектных слов определяет посредством литературных эквивалентов. Это и облегчает работу лексикографов, и вместе с тем усложняет ее. Внешняя простота толкования, доступность для любого читателя (а читатель этого словаря чрезвычайно широкий) требует детализации в словарных определениях, особенно там, где разные говоры дают различные частные значения слова. Стоит сравнить слово *зад* в толковом словаре и в СРНГ, чтобы представить себе трудность задачи, возникающей перед автором последнего. «Задняя часть чего-либо» как самое общее значение не годится для СРНГ, ибо, во-первых, оно является литературным и потому неприемлемо для составителей СРНГ по теоретическим соображениям; во-вторых, оно заглушает многочисленные частные значения слова, которые со временем в определенных говорах стали единственно возможными, а для литературного языка, наоборот, ни в одном контексте не являются характерными. Поэтому СРНГ дает целую серию значений («задняя часть мясной туши, огузок; задняя холодная часть дома; задняя часть русской печи» и т. д.), которые и сами по себе важны в последовательной семантической разработке русского слова (если когда-нибудь она станет сюжетом специального исследования) и вместе с тем конкретизируют широкое значение литературного слова с точки зрения предметно ориентированной народной речи. Другое дело, что составители СРНГ тут же вынуждены реагировать на другое обязательное условие поставленной перед ними двуединой задачи, они должны произвести лексикографическую обработку и ф о р м а л ь н ы х вариантов лексем. В результате (если ограничиться приведенным примером) наряду с высоко информативной статьей *зад* мы получаем самостоятельные словарные статьи для единичного наречного употребления *зады* «сзади» (Иркут., 1929) и *зад* нареч. «сзади» (в соче-

тании: *поставлена эта гата зад моего двора* — чисто фонетическая реализация наречия *сзади*, вовсе не требующая выделения).

Ориентация на диалектную форму, видимо, в значительной мере избыточна; очень часто в этих случаях СРНГ идет на поводу у своих источников, не решаясь изменять однажды зафиксированную форму лексемы. Между тем довольно часто формальные различия объясняются всего лишь первым впечатлением собирателя, ср. в одних и тех же значениях и в одном и том же говоре, но из разных источников: *ватарба* — *ватарга* — *ваторба* — *ваторга*; *веретя* — *веретия* — *веретья*; *выскорь* — *выскирь* — *выскер* и др. Некоторые из таких вариантов, не будучи специально комментированы, способны вызывать недоумение у неподготовленного читателя. Так, слово *гасник* дано как равноправный вариант к *гашник*, хотя на самом деле это две разные диалектные формы (цокающего и нецокающего произношения) от исконной, также представленной в Словаре формы *гачник*; форма *гасник* лексикализована в районах вторичного заселения выходцев из севернорусских говоров, и в этом смысле включение ее в словарь как-то оправдано; разграничение *гачник* — *гашник* неясно. Те же сибирские и дальневосточные говоры для русского *голубец* «пристройка к русской печи» дают лексикализованный вариант *гобец*, относительно которого опять не дается никаких комментариев направляющего характера, что способно привести к осознанию этих слов самостоятельными лексемами. На самом же деле перед нами различное изменение сочетания среднего (невеляризованного) *l* с губным *b*: в русских говорах Европейской части подобное сочетание развило гласную вставку (*голубец* в целом ряде значений), а на новых территориях заселения, в других условиях привело к усращению самой фонемы *l*. Еще выразительнее примеры унификации одного из двух типов произношения — с глухим или соответствующим звонким согласным. Такие примеры широко представлены в СРНГ, ср. смешение типа *гузно* «нижняя часть чего-нибудь» и *гузно* «лубяная корзинка», во втором случае от *кузно*, ср. *кузов*; сюда же относятся и приведенные в Словаре *гузов* «берестяной сосуд», *гузовица*, *гузовка* «лубяная корзинка», *гузовок* «сосуд из коры» и др. — относительно которых также нет желательных отсылок к общерусскому (не севернорусскому) *кузов* (ок). Подобные случаи несомненно отличаются от внешне сходного просторечного *гумага*, которое не затруднит читателя в лексикологической интерпретации, тем более, что ему сопутствует ясное указание Словаря: «бумага».

Встречая псковское *гудра*, мы вовсе не требуем немедленной отсылки к *выдра*, хотя бы потому, что близость литовского

ареала требует предварительного доказательства, что в данном случае перед нами искажение общерусского *выдра*, а не местное произношение (с *e* перед начальным *y*: *вутка*) вторичного заимствования из литовского. Однако в большинстве случаев фонематический субъективизм собирателя, воспринявшего неизвестное ему слово именно с данным составом фонем, следовало бы преодолеть, хотя бы путем отсылок к основной форме слова. В представленных выпусках Словарь, цельный и четкий в семантическом отношении, оказывается расплывчатым с точки зрения формальной. Читателю предлагается самому собрать необходимый набор лексем, игнорируя случайности записи.

С этой же проблемой связана и акцентологическая характеристика слов. Удивительно большим количеством акцентных расхождений Словарь дает подтверждение давнему наблюдению, что южнорусские и севернорусские говоры по-разному относились к словесному ударению: для южнорусских оно — важный признак слова, тогда как для севернорусских важно всего лишь ударение словоформы, и потому каждый собиратель (особенно из прежних) известную ему словоформу считает представителем всей акцентной парадигмы, фиксируя то *молбдой*, то *молобдй*, и т. д. Даже для наречий СРНГ на всякий случай показывает оба известных в записях ударения, ср. *вдъане* и *вдагнэ*, из которых второе ограничено единственной фиксацией Твер., 1910 и вообще для всех пределов распространения русского языка является нехарактерным. Информативным оказывается строгое противопоставление слов, по всем говорам дающих одно и то же ударение (*вековбй*) словам, вызывающим наибольшее число отклонений и вариантов (*вѣрѣднбй*, *вѣрѣвбй*, *жѣрѣвбй* — каждый раз в зависимости от ударения производящего слова, характерного для данного говора) — и этот показатель может стать лексикализованной характеристикой диалектных слов, преимущественно в связи со словообразованием; он показывает диалектное варьирование специально в отношении производных. Скрупулезное выявление всех таких расхождений — заслуга авторов СРНГ. Однако и в данном отношении наблюдается любопытная закономерность: большинство колебаний в ударении слов дают именно севернорусские (преимущественно поморские) говоры. Так, исконное ударение производных *верзвина*, *верзвица*, *верзвище*, *верзвьє*, *верзвина* и др. представлено в большинстве русских говоров, однако заголовочное слово каждой статьи в СРНГ всегда для этих слов показано с двумя возможными ударениями, из чего следует, что и встреченным единичным отклонениям придается самостоятельное значение. В дан-

ном перечне, как и в большинстве других случаев, возможно двойное отношение к возможному варьированию. Оказывается, прежде всего, что *верзвина* (запись на Ояти), *верзвица* (Сев. Двина и Арх.), *верзвище* (Пудож и Черепов.), *верзвина* (Иркутск., Костр., Вологод. и др. севернорусские говоры) зарегистрированы в севернорусской зоне — и это особенно важно в уяснении акцентных сдвигов специально на Севере. Другие колебания (типа *верзвьє* — *верзвьє*, или, особенно часто, в произношении дусложных слов *губа* — *губá*, *дыра* — *дырá* и под.) менее важны, так как они отражают контекстные колебания ударения, характерные для севернорусских говоров и в представленном виде обязанные не критическому отношению собирателей к регистрируемым фактам. Такие колебания не являются лексикографическим объектом описания, и их без ущерба можно было бы убрать из Словаря. Таким образом, стремясь к полноте и точности фиксации материала в традиционной записи, но не всегда последовательно расставляя лексически важное от второстепенного (по форме), составители Словаря рискуют остаться в рамках лексикографического буквализма; многое из формальной информации о слове оказывается избыточным и уж во всяком случае не столь существенным, чтобы выносить эту информацию в самостоятельную словарную статью.

В кратком обзоре невозможно коснуться всех проблем, которые затронуты, представлены или решены в обширном «Словаре русских народных говоров». Появление первых десяти выпусков Словаря означает, что период первоначального накопления материала, его предварительной разработки и начальных фаз описания, поисков наилучшей, экономной и быстрой формы исполнения и публикации сменился периодом практического действия этого Словаря, его включения в лексикографическую традицию и в лексикологические изыскания нашего времени. Словарь русских народных говоров стал фактом науки.

Здесь обсуждены только те возможности, которые раскрываются перед историком русского языка и диалектологом в работе над томами СРНГ, возможное совмещение диалектных данных с историческими (и предварительные сверки подтверждают высокую репрезентативность СРНГ), — короче говоря, та историческая перспектива, которая выявляется при внимательном прочтении из тщательно отработанных словарных статей, посвященных современной в у ч а щ е й речи русского народа.

В. В. Колесов

**А. А. Брагина. Неологизмы в русском языке. Пособие для студентов и учителей. — М., «Просвещение», 1973. 224 стр.**

Писать о чем-либо научно и в то же время популярно — трудно, писать научно и популярно о языке — трудно вдвойне, потому что язык — общее достояние, потому что каждый — носитель языка, каждый — судия. Чувство благодарности вызывает тот, кто эти трудности преодолевает с успехом. С этой мыслью мы и обращаемся к рецензируемой книге.

Говоря словами ее автора, «начнем с известных положений, а затем постараемся их уточнить» (стр. 213). Язык находится в постоянном изменении и развитии. Наиболее активно и наглядно языковое развитие реализуется в лексике, неотторжимо — через функцию названия и оценки — связанной с внеязыковым миром — миром вещей, процессов, состояний. Извечное обновление вещно-понятийного мира с неизбежностью вызывает появление в языке новых слов (неологизмов), новых их значений (неосем) и новых употреблений. «Неологизмы представляют собой универсальное языковое явление, наблюдающееся в любом языке и в любой период его развития»<sup>1</sup>. В XX в., в эпоху коренных социальных перемен, мировых войн, научно-технической революции, невиданной миграции населения, расширения межнациональных и межязыковых связей, усиления в литературном языке «разговорных» начал, рождение лексико-фразеологических инноваций происходит в таком темпе и объеме, что ими занимается особый раздел лексикологии — неология. Изучение нового в языке — непреходящая задача языковедов. Заметной вехой на этом пути является рецензируемая книга.

Новые слова в современном русском языкознании исследуются в плане их связи с внеязыковой действительностью (их мотивация, появление и история), в плане их аффиксального построения (словообразования) и в плане лексикографирования (их регистрация, картографирование и словарное упорядочение). В 1973 г. читатели получили сразу три книги, разрабатывающие эти аспекты: «Неологизмы в русском языке» А. А. Брагиной, «Рождение слова. Неологизмы и окказиональные образования» В. В. Лопатина и «Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов» под ред. Н. З. Котеловой и Ю. С. Сорокина (1-е изд. — 1971).

В сущности, почти каждое крупное историко-лексикологическое исследование предполагает разыскания о лексико-семантических неологизмах соответствующо-

го языкового периода. Труд А. А. Брагиной отличают объект анализа (неологизмы последнего времени) и постановка специальных вопросов неологии (причины и способы образования неологизмов).

А. А. Брагина устанавливает задачу исследования («... попытка показать лексику русского языка в ее развитии, в постоянном движении в связи с жизнью общества» — стр. 3), объект исследования (новые слова разного происхождения и разной структуры, новые значения старых слов), принцип исследования («... чтобы постичь причины словарных изменений, приходится как бы выходить за пределы самого языка, входить в историю общества, историю культуры, науки искусства» — стр. 3), способ исследования («Прослеживая пути словообразования, возможно сгруппировать однотипные неологизмы, т. е. провести классификацию, опираясь на словообразовательную аналогию. Группировка неологизмов существенна и по семантическому признаку... В работе анализ материала проводится одновременно на основе обоих принципов» — стр. 6) и источники исследования («... периодическая печать, журналы, а также художественная литература, опубликованная в последние годы» — стр. 4). Автор делает оговорку, что его преимущественно интересуют слова, являющиеся общим достоянием; индивидуальные новообразования (окказионализмы) привлекаются лишь для смыслового или словообразовательного фона.

Доверяя читательскому языковому ощущению, А. А. Брагина не стремится формулировать общее понятие неологизма, ограничиваясь указаниями типа: «Новые реалии вносят в язык свои наименования. Так возникают неологизмы» (стр. 3; см. также стр. 213) и «Неологизм — это не только слово, ранее не существовавшее, родившееся вместе с новым явлением. Чаще мы наблюдаем новые осмысления старых слов, обогащение их новыми значениями» (стр. 24). Такие определения неологизмов справедливы, но их недостаток — в их неполноте: они не охватывают те группы общеязыковых неологизмов, которые оставлены за бортом книги. Отсутствие в ней обобщающего определения неологизмов как категориального языкового явления сказывается при ответе на вопрос о том, каким потребностям языка служат неологизмы.

Эти потребности, по мнению автора, определяются необходимостью дать новой реалии или понятию свое название. Только ли? В. В. Лопатин, автор книги о неологизмах и окказионализмах в словообразовательном аспекте, отмечает три основные причины появления лексических и семантических неологизмов: необходимость

<sup>1</sup> Е. В. Розен, Некоторые уточнения понятия неологизма, «Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина», 317. Вопросы немецкой филологии, 1968, стр. 123.

называния новых понятий, потребность в новых экспрессивных обозначениях уже известных явлений и стремление к единому слову вместо словосочетания. Нетрудно заметить, что подчеркивание А. А. Брагиной преимущественно одной (несомненно, ведущей) мотивировки обновления лексики (новые понятия → новые слова) и, несмотря на широкое название книги, недооценка иных, внутриязыковых (в известной мере более сложных и глубоких) мотивировок (старые понятия → новые слова: *стыкование* — *стыковка*, *салатный* — *салатовый*, *речь* — *речуша*, *нержавеющая сталь* — *нержавеяйка*, *линия электропередачи* — *ЛЭП* и т. д.) мешают дать полную схему лексико-неологического процесса в языке.

Понятие неологизма соотносится с представлением о функциональных подразделениях языка. В книге А. А. Брагиной речь идет о русском языке вообще, хотя имеется в виду лишь язык литературный. Между тем источники пополнения подязыков и языка как совокупности подязыков совпадают не во всем. А. А. Брагина анализирует слова, пришедшие в общее употребление из специальной терминологии, из жаргонов (*капустник*), из иноязычной лексики — и, к сожалению, нигде не дает обобщающего рассуждения об источниках пополнения литературного языка.

Еще в прошлом веке было отмечено: «Так как язык никогда не имеет и не может иметь столько слов, сколько требуется для названия бесконечной, вечно изменчивой и вечно увеличивающейся массы понятий, то он всегда принужден прибегать как к производству, так и к... расширению значения некоторых слов»<sup>2</sup>. В этом утверждении, указывающем на одну из связующих особенностей языка и мышления (мир слов соответствует миру понятий, но количество первых не совпадает с количеством вторых), определено важнейшее направление в способах лексического и семантического обновления языка. Успехи в изучении современной русской лексики позволили А. А. Брагиной указать более конкретно пути создания новых слов. Это комбинирование существующих в языке морфем (*звездолетчик*, *телезритель*), приобретение словом нового значения (*виток*, *спутник*), заимствование слов из подязыков (*апогей*, *луноход*), заимствование слов из других языков (*кроссмен*, *круш*), создание аббревиатур разной структуры (*ЭВМ*, *лавсан*), лексикализация номенклатурных знаков (автомобиль марки *«Москвич»* → *«москвич»*) и др. Все эти способы рассмотрены автором убедительно и на множестве примеров.

А. А. Брагина показывает общий механизм рождения новых слов и новых

значений. Вслед за Н. Крушевским, Д. Н. Шмелевым и другими исследователями она отмечает, что образование новых русских слов и новых значений слов в целом связано с действием двух аналогий: структурной (аффиксальное сходство: *приземлиться*, *приводиться*, *прилуниться*) и смысловой (функциональное сходство: *орбита*, *спутник*). Эта закономерность прослеживается автором книги на большом массиве новообразований.

Теоретические проблемы освещаются А. А. Брагиной в той мере, которая необходима для упорядоченной подачи небольшого количества слов и словосочетаний (около 450), проанализированных в книге. Этот обширный словесный материал распределен по трем главам.

В первой главе «Новые явления — новые слова» неологизмы рассматриваются в их связи с несомненно новыми явлениями и реалиями — в связи с космонавтикой. Основные теоретические положения книги убедительно проиллюстрированы серией «космических» слов.

Вторая глава посвящена заимствованию иноязычных слов как основному ныне источнику пополнения языка неологизмами. Автор намечает различные типы заимствований по степени их вхождения в общий язык. А. А. Брагина показывает, как чужестранные слова находят свое место в лексической системе русского языка, как и почему одни из них сохраняют свое «иноязычное» (чаще всего предметное) значение (*кемпинг*, *компьютер*, *мotel*), а другие, вступая в синонимические отношения с русскими словами, подвергаются семантико-стилистическим сдвигам (*бизнесмен*, *воаж*, *собби*).

В третьей главе («Аббревиатуры и номенклатурные знаки в современной лексике») А. А. Брагина показывает тенденции в области именного словопроизводства: создание существительных по модели «аббревиатура + суффиксальная морфема» (*-он*: *дедерон*, *илон*; *-ан*: *лавсан*, *мэлан*; *-ик*: *газик*, не вошедшее в книгу *рафик*); конструирование слов из заимствованных элементов (*азробус*); растущее на глазах количество слов с первой префиксоидальной частью *теле-*, *радио-* и др., имеющей тенденцию к самостоятельному употреблению; массовое превращение номенклатурных знаков потребительских товаров и других изделий в слова («*запорожец*», «*ракета*»). В конце книги помещен указатель проанализированных слов и словосочетаний.

Главное достоинство книги А. А. Брагиной состоит в показе рождения или семантического обновления некоторых групп лексики, связанных с новыми явлениями предметного и социального мира нашего времени. На страницах книги читатель встречает мастерские этюды о десятках и десятках слов, которыми или новыми употребленными которых пополнился русский язык: *космонавт*, *ракета*,

<sup>2</sup> Н. Крушевский, *Очерк науки о языке*, Казань, 1883, стр. 141.

космический, спутник, лунник, луноход, орбита, стыковка и др. — в первой главе; капутник, стриптиз, вояж, круиз, кемпинг, сервис, хобби, хиппи, шансонье, шлагер, плюс, робот и др. — во второй главе. Чтобы дать представление об этой стороне книги, перескажем (пределенно кратко) одно из таких микровыводов — о слове *спутник* (в книге рассказ о нем занимает 12 страниц).

В толковых словарях докосмической эры (например, в словаре под ред. Д. Н. Ушакова) отмечаются три основных значения слова *спутник*: 1) человек, который вместе с кем-н. совершает путь; 2) то, что сопутствует чему-н., появляется вместе с чем-н. (перен.) (*Тиф — спутник голода*); 3) небесное тело, обращающееся вокруг планеты (астр.). Нетрудно заметить, что второе и третье значения выросли в свое время на базе первого значения (аналогия по сходству). С 1957 г. на основе третьего, терминологического значения широчайше распространилось сочетание *искусственный спутник Земли*. Вследствие частого и всеобщего его употребления и по закону экономии языковых средств его аналитический смысл вскоре синтезировался в одном слове *спутник*, а само его новое значение («искусственное небесное тело, обращающееся вокруг планеты») среди других значений по употребительности вышло на первое место и быстро обросло (преимущественно в языке средств массовой коммуникации) экспрессивными употреблениями (*спутник миллионов, спутник пятилетки*). В этом значении слово *спутник* (как в свое время слово *Советы*, что отметил еще В. И. Ленин<sup>3</sup>) вошло в качестве русизма во многие языки мира.

А. А. Брагина, к сожалению, не смогла воспользоваться материалами словаря «Новых слов и значений», первого у нас словаря неологизмов. Его анализ позволяет сделать дополнительные выводы о тенденциях в обогащении современного литературного языка лексическими, семантическими и структурными (имеются в виду буквенно-звуковые аббревиатуры) новообразованиями. Обращение к словарю позволило бы отметить ряд особенностей современного словопроизводства: пополнение языка главным образом именными неологизмами (существительными, прилагательными<sup>4</sup>), активное заполнение пустующих клеток семантических полей производными словами (*локатор* в сем-

надцатитомном «Словаре современного русского литературного языка», *лакаторный, локаторщик, локационный* в словаре «Новые слова и значения»; *стык, стыкать, стыкаться, стыкование, стыковать, стыковаться, стыковой* в семнадцатитомном словаре, *стыковка, стыковочный, расстыковка, расстыковаться, пристыковаться, состыковать, состыковаться* в справочнике «Новые слова и значения», *состыковка, пристыковка* в рецензируемой книге, *подстыковка, подстыковаться* в новейших материалах), обогащение языка в первую очередь лексическими, а не семантическими (как утверждает автор книги на стр. 21) неологизмами<sup>5</sup>; активное пополнение языка за счет сложных слов и т. д.

Книга А. А. Брагиной не лишена недостатков. На некоторые из них указывалось выше, на одном — композиционном — коротко остановимся здесь. Композиция книги, как кажется, не вполне удачна. Если ясен принцип выделения первой и второй главы (и потому они представляются цельными и законченными), то этого нельзя сказать о последней главе: создается впечатление, что в нее, помимо обещанных заголовком аббревиатур и лексикализованных номенклатурных знаков, отправлено все то, чему не нашлось места в первых главах. Кроме того, книге явно не хватает подзаголовков внутри глав, — без них она «слена», в первую очередь как пособие.

Книга А. А. Брагиной окажет большую помощь в практике преподавания. Сейчас, когда в школьные учебники введен раздел по лексикологии, появление такой книги более чем своевременно: учителя получили добротный материал для рассказа о вечном обновлении лексики и о живых новых словах — сверстниках нынешних школьников.

В заключение — о жанре книги. Книга А. А. Брагиной — не учебник и не академический научный труд, а книга для чтения, написанная по законам научно-популярного жанра. Богатый новейший материал, его научное освещение, живое повествование — вот ее достоинства. Давнее и глубокое внимание А. А. Брагиной к словесным новообразованиям (особенно к иноязычным заимствованиям) обернулось для читателя книгой о языке в его извечном диалектическом аспекте — аспекте лексико-семантического обогащения. Подобные книги необходимы читателю.

Е. А. Левашов

<sup>3</sup> «Наше русское слово „Совет“ — одно из самых распространенных, оно даже не переводится на другие языки, а везде произносится по-русски» (В. И. Ленин и н, Полн. собр. соч., 40, стр. 204—205).

<sup>4</sup> В словаре «Новые слова и значения» существительные и прилагательные составляют не менее 90% слов.

<sup>5</sup> В словаре «Новые слова и значения» 90% слов первого типа и лишь 10% — второго.

«Орфографический морской словарь». Опыт словаря-справочника,  
сост. Р. Э. Порецкая, под ред. чл.-корр. АН СССР  
Ф. П. Филина. — М., 1974. 293 стр.

Вышел в свет первый отраслевой орфографический словарь. Удачно, что им оказался орфографический морской словарь. Любая отрасль современной терминологии нуждается в орфографической кодификации. Орфография же морской терминологии занимает особое положение в силу ряда исторических причин. Она традиционна в большей степени, чем орфография других областей. И хотя рецензируемый словарь явился пионером в области отраслевых орфографических словарей, составителю его пришлось решать те же вечные лексикографические проблемы, которые стоят перед каждым составителем любого словаря: слозник, содержание словарной статьи, собственно орфографический облик слова.

**С л о в н и к.** Кроме общей лексикографической трудности, — что должно быть включено в словарь: лексика в максимально полном объеме или только слова, представляющие орфографическую сложность, — перед составителем любого отраслевого словаря, естественно, возникает дополнительная трудность, связанная с ограничением лексики данной терминологической отрасли. В этом словаре проблема заключена в определении того, какая лексика является морской, какая — неморской и какая из смежной лексики должна быть включена в словарь. Промежуточная группа и представляет наибольшую трудность. Редактор словаря чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филин пишет в предисловии: «Для орфографического морского словаря нужно было определить, что нужно считать морской терминологией: слова, которые специфичны только для морской профессии, или же слова, фактически употребляющиеся во всех разновидностях морского дела (в кораблестроении, кораблевождении, морской авиации и т. п.). Составитель пошел по пути отбора слов, имеющих в языке специалистов, связанных с морским делом. Мне представляется, что это единственно правильное решение вопроса... Каждое записанное в морском словаре слово должно быть подтверждено соответствующими источниками — авторитетной литературой, посвященной всем разновидностям морского дела. И чем чаще встречается термин в морском словоупотреблении, тем больше оснований для включения его в словарь» (стр. 3—4).

Особенностью рецензируемого словаря является то, что наряду с отдельными словами в качестве самостоятельных словарных статей в нем выступают и словосочетания. В статье «Состав словаря» определяются условия такого включения в словарь «устойчивых сочетаний слов»: а) если общелитературное слово или термин употребляется в морском языке

только в определенном сочетании, например: *глаз бури, москитный флот, набор корабля*; б) если написание словосочетания может вызвать затруднение, например: *Военно-морской флаг СССР, Корабельный устав Военно-Морского Флота СССР, Правила для предупреждения столкновения судов в море*. Кроме того, в словарь включены некоторые наиболее употребительные в морской практике и литературе устойчивые словосочетания, например: словосочетания, обозначающие типы и классы кораблей, виды корабельных и навигационных огней и знаков и т. п., а также специфические морские словосочетания типа: *лечь на курс, стать на якорь и т. п.* (стр. 7).

Если учитывать задачи орфографического словаря, то вполне оправданным представляется включение в него словосочетаний, связанных с проблемой написания в них прописной или строчной буквы. Включение же в орфографический словарь сочетаний слов, не представляющих орфографической сложности и уже приведенных в словнике данного словаря в качестве отдельных слов, может вызвать сомнение, тем более, что сама лингвистическая проблема выделения «устойчивых сочетаний» трудна и небесспорна. Включение всех возможных сочетаний нереально. А выбор некоторых, даже и наиболее употребительных, естественно, не лишен случайности, например: *академическая лодка, деловой заход корабля, держащая сила якоря, навигационный знак, режим плавания, мякоть паруса и т. д.* Напрашивается вопрос: только ли в этих сочетаниях встречаются данные слова: *академическая лодка... А грелка, судно и др. под?* Как отмечает составитель, под «устойчивыми сочетаниями слов» подразумеваются словосочетания, «наиболее употребительные в морской практике и литературе» (стр. 7), а не устойчивые словосочетания в лингвистическом смысле, т. е. близкие к фразеологическим единицам (хотя словосочетания подобного рода тоже имеются в словаре: *обрезать нос, обрезать корму и др. под.*). Для специалистов списки словосочетаний того и другого типа, без сомнения, представляют интерес. Р. Э. Порецкая располагает картой, включающей гораздо большее число словосочетаний, чем приведено в словаре. Представляется, что было бы целесообразно и полезно выделить их в отдельный самостоятельный словарь или, в крайнем случае, в отдельное большое приложение к словарю.

Рецензируемый словарь включает «Приложение»: «Приложение I. Местные морские и речные термины, которые употребляются не повсеместно, а только в

некоторых районах (бассейнах); «Приложение II. Командные слова, наиболее употребительные, касающиеся повседневной службы и быта экипажа корабля»; «Приложение III. Океаны, моря и наиболее обширные и важные в навигационном отношении заливы, проливы и каналы». В конце словаря указаны «Основные источники словаря (словари, справочники, энциклопедии)». Каждое из «Приложений» представляет большую ценность для специалистов, хотя и выходит за рамки чисто орфографических задач. Список использованной литературы свидетельствует о том, на каком прочном фундаменте построен словарь.

**С о д е р ж а н и е** словарной статьи и. Словарная статья в орфографическом словаре специфична. Строго говоря, орфографический словарь должен нести только чисто орфографическую информацию о слове. Однако само понятие «чистой» орфографии достаточно неопределенно. Очевидно, речь должна идти о фиксации орфографически трудных слов и их форм. Следовательно, орфографический словарь не может ограничиться приведением слов только в исходных формах. С другой стороны, загромождение словарной статьи орфографического словаря сведениями, касающимися грамматической характеристики слов, и разного рода пометами затруднило бы пользование словарем. «Структура орфографического словаря», — писал С. И. Ожегов, — по самому содержанию не может отличаться большой сложностью. Поэтому в нем предусмотрено такое расположение материала и вспомогательного аппарата, которое в наибольшей степени облегчило бы наведение конкретных орфографических справок<sup>1</sup>.

Рецензируемый словарь в подаче грамматических форм и акцентологических сведений следует за «Орфографическим словарем русского языка» (1963): при существительных последовательно даются формы родительного падежа, при глаголах — формы 1 и 2-го лица и т. д. Внимательный анализ словаря позволяет сделать вывод о том, что от приведения некоторых форм слов можно было бы безболезненно отказаться во имя краткости и большей орфографической наглядности, например, от форм женского и среднего рода прилагательных, форм творительного падежа существительных и др. (кстати, эти формы не приводятся в последнем издании «Орфографического словаря» 1974 г.).

Специфической особенностью орфографических словарей является отсутствие в них указаний на значение слова. Орфографические словари относятся к типу «нетолковых» словарей. Толкование сло-

ва приводится в случаях, когда при одинаковом произношении двух слов их написание различается; ср., например: *кампания* «поход, деятельность» и *компания* «общество» и др. В данном отраслевом словаре выделена группа слов, сопровождающаяся толкованием. Это слова, имеющие в морском употреблении другое значение, чем в литературном языке, например: *аппендикс* «специальная труба для подачи воздуха к дизелям на подводных лодках»; *глухарь* «крышка у иллюминатора, винт»; *оплеуха* «бревно, которым сдвигают баржу с места»; *пассынок* «дополнительная накладка на деревянных судах» и мн. др. И хотя с чисто орфографической точки зрения эти сведения избыточны, они представляют интерес для лексикографии. Лексикографы, воспользовавшись материалом, имеющимся в морском словаре, могут значительно расширить круг лексических значений многих слов.

Один из самых сложных вопросов — это вопрос о необходимости или возможности приведения стилистических помет в орфографическом словаре. Орфографический словарь, как известно, включает лексику разных стилистических, хронологических и других пластов. Однако поскольку цель орфографического словаря состоит в том, чтобы дать сведения о написании слов, а не нормализовать словоупотребление, то, как правило, стилистические пометы в орфографическом словаре не используются. Пометы приводятся случайно и непоследовательно. Р. Э. Порецкая в подаче стилистических помет больше ориентировалась на толковые словари. Так, в Словаре даются пометы *воен.*, *мор.*, *мор. разг.*, *стар.* и *устар.* Пометы *стар.* и *устар.* используются в 17-томном «Словаре современного русского литературного языка» С. И. Ожегова. В этих словарях помета *стар.* означает «старое, старинное», а *устар.* — «устарелое». Если же обратиться к значениям данных слов, толкуемых этими же словарями, то *старый* означает «старинный, древний, прежний, не современный, устаревший», а *устарелый* — «вышедший из употребления, не соответствующий современности» (см. «Словарь русского языка» С. И. Ожегова, 1973). Само значение этих терминов недостаточно четко дифференцировано, и эта недифференцированность, естественно, находит свое отражение в словарях.

Р. Э. Порецкая попыталась найти временной порог для разграничения этих помет: «старое или старинное: условно XIX век и ранее, а устар. — устарелое в недавнем прошлом» (стр. 9). Однако в действительности трудно быть последовательным, придерживаясь такого разграничения. Само же приведение исторических форм слов, безусловно, представляет интерес. Возможно, даже желательно сопровождать их пометой, ука-

<sup>1</sup> С. И. Ожегов, Упорядочение русской орфографии, «Вестник АН», 1957, 1, стр. 37.

зывающей на несинхронный временной пласт. Однако наличие двух помет — *стар.* и *устар.* — лишь усложняет картину. Распределение материала между этими двумя пометами представляет большую трудность для составителя. Р. Э. Порецкая делила материал между пометами *стар.* и *устар.* на основе большой специальной литературы. Достаточно посмотреть раздел «Основные источники словаря», включающий морские словари и энциклопедии, морские справочники, морские пособия, морскую специальную литературу, морскую популярную и художественную литературу. Тем не менее остается много неясных и сомнительных случаев. Ср.: *шкив* (стар. *шкив*) и *шкот* (устар. *шкот*); *шхуна* (устар. *шхуна*), *подшхипер* (устар. *подшхипер*); *шканечный* (стар. *шканечный*) и *шканцы* (устар. *шканцы*). Вряд ли можно считать вариант *шлюз* (к *шлюз*) устарелым «в недавнем прошлом» и т. д. и т. п. Не целесообразнее ли было бы все слова и формы слов, не встречающиеся в современном употреблении, характеризовать одной пометой? В целях наглядности желательнее было бы также рекомендовать больший набор прифтов. Поскольку словарь орфографический, то существенно выделить прифтом то, что не относится к рекомендуемой форме. Соответственно слова и формы слов с пометой *стар.* (или *устар.*) должны иметь иное прифтовое оформление, нежели основное слово.

Для этого словаря характерен большой набор вариантов слов и форм слов (произносительных, акцентологических, грамматических, словообразовательных и др.). Составитель не ограничился только приведением вариантов, а системой отсылок отличил более употребительные варианты от менее употребительных. «Если слова имеют связанные с различием написания произносительные, словообразовательные или лексические варианты, то на первом месте дается основной, более употребительный вариант. Если варианты должны занимать разные места по алфавиту, то при более употребительном варианте приводятся все варианты слова, а менее употребительные варианты даются в порядке алфавита со ссылкой на более употребительный вариант» (стр. 9). Например: *чайка* и *шайка*, *шайка* см. *чайка*; *скалы* и *шкалы*, *шкалы* см. *скалы*; *паузок* и *павозок*, *павозок* см. *паузок* и др.

Проблема границ слова и его вариантов является одной из труднейших теоретических и практических лексикографических проблем. В статье «О слове и вариантах слова» Ф. П. Филин писал: «Какие объективные признаки существуют в языке, которые позволили бы говорить, что в одних случаях разное оформление слова не нарушает единства слов и лишь создает варианты одного и того же слова, а в других случаях разное оформление приводит к образованию двух или

нескольких самостоятельных слов...» и далее: «То, что этот вопрос слабо разработан, между прочим, подтверждается тем, что в толковых словарях современного русского языка варианты слов описываются неодинаково, причем разницей обычно явственно ощущается даже в одном и том же словаре»<sup>2</sup>. С этой сложностью, естественно, встретилась и Р. Э. Порецкая, о чем свидетельствует анализ словаря. Непонятно, почему на фоне большого числа соотносимых друг с другом вариантов слов в словаре не соотносятся (а приводятся как самостоятельные слова на своем алфавитном месте) общепринятые варианты *туннель* и *тоннель*, *фиорд* и *фьорд*, *шпатель* и *шпатлевать* и некот. др.

Орфографический облик слова. Наиболее существенной для орфографического словаря является задача унификации орфографического разноречия. Решение этой задачи требует четкого разграничения языковых и орфографических вариантов. При этом следует учитывать, что если по отношению к языковым вариантам орфографический словарь может использовать лингвистические исследования и данные других словарей (в основном, толковых), приспособив их к структуре орфографического словаря, то по отношению к орфографическим вариантам этот словарь занимает особую позицию: только в нем должны решаться вопросы выбора орфографического варианта. Выбранное и рекомендованное написание становится обязательным для всех иных нормативных словарей. Выполнение этой задачи особенно важно в настоящее время, поскольку современная орфография характеризуется высокой степенью стандартизации. «Упорядоченность орфографии, — писал С. И. Ожегов, — расценивается как важный показатель высокой культуры нации»<sup>3</sup>.

Итак, кодификации написания — основная задача любого орфографического словаря. Как эта задача решается в рецензируемом словаре? «Орфографический морской словарь» составлен в соответствии с «Правилами русской орфографии и пунктуации» (1956) и с «Орфографическим словарем русского языка». Однако в отличие от «Орфографического словаря», не дающего собственно орфографических вариантов в рецензируемом словаре орфографические варианты приводятся. Часть орфографических вариантов дается с пометой *стар.* и *устар.* Условно назовем их «историческими орфографическими вариантами». Приведем примеры: *балласт*

<sup>2</sup> Ф. П. Филин, О слове и вариантах слова, сб. «Морфологическая структура слова в языках различных типов», М.—Л., 1963, стр. 129.

<sup>3</sup> С. И. Ожегов, указ. соч., стр. 30.

(устар. *баласт*), *выбленки* (стар. *выблинки*), *голет* (устар. *галет*), *гурий* (устар. *гурей*), *саллинг* (стар. *саленг*), *фалинь* (устар. *фалень*), *пертульнь* (устар. *пертулень*), *ладья* (устар. *лодья*), *спонсон* (устар. *спансон*), *шхербот* (устар. *шхер-бот*), *брестроп* (устар. *брест-роп*), *гакаборт* (стар. *гака-борт*), *гельмпорт* (устар. *гельм-порт*), *гюйситок* (устар. *гюйс-шток*), *контрабрас* (устар. *контра-брас*) и мн. др. Даже приведенные примеры (а их значительно больше) показывают, с какой тщательностью составитель работал над словарем. В словаре даны не только разные написания, встречавшиеся когда-либо в морской литературе, но они еще к тому же распределены между двумя пометами *стар.* и *устар.*

Однако невольно напрашивается вопрос, на пользу ли орфографическому словарю эти интересные сведения? Орфографический словарь по задачам своего жанра имеет максимально краткую словарную статью. Загромождение этой статьи сведениями исторического характера усложняет пользование словарем. Ведь в современных орфографических словарях не приводятся сведения времен гротовской орфографии или орфографии периода до 1956 г. (например, *пескарь* — стар. *пискарь*, *галерея* — устар. *галлерей*). Р. Э. Порецкая последовательно в приведении исторических орфографических вариантов: она дает даже *идти* (устар. *итти*), *вожжи* (устар. *воажжи*). Сведения подобного характера приводятся в «Словаре современного русского литературного языка» (в 17 томах). Сопровождающая их помета «иным написанием» представляется нам более точной. Кроме того, эти сведения даются в конце большой словарной статьи, набранной другим шрифтом. Такие исторические справки, безусловно, обогащают толковые словари. Они были бы полезны и в морском толковом словаре.

Более сложную группу представляют орфографические варианты, которые мы условно назовем «синхронными орфографическими вариантами». В словаре они приводятся без помет, в качестве равноправных вариантов. Приведем примеры: *арьергардия* и *арриергардия*, *галанить* и *голанить*, *гукар* и *гукор*, *дев-гордени* и *деф-гордени*, *ёла* и *иола*, *каражка* и *карака*, *карлингс* и *карленгс*, *княвдегед* и *княвдигед*, *лошка* и *ложка*, *найол* и *наёл*, *сарень* и *сарынь*, *котендаун* и *каттендаун* и др. Задача составителя орфографического словаря здесь более сложная, потому что в каждом конкретном случае при выборе теоретически оправданного и практически целесообразного варианта приходится руководствоваться соображениями самого разного порядка: орфографической тенденцией, например, в случаях выбора между одной и двойной согласной в заимствованных словах, опосредствованной связью с ре-

комендацией какого-либо параграфа «Правил» и др. И чем бы ни руководствовался составитель словаря — он должен выбрать и рекомендовать одно написание. Такова задача орфографического словаря.

Включение орфографических вариантов в тех случаях, когда «Орфографический словарь» и «Правила» рекомендуют одно написание, представляется, на наш взгляд, ошибочным, например: *паром* и *пором*, *палундра* и *полундра*, *стег* и *стяг* (флаг) и некот. др. Вряд ли существование таких вариантов может быть оправдано соображением о возможности допущения орфографических вариантов в разных терминологиях. Наличие их противоречило бы орфографии как системе письменных норм, ведь «смысл и ценность орфографии в ее единстве. Чем идеальнее это единство, тем легче взаимопонимание»<sup>4</sup>. Это единство в настоящее время определяется «Правилами русской орфографии и пунктуации». В рецензии мы не касаемся существа (достоинств и недостатков) «Правил». Речь идет лишь о соблюдении и о возможности соблюдения этих «Правил». Остановимся на некоторых примерах. Так, написания типа *гон-дек* и *гондечный*; *брам-шкот* и *брамишкотовый*, *брамишкотный*; *марса-фал* и *марсафальный* противоречат § 84, п. 1 «Правил» («Пишутся через дефис сложные прилагательные, образованные от существительных, пишущихся через дефис...»). По «Правилам» должны иметь иное написание слова *арцыпуны*, *фикс-чюр-пот* [§ 1 «после ж, ч, ш, щ не пишется я, ю, и, а пишется у, а, и» и § 2 «после ц буква ы пишется только в словах *цыган*, *цыпленок*, *на цыпочках*, *цыц* (междометие)»]. В «Правилах» оговорено, что они не распространяются на написание имен собственных, но это примечание не означает, что «Правила» не распространяются на различные терминологические системы.

Некоторые написания, находящиеся в противоречии с «Правилами», нельзя считать ошибочными: так, правило о написании *э—е* после согласных в иноязычных словах (§ 3, п. 3) рекомендует написание *е*, кроме слов *мэр*, *пэр*, *сэр*. Наблюдения над реализацией этого правила в практике показывает, что количество слов с *э* после согласных значительно превосходит перечисленные списком исключения в «Правилах». Пишут *э* в словах *плэнэр*, *рэкэт*, *удэ*, *блэкрот* и др. По-видимому, группа иноязычных слов с произношением твердого согласного перед [э] не может в современном языке быть представленной закрытым списком. Поэтому написания *тэн*, *кэт*, *мэйдэй*, *мэндек*, рекомендованные в «Орфографи-

<sup>4</sup> Л. В. Щербачева, Безграмотность и ее причины, сб. «Избр. работы по русскому языку», М., 1957, стр. 57.

ческом морском словаре», неправомерно рассматривать как ошибочные. Скорее речь должна идти об уточнении данного правила.

Анализируя собственно орфографическую сторону этого орфографического словаря, невольно наталкиваешься на вопрос: кто же должен осуществлять нормализаторскую функцию? Может ли и должен ли брать ее на себя составитель словаря? Имеются в виду случаи разнобоя, вариативности, отказ от традиционных написаний во имя унификации написания в группах слов, установление написания новых слов и слов, написание которых определяется в словарном порядке, и др. Так, например, в словаре обращает на себя внимание разное написание в группах сходных слов: *киль-поручень*, *киль-стабилизатор* и *кильблок*, *кильбалка*; *грот-штаг* и *бакштаг*; *гак-блок* и *гак-борт*, *гак-сбрасыватель*, *гек-бот* и *гек-балк*, *галфвинд* и *галф-дек* и др. Нет сомнения, что составитель строго следовал традиции. И хотя морской терминологии более, чем какой-либо другой, свойственны традиционные написания, некоторое упорядочение ее представляется целесообразным. Безусловно, составителю отраслевого орфографического сло-

варя, какой бы высокой квалификации он ни был, трудно решать эти вопросы. Не настало ли время для создания постоянно действующей комиссии, состоящей из специалистов разных отраслей знаний и лингвистов? Эта комиссия и могла бы взять на себя обязанности консультативного и нормализаторского органа в области орфографии терминологий.

Рамки журнальной рецензии не позволяют остановиться на многих вопросах, связанных с проблемой выработки типа отраслевого орфографического словаря. Появление «Орфографического морского словаря» является серьезным этапом в развитии современной лексикографии. Словарь дает возможность конкретно обсуждать вопросы, связанные со спецификой орфографического отраслевого словаря. Следует сказать, что морскому словарю повезло: его составитель сочетает в себе высокую квалификацию лингвиста-лексикографа и специалиста в области морской терминологии. Это в высокой степени проявилось в настоящем издании и безусловно поможет улучшить словарь при его переизданиях.

Б. З. Букчина, Л. П. Калакуцкая

## ПО СТРАНИЦАМ НОВЫХ ЖУРНАЛОВ

Реферативные журналы (РЖ) АН СССР «Общественные науки в СССР» и «Общественные науки за рубежом» имеют своей целью систематическое ознакомление научных работников, преподавателей высших учебных заведений, широких кругов советской интеллигенции с наиболее значительной литературой по общественным наукам, выходящей в СССР и за рубежом. РЖ «Общественные науки в СССР» выпускается в следующих сериях: «Проблемы научного коммунизма», «Экономика», «Философские науки», «Государство и право», «История», «Языкознание», «Литературоведение», а РЖ «Общественные науки за рубежом», кроме указанных серий, выходит в сериях «Науковедение» и «Востоковедение и африканистика».

Проблематика советского языкознания чрезвычайно многообразна. При всем своем разнообразии оно имеет одну философскую основу — всеобъемлющее диалектико-материалистическое учение, представляющее собой методологическую основу для научного познания, осмысления ряда трудных проблем науки о языке и их решения.

Важной составной частью творческой разработки проблем советского теоретического языкознания является последовательная и регулярная борьба с немарксистскими концепциями в языкозна-

нии и прежде всего с проявлениями таких течений неопозитивизма, как лингвистическая философия, общая семантика.

Исходным принципом советского марксистского языкознания является признание объективного существования языка, изучение конкретных форм языковой семантики и материи. Поэтому советские языковеды критически относятся к философским основам структурального направления в языкознании, которое абсолютизирует языковые отношения, понимает язык как формальную структуру языковых символов, отрывает язык от общества и мышления.

Разнообразные идеалистические течения буржуазной философии отражаются в различных лингвистических направлениях в современном капиталистическом мире, зачастую облекаясь в одежды «модных» теорий и идей. Трезво оценивая мнимую «новизну» структуралистских и неоструктуралистских идей, советские языковеды руководствуются высказываниями В. И. Ленина, решительно выступавшего против фетишизации «нового» в искусстве, против «новаторских» претензий футуристов. В. И. Ленин спрашивал: «Почему надо преклоняться перед новым, как перед богом, которому надо поклониться только потому, что „это ново“? Бессмыслица, сплошная бессмыс-

лица! Здесь много лицемерия и, конечно, бессознательного почтения к художественной моде, господствующей на Западе...». В. И. Ленин в этом усматривает признак провинциализма и мешанской мелкотравчатости. «Мы хорошие революционеры, — продолжает он, — но мы чувствуем себя почему-то обязанными доказать, что мы тоже стоим „на высоте современной культуры“. Я же имею смелость заявить себя „варваром“. Я не в силах считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих „измов“ высшим проявлением художественного гения»<sup>1</sup>.

Это ленинское высказывание можно отнести и к языкознанию. В. И. Ленин был нетерпим к крикливой претенциозности модернизма, отрицающего культурное наследие прошлого, преемственную связь с этим прошлым.

Теоретические и методологические принципы советского языкознания сделали его особым направлением в мировой науке о языке и определили своеобразие его содержания. Поэтому всякое сопоставление советского языкознания с другими направлениями мировой лингвистической мысли не может производиться без учета различия в принципиальных и методологических основах лингвистического исследования. Такое сопоставление невозможно и без учета конкретной истории языкознания в Советском Союзе. Она наглядно показывает, как само развитие лингвистической мысли тесно связано с историей советского общества, строящего коммунизм, какое важное значение имел трудный, но необходимый процесс выработки новых теоретических и методологических основ самой науки о языке.

Советское языкознание достигло значительных и общепризнанных успехов. Характерными особенностями советского языкознания как общественной науки являются его теснейшая связь с историей многонационального по своему составу советского общества и вытекающие отсюда социолингвистические проблемы, глубокое изучение истории литературных языков разных народов, разностороннее по охвату материала развитие истории и практики сравнительно-исторических и типологических исследований, углубление лингвистических задач и идей общей теории языкознания.

Расцвет национальных культур народов СССР осуществляется с развитием важнейшего их элемента — национальных языков. Вместе с тем неизмеримо выросло международное и национальное значение русского языка.

Главный итог языкового развития хорошо определен в постановлении ЦК

КПСС: «Важным результатом успешного решения национального вопроса в нашей стране является всестороннее развитие языков всех социалистических наций и народностей Советского Союза. Более 40 народов, не имевших в прошлом своей письменности, обрели в советский период научно разработанную письменность и имеют теперь развитые литературные языки. Все нации и народности СССР добровольно избрали русский язык в качестве общего языка межнационального общения и сотрудничества. Он стал могучим орудием взаимосвязи и сплочения советских народов, средством приобщения к лучшим достижениям отечественной и мировой культуры»<sup>2</sup>.

В связи с этим возникла новая сложная социолингвистическая проблема — изучение соотношений и взаимодействий разных языков народов Советского Союза с русским.

Исследования по указанным выше проблемам, разрабатываемым в советском языкознании, будут находить свое отражение в реферативном журнале «Общественные науки в СССР. Серия 6. Языкознание», который ставит своей целью ознакомить советских языковедов с решением основных методологических проблем современного советского языкознания, с конкретными достижениями в исследовательской практике изучения различных языков, полученными в лингвистических научно-исследовательских учреждениях и высших учебных заведениях Советского Союза.

РЖ «Общественные науки за рубежом. Серия 6. Языкознание» ставит своей целью дать своевременное изложение современных теоретических положений, содержащихся в работах зарубежных лингвистов, в первую очередь языковедов братских социалистических стран, ознакомить советских ученых с конкретными достижениями в интерпретации фактов различных языков. Эти достижения могут быть использованы в исследовательской практике советских ученых.

Основой отбора материалов для РЖ «Общественные науки в СССР» и «Общественные науки за рубежом. Серия 6. Языкознание» служат поступления Библиотеки им. В. И. Ленина, Всесоюзной государственной библиотеки иностранной литературы, библиотеки Института научной информации по общественным наукам АН СССР, а также библиотек институтов АН СССР.

Структура расположения материалов в РЖ серия «Языкознание» носит следующий характер. Вначале располагаются разделы, посвященные общеметодологи-

<sup>1</sup> «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в пяти томах», 5, М., 1969, стр. 13—14.

<sup>2</sup> «О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистических Республик. Постановление ЦК КПСС», «Коммунист», 1972, 3, стр. 9.

ческим проблемам языкознания, затем следуют разделы, включающие материалы по уровням языка. В пределах каждого раздела выделяются в зависимости от количества материала отраслевые рубрики и подрубрики. Поскольку реальное наполнение этих рубрик будет зависеть от поступления литературы, то их состав в отдельных выпусках может быть различным. В рубрике или подрубрике рефераты группируются по близости тематики.

В индексе реферата включаются следующие элементы: год, номер РЖ и порядковый номер реферата (например, 73.01.008 означает 8-й реферат в РЖ № 1 за 1973 г.).

Журнал издается ежеквартально. Вышло уже по 10 номеров серии «Языкознание» РЖ «Общественные науки в СССР» и «Общественные науки за рубежом», в которых опубликовано около 1000 рефератов книг и статей советских и зарубежных авторов.

Издание РЖ по языкознанию в нашей стране предпринимается впервые. Естественно, что отсутствие необходимого опыта не может не создавать известных трудностей.

Одной из таких трудностей является выработка критериев структуры реферата. При написании и оформлении рефератов на книги и сборники статей по общественным наукам, которые направляются в РЖ «Общественные науки в СССР» и «Общественные науки за рубежом». Серия 6. Языкознание» должны соблюдаться следующие основные требования.

Размер реферата должен составлять 0,25 а. л. на монографию, сборник статей (реферировать целиком) и оригинальный учебник (1-е изд.), написанные на русском языке. Допустимое превышение — 1 машинописная стр. (1600 знаков). В отдельных случаях (особо важная работа, крупная коллективная монография) размер реферата может составлять до 8 стр. машинописного текста.

Структура реферата включает библиографическое описание, собственно реферативную часть и справочный аппарат: а) библиографическое описание включает: фамилию, инициалы автора, название реферированной работы, фамилию, инициалы отв. редактора, место издания, название издательства, год издания, количество страниц;

б) собственно реферативная часть включает основную информацию о работе, содержащую следующие главные элементы: 1) краткие сведения об авторе (авторах): место работы, должность, ученая степень и звание, ранее выпущенные работы, круг научных интересов; 2) теоретическая и историко-научная (экспериментальная) база работы; 3) цель реферированной работы; 4) приемы и методы исследования; 5) основное содержание

логики построения работы; позиция по дискуссионным вопросам темы, краткое изложение критикуемых в работе буржуазных и ревизионистских концепций и контраргументы автора; 6) выводы и отмеченные автором возможности научного и практического применения результатов работы; при цитировании в скобках обязательно указываются страницы оригинала;

в) справочный аппарат включает в себя справки о количестве иллюстраций и таблиц, об имеющейся библиографии, а также примечания референта, если в последних есть необходимость.

Язык реферата должен быть лаконичным и точным. В реферате должна применяться стандартизованная или принятая в данной науке терминология. Термины и словосочетания, многократно применяемые в реферате после первого употребления, допускаются заменять аббревиатурой и текстовыми сокращениями. При первом употреблении аббревиатура дается в скобках непосредственно за терминами, которые она заменяет; в дальнейшем — без скобок. Например, научно-техническая революция (НТР). При наличии в работе новых или малоизвестных терминов их следует объяснить при первом употреблении в реферате.

Ссылки на опубликованные ранее работы даются в следующих случаях: если работа является продолжением ранее опубликованной; если автор реферированной работы обсуждает или критикует эти работы; если это необходимо для обоснования примечаний референта.

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы) могут быть включены в реферат полностью или частично, если они отражают основное содержание первоисточника или сокращают текст референта. В этом случае должны выбираться четкие, ясные и неискаженные иллюстрации, которые могут быть воспроизведены достаточно отчетливо.

В конце реферата, справа, помещаются инициалы и фамилия референта (например, А. И. Иванов). В случае необходимости можно оставить только инициалы или три заглавные буквы с точками, например, А. И. или А. И. И. Звание и ученая степень не приводятся.

Реферат представляется в двух машинописных экземплярах, напечатанных через два интервала. Во избежание возможных искажений, ошибок и пропусков он должен быть вычитан автором реферата, подписан и датирован.

К реферату на работу, изданную в СССР, прилагается выписка об его утверждении из протокола заседания дирекции или ученого совета института (факультета), в которой обязательно должно быть записано: «Содержание реферата полностью соответствует содержанию реферированной работы».

Редакция оставляет за собой право

сокращения объема реферата в результате редакторской работы.

Все рефераты на работы по языковедению направляются по адресу: 117418, Москва, В-418, ул. Красикова, 28/45. Институт научной информации по общественным наукам АН СССР, Отдел языковедения.

Редакция выражает надежду, что усилиями всех советских языковедов жур-

нал сможет достигнуть своей основной цели — ознакомить широкие круги советской и зарубежной лингвистической общественности с богатством и многообразием творческих подходов в исследовании языковедческих проблем, разрабатывающихся во всех концах нашей многонациональной Родины и за рубежом.

Ф. М. Березин

## НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

В 1971 г. в Венгрии начал выходить информационный бюллетень по языковедению «*Analecta linguistica*» под ред. проф. А. Рона-Таша. Бюллетень выходит ежегодно двумя отдельными выпусками, составляющими годовой том; уже вышло четыре годовых тома.

«*Analecta linguistica*» — издание библиографического характера: в журнале публикуется систематическая библиография научных лингвистических монографий и отдельных оттисков, которые были приобретены библиотеками Венгрии или поступили в редакцию журнала, причем указывается, в каких венгерских библиотеках имеются упоминаемые в журнале издания. Языковедческая периодика подается в виде списка журналов, которые выписаны библиотеками Венгрии или поступили в редакцию журнала.

За собственно библиографическим отделом следовали более детальные сведения об отдельных языковедческих монографиях, преимущественно изданных в Венгрии, в виде факсимильного воспроизведения титульных листов соответствующих книг и их содержания (оглавления). Впрочем воспроизведения оглавления монографий в последних томах журнала уже нет. Большое место в каждом выпуске также занимает факсимильное воспроизведение годового содержания различных языковедческих периодических изданий: в вышедших четырех томах бюллетеня (1971, 1972, 1973, 1974) можно познакомиться с содержанием многих лингвистических журналов и продолжающихся серийных сборников за 1969—1973 гг.

Важное место в журнале занимает раздел «Лингвистические библиографии», где печатаются тематические библиографии по отдельным проблемам языковедения или списки работ отдельных лингвистов.

В т. I (1971) содержатся библиографический обзор публикаций по уральскому языковедению в Венгрии за 1945—1969 гг., материалы к библиографии трудов по типологии уральских и алтайских языков за 1968—1969 гг., перечень алтаистических публикаций Индианского университета (США) и библиография работ венгерского тюрколога Л. Фекете (1891—1969).

В т. II (1972) помещен список печатных работ одного из ранних сторонников алтайской теории В. Шотта, аннотированная библиография трудов основоположника венгерской славистики О. Ашбота, а также список публикаций Л. Лигети за последние одиннадцать лет (1962—1972) [в дополнение к ранней библиографии в «*Acta orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae*» (XV, 1962, стр. 7—13)] в связи с 70-летием выдающегося венгерского востоковеда.

В т. III (1973) дана вторичная библиография (библиография библиографии) работ по венгерской ономастике, а также список трудов венгерского тюрколога Й. Туря (1861—1906).

В первой части т. IV (1974) помещена избранная библиография изданий старых памятников венгерской письменности и литературы о них.

Заключают каждый номер журнала кодовый список библиотек, именной указатель авторов и редакторов упомянутых в журнале монографий, список условных сокращений и таблица венгерской и традиционной латинской транслитерации кириллических знаков.

Венгерский информационный бюллетень по языковедению «*Analecta linguistica*» по своему характеру приближается к библиографическим бюллетеням «Новая советская литература по языковедению» и «Новая иностранная литература по языковедению», ежемесячно издаваемым Фундаментальной библиотекой Института научной информации по общественным наукам Академии наук СССР и содержащих лишь систематическую библиографию новых книг и статей по языковедению. Правда, журнал «*Analecta linguistica*» дает более широкий объем литературы, не ограничиваясь чисто лингвистическими работами; кроме того, он информирует о новых работах более оперативно, хотя и не в столь детальной систематике.

Новое венгерское периодическое издание по библиографии языковедения представляет несомненный интерес и для наших лингвистов как заметный ориентир во все увеличивающемся море лингвистических публикаций.

И. Г. Добродомов

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

10 января 1975 г. в МГУ состоялись юбилейные Виноградовские чтения. Они открылись докладом Н. С. Поспелова «О выражении перфектности в русском глаголе». Опираясь на признание В. В. Виноградовым перфектного значения основным значением формы прошедшего времени, Н. С. Поспелов в докладе остановился на общей семантической специфике перфектного значения прошедшего совершенного в современном русском языке, не касаясь вопроса о семантической дифференциации перфектного значения в его оттенках — результативном, качественном, possessивном — и их зависимости от лексических значений глаголов. Специфику перфектного значения Н. С. Поспелов видит в выражении самого перехода, самого включения прошлого в настоящее, которое воспринимается как наличный результат этого прошлого. Специфика перфектного значения глаголов прошедшего времени совершенного вида вскрывается при сопоставлении высказываний различного плана речи, это значение не дается, а ищется и возникает в самом процессе коммуникации, осуществляясь в речи говорящего как «речевое событие», происходящее на линии субъекта речи и завершающееся в настоящем. Двузначность, совмещение в едином выражении двух временных сегментов — прошедшего и настоящего — является структурно-семантической особенностью прошедшего совершенного. Таким образом, специфика перфектного значения состоит в движении времени из прошлого в настоящее, а глагол-сказуемое в перфектном значении оказывается носителем коммуникативного ударения и центром высказывания. В структуре сложного синтаксического целого формы прошедшего времени совершенного вида с перфектным значением, завершая ряд форм с аористическим значением, могут открывать группу предложений со значением настоящего времени. Проиллюстрировав это двумя строфами из романа «Евгений Онегин», Н. С. Поспелов делает вывод, что перфектное зна-

чение глагольного сказуемого формируется не в структуре предложения как синтаксической формуле, а в предложении как высказывании.

Доклад М. В. Панова «В. В. Виноградов о русском глаголе» был посвящен прежде всего методу, стилю трудов В. В. Виноградова. М. В. Панов говорил о присущей В. В. Виноградову и постепенно исчезающей в наше время способности ученого объединять такие отрасли науки, как лингвистика и литературоведение. Книга В. В. Виноградова «Русский язык. Грамматическое учение о слове» — синтез науки и искусства, ее можно сравнить в этом отношении со «Словарем русского языка» В. И. Даля, который читается, как художественное произведение. Категория вида предстает в книге как процесс борьбы грамматических и лексических сил; лексика оттягивает глаголы друг от друга, а грамматика стягивает, соединяет их в пары. «Грамматика ведет наступление на лексику», «грамматика не может преодолеть сопротивление словаря, а иногда и фонетики» — такие характеристики встречаются в главе о виде глагола, которая представляет собой серьезнейшее и исчерпывающее изложение истории учения о виде от античности до современности, синтез этого учения. По мнению М. В. Панова, из двух существующих в лингвистике путей описания какого-либо явления: 1) классификация по единому основанию, деление на конечное число групп; 2) установление шкалы оттенков и переходных явлений, — В. В. Виноградову свойствен второй путь. На примере его классификации возвратных глаголов, в которой выделены 15 рубрик, можно видеть, насколько метки и многогранны его характеристики каждой группы, насколько богаты оттенками значений возвратные глаголы. Однако воспользоваться этой классификацией, чтобы ввести какой-либо глагол в одну из рубрик, очень трудно — классификация очень тонка и интуитивна. Важной особенностью определений В. В. Виноградова М. В. Па-

нов считает то, что в них улавливается не только индивидуальное, но и общее в грамматической категории, устанавливается инвариантное значение. Так, например, известное определение совершенного и несовершенного вида, подводящее итог всему сделанному в этой области, строится по спирали, развертывающейся от центра (инварианта) к периферии (оттенкам) и охватывающей многообразные факты. Несомненное достоинство трудов В. В. Виноградова — уникальный подбор иллюстраций из художественной литературы, превращающийся в своего рода произведение искусства — монтаж, где примеры объединяются по принципу эмоционального воздействия, контраста, сочетания юмора и лирики и обретают самостоятельную ценность и художественное значение.

Ю. В. Рождественский в своем докладе «Истолкование термина „язык“ в книге В. В. Виноградова „О художественной прозе“ (1930 г.)» обратил внимание слушателей на широчайший диапазон научной деятельности В. В. Виноградова. Его наследие можно разбить на несколько основных тематических серий: 1) история литературного языка, 2) язык русских писателей, 3) теория стиля, 4) история русских грамматических учений, 5) грамматическое учение, 6) лексикографическое учение. Каждая работа В. В. Виноградова воплощает с определенной стороны его общелингвистическую концепцию. Интерес В. В. Виноградова к текстологии, науке о бытовании и построении текстов неизбежно привел его от частных проблем к общим. Докладчик подробно останавливается на ранней книге ученого «О художественной прозе». Эта книга интересна для истории советского языкознания изложенными в ней взглядами на язык вообще и на язык литературно-художественного произведения в особенности. В. В. Виноградов противился очень пространному в 30-е годы стремлению создавать все новые и новые дефиниции языка. Вместо того, чтобы отвечать на вопрос «Что такое язык?», В. В. Виноградов предлагает ответить на другой вопрос — «каков язык в действительности?», считая, что преждевременная дефиниция суживает рамки предмета. «Если теории литературных форм суждено выбраться из тушица, в который она попала..., то средство одно — вернуться от схематизма стилистических суждений, обезличенных и придуренных какой-то голой армией терминов, к „живой воде“ языка литературно-художественных произведений»<sup>1</sup>. Анализируя, как лингвист пользуется материалом литературных произведений для описания языковой системы и, наоборот, как описание язы-

ковой системы используется для анализа литературных произведений, В. В. Виноградов тем самым ставит вопрос о соотношении языкового текста и системы языка. Но ставит он этот вопрос не абстрактно как антиномию языка и речи, а конкретно: лингвистический памятник и «общий» письменный язык современной эпохи. На фоне разнообразия точек зрения на это соотношение, по мысли В. В. Виноградова, рождается лингвистика, охватывающая процесс создания текста, принципы связи системы и текста. В книге предложена серия понятий лингвистики текста, которыми В. В. Виноградов пользовался в своем последующем творчестве.

А. В. Степанов в докладе «О лингвистическом аспекте „образа автора“» показал, что в пределах одного и того же произведения используются разные стили. Лингвистический аспект создается манерой сказа, присоединениями, несобственно-прямой речью, но не исчерпывается этими особенностями. К лингвистическому аспекту «образа автора» нельзя отнести, как это часто делается, формы синтаксической реализации субъекта, выраженного личными местоимениями. В докладе были приведены возражения против слишком широкого, поверхностного, а то и заведомо неверного толкования «образа автора», против смещения этой категории с другими, с нею соотносимыми, но обладающими особым лингвистическим аспектом.

Н. С. Зацепина (Москва)

\*

18—20 июня 1974 г. в Петрозаводске состоялась XV Всесоюзная конференция финно-угроведов, посвященная 250-летию Академии наук СССР. В ее работе приняли участие лингвисты, литературоведы, фольклористы, этнографы, археологи и антропологи РСФСР, Украины и Эстонии. Организаторы конференции: Институт языкознания АН СССР и Институт языка, литературы и истории Карельского филиала АН СССР. Конференцию открыл председатель организационного комитета член-корр. АН СССР Б. А. Серебряников (Москва). Участники конференции приветствовал секретарь Карельского обкома КПСС М. Х. Киуру. На конференции было прослушано и обсуждено более 100 докладов и сообщений. Работало семь секций: диалектологии и лексикологии, языковых контактов и топонимики, литературных языков, фольклора, этнографии, археологии, литературоведения.

На первом пленарном заседании было сделано три доклада. Б. А. Сереб-

<sup>1</sup> В. В. Виноградов, О художественной прозе, Л., 1930, стр. 28.

ренников рассмотрел историю образования наклонений в уральских языках. В ранние периоды своего развития уральский праязык характеризовался отсутствием косвенных наклонений. В отдельных диалектах уральского праязыка позднее возникло так называемое условно-возможностное наклонение с показателем *-ne*, который может восходить к суффиксу многократного действия *-i*. И лишь в более позднюю эпоху в отдельных уральских языках начали возникать новые типы косвенных наклонений. Докладчик установил три основных способа образования условного наклонения и указал на известную ареальную дистрибуцию его типов: 1) использование форм вспомогательного глагола «быть» в языках Волго-Камья; 2) переосмысление значений глагольных словообразовательных суффиксов в финском и саамском языках; 3) переосмысление форм условно-возможностного наклонения, возникшего на поздних этапах развития отдельных диалектов уральского праязыка, в современных обско-угорских языках. Некоторые так называемые изолированные типы косвенных наклонений в отдельных уральских языках (например, аудитив в самодийских языках, ласкательное наклонение в марийском) имеют довольно заметные стилистические ограничения. Развитие абсентива (наклонения неочевидности) на базе форм перфекта в некоторых финно-угорских языках (удмуртском, марийском), по мнению Б. А. Серебrenникова, могло быть ускорено влиянием тюркских языков.

П. Н. Лизанец (Ужгород) в своем докладе «К истории лингвистического картографирования» обосновал необходимость глубокого и всестороннего исследования лексических богатств диалектов современных финно-угорских языков, составления общенациональных, региональных и специальных лексических атласов, открывающих путь к более эффективному изучению этногенетических и культурно-исторических вопросов, а также межплеменных и межнациональных связей.

По мнению П. Н. Паникрушева (Петрозаводск), сделавшего доклад «О племенах с асбестовой керамикой в Карелии и Финляндии», северная ветвь культуры ямочно-зубчатой керамики, охватывавшая территории Карелии и Финляндии, возникла вследствие проникновения сюда численно значительных родоплеменных групп волго-окских протофинно-угров. В конце II и I тысячелетия до н. э. в Карелию и Финляндию проникают родоплеменные группы финно-угров с текстильной керамикой. Первоначальная область обитания этих племен — верховья Волги. Пришельцы с текстильной керамикой, по мнению докладчика, ассимилировали большую часть древне-саамского населения южной Карелии и юго-восточной Финляндии, а частично

оттеснили их в более северные районы.

Остановимся на тематике лингвистических секций.

Интенсивно и плодотворно работала секция диалектологии и лексикологии. На заседаниях этой секции были затронуты общие вопросы финно-угроведения, прибалтийско-финских языков, проблемы мордовской и пермской диалектологии, а также вопросы методики собирания диалектного материала.

На коренных отличиях в методике исследования бесписьменных и младописьменных языков и языков, имеющих древние письменные памятники и богатую литературу, остановился Г. А. Меновщикова (Ленинград), выступивший с докладом «Некоторые вопросы изучения языка в полевых условиях». Этапы полевой работы, по мнению Г. А. Меновщико-ва, всякий раз определяются конкретными, заранее поставленными задачами. Указано также на зависимость методики полевых исследований от характера языковых отношений между исследователем и информантом. Из многих вариантов таких отношений наиболее благоприятной считается ситуация, когда исследователь и информант — билингвы, т. е. знают язык-объект и язык-посредник.

Л. П. Грузов (Йошкар-Ола) посвятил свой доклад вопросам экспериментального исследования природы словесного ударения в финно-угорских языках. Изучение типов этимологических (словообразовательных) связей в финно-угорских языках — тема доклада Д. В. Цыганкина и М. В. Мосина (Саранск). Докладчики отметили, в частности, различную степень связи между родственными языками и разные пути образования производных слов от первичных корней. Р. С. Ширманкина (Саранск) в своем сообщении дала обзор общепермской лексики в составе мордовских фразеологических единиц. Грамматическая структура мордовских терминов родства — тема сообщения Р. В. Бабухиной (Саранск). Большое количество заимствованных элементов — характерная особенность терминологии родства в мордовских языках. Г. И. Ермаушкин (Москва) проанализировал в своем докладе пути развития некоторых форм мордовского объектного спряжения. О терминологии эрзя-мордовской свадьбы сообщение сделала Р. Н. Бузакова (Саранск).

М. Норвик (Таллин), В. Книгсеп и Т. Оянуorme (Тарту) в своих выступлениях остановились на характеристике опыта эстонских лингвистов по хранению и увековечению в звукозаписях диалектных материалов в Институте языка и литературы АН ЭССР и Тартуском государственном университете.

Доклад А. П. Баранцева (Петрозаводск) был посвящен вопросам ме-

тодики исследования спонтанной речи. При расшифровке магнитофонной записи спонтанной речи фиксации подлежат все фонетические явления, как бы экзотичны и странны на первый взгляд они ни были. Для того чтобы быть речевыми документами, полученные текстовые материалы ни во время расшифровки, ни в процессе последующей первичной обработки не должны подвергаться ни грамматической обработке (редактированию), ни произвольному сокращению.

Ю. С. Елисеев (Москва) в своем докладе дал подробную характеристику тенденций в развитии падежных систем в северной группе прибалтийско-финских языков. По мнению А. Лаанеста (Таллин), признак мн. числа *-k* в прибалтийско-финских языках составляет сложную проблему исторической морфологии прежде всего из-за фонетического развития *-k* в конце слова. Факты существования *k* как признака мн. числа малочисленны и однозначное толкование их затруднительно. Проблеме разграничения предлогов-послелогов от существительных и наречий посвятил свое сообщение Р. Карелсон (Таллин). Процесс образования предлогов и послелогов из других частей речи (прежде всего от имени существительного) в прибалтийско-финских языках до сих пор продолжает быть активным процессом. Это обстоятельство порождает трудности при классификации слов и проведении четких границ между предлогами-послелогоми, с одной стороны, и именами существительными и наречиями, с другой. В. П. Федотов (Петрозаводск) охарактеризовала фонетические и грамматические средства, участвующие в процессе фразеологизации в диалектах карельского языка.

В. Е. Злобина (Петрозаводск) сделала доклад об этническом составе и языке финно-хорлаков Омской области. Э. В. Яри (Тарту) посвятил свой доклад характеристике первоначальных суффиксов ливского языка. Факт застывания механизма первоначальных исконных суффиксов ливского языка под влиянием билингвизма ливов представляет большой интерес для общего языкознания. В сообщении А. В. Пунжиной (Петрозаводск) рассмотрен морфологический способ выражения сравнения в калининских говорах карельского языка (аллативом в притяжательном оформлении). Прослежена связь падежеобразной формы аллатива карельского языка в ее компаративной функции с падежеобразной сравнительной формой марийского языка. Об остатках притяжательной суффиксации в вепсском языке сообщила Н. Г. Зайцева (Петрозаводск). А. Кяхрик (Таллин) остановилась в своем сообщении на процессе развития личных окончаний глагола в южном диалекте вепсского языка. Особые случаи вторичной геминации согласных в финских диалек-

тах Ленинградской области рассмотрены в сообщении Л. Я. Галаховой (Ленинград).

История сложения структуры слова в пермских языках была представлена в докладе Т. И. Тепляшиной (Москва). Структура корня слова финно-угорского праязыка (в виде двухсложной основы с конечным кратким гласным) в пермских языках подверглась коренным преобразованиям. Основы финно-угорских слов в коми и удмуртском языках стали односложными в результате отпадения финальных гласных, что привело к существенному изменению структуры всего слова. В. К. Кельмаков (Ижевск) в своем докладе выявил рефлексы древних срединных гласных верхнего подъема в удмуртских диалектах. На материале коми-пермяцких говоров Р. М. Баталова (Москва) рассмотрела соотношение внутренних и внешних тенденций в развитии языка.

Обзор слов, выражающих значения времени и места в языках угорской группы, был дан в сообщении М. П. Баландиной (Ленинград). В своем сообщении Н. И. Гладкова (Ленинград) пришла к выводу, что в тунгусо-маньчжурских языках наречия со значением времени и места бытуют значительно шире, чем в финно-угорских языках, где они, как правило, перешли в разряд предлогов и послелогов. На основе сопоставительного анализа лексического материала венгерских говоров новые этимологии для ряда слов предложил А. А. Мокань (Ленинград). О нагруске фонемы *ǣ* в венгерских говорах Потисья сделала сообщение К. И. Горват (Ужгород). Е. И. Ромбандеева (Москва) в своем выступлении остановилась на вопросах происхождения и функционирования артиклей *án, akw* в мансийском языке.

Тематика докладов, состоявшихся на заседаниях секции языковых контактов и топонимики: взаимоотношения между отдельными финно-угорскими языками, между финно-угорскими языками и русским, контакты между финно-угорскими и тюркскими языками. По топонимике состоялось два доклада. М. Хьямяляйнен (Петрозаводск) в своем докладе рассмотрел прибалтийско-финскую топонимику Ленинградской области. Особенности развития карельской микротопонимики — тема доклада Н. Н. Мамонтовой (Петрозаводск).

По общим вопросам контактирования языков выступил председатель секции И. С. Галкин (Йошкар-Ола). А. С. Герд и З. М. Дубровина сделали доклад о типе звукообразовательных и изобразительных глаголов, заимствованных из вепсского и карельского языков в русские говоры Карелии.

Рассмотрен на материале финских диалектов Ленинградской области финско-

русские языковые связи, А. И. Кукконен (Ленинград) в своем докладе приходит к выводу, что фонетическая система речи финского населения указанного ареала имеет тенденцию сближаться с фонетической системой русского языка. Влияние русского языка на синтаксис коми-пермяцкого языка, по мнению А. С. Кривошековой-Гантман (Пермь), проявляется как в прямом использовании существующих продуктивных моделей синтаксиса русского языка, так и в активизации и развитии некоторых исконных синтаксических явлений, функционально соответствующих широко распространенным конструкциям русского языка.

Н. М. Терещенко (Ленинград) в докладе «Влияние русского языка на язык иганасанов» при рассмотрении лексических заимствований предложил ограничивать заимствованное слово от новых слов, образованных на его основе. Е. С. Гуляев (Сыктывкар) в своем выступлении обосновал прибалтийско-финское происхождение целого ряда лексем коми языка. Лексические соответствия собственно карельского и кольско-саамских диалектов были рассмотрены в сообщении П. М. Зайкова (Петрозаводск). Наибольшую группу сходных по семантике слов образует в указанных диалектах оленеводческая терминология.

В докладе И. В. Тараканова (Ижевск) проведена подробная классификация грамматических функций служебных слов тюркского происхождения в удмуртском языке, даны общие выводы о месте и значении служебных слов, заимствованных финно-угорскими языками из тюркских.

Семь докладов и сообщений было заслушано на заседаниях секции литературных языков. Изложив историю образования форм настоящего времени в финно-угорских языках, К. Е. Майтиска (Москва) в своем докладе приходит к заключению, что изменение типа образования форм настоящего времени объясняется изменением структуры финно-угорских языков: в финно-угорском языке-основе глагол и имя теснее соприкасались друг с другом, позднее же, когда эти лексико-грамматические категории все больше и больше отдалялись друг от друга, более естественным стало развитие презенсных показателей от глагольных словообразовательных суффиксов. О типах связи слов в предложении марийского языка рассказал Н. Т. Пенгитов (Йошкар-Ола). И. С. Бузак (Саранск) сделал доклад об особенностях синтаксических конструкций причинно-следственного характера в мордовских языках. Сообщение В. И. Учкиной (Саранск) было посвящено характеристике инфинитива в мордовских языках.

По мнению И. Г. Ивановой (Йош-

кар-Ола), первый период развития марийского литературного языка (1917—1937) характеризовался глубоким сознательным вмешательством общества в языковые процессы, значительным расширением функциональной нагрузки, что вызвало активизацию всех языковых процессов в марийском литературно-письменном языке. Задача языковой консолидации вызвала широкое обсуждение диалектной основы марийского литературного языка. Борьба за единый литературный язык — одна из особенностей языкового строительства 20-х годов.

Проблемы удмуртского литературного языка — тема выступления В. М. Вайрушева (Ижевск). Касаясь противоречивых высказываний по вопросам возникновения письменности и формирования удмуртского литературного языка, докладчик отметил, что классификация литературных языков на младописьменные и старописьменные не всегда точно отражает реальное положение вещей. Так, удмуртский язык до недавнего времени относился к младописьменным, обычно понимая под этим термином возникновение письменности и литературного языка лишь в послереволюционный период.

В истории формирования и развития удмуртского литературного языка, бесспорно, сыграл определенную роль и дореволюционный период в смысле создания алфавита, издания известной литературы и т. д. Поэтому, по мнению докладчика, справедливо отнести удмуртский, коми, мари и мордовские языки, как это делает В. И. Лыткин в последних своих работах, к «старописьменным языкам с небольшой дореволюционной литературой». В сообщении А. П. Феоктистова (Москва) были затронуты некоторые вопросы периодизации истории мордовских литературных языков.

На заключительном пленарном заседании конференции были подведены итоги работы секций. Всего состоялось 100 секционных докладов и сообщений, в том числе в лингвистических секциях 48, в секции фольклора — 12, этнографии — 11, археологии — 18 и в секции литературоведения — 11. По предложению финно-угроведов Коми АССР решено провести следующую всесоюзную конференцию финно-угроведов в г. Сыктывкаре в 1979 г. — за год до созыва V Международного финно-угорского конгресса (1980). В принятой резолюции отмечена необходимость усиления координационной работы, которую должен обеспечивать Советский комитет финно-угроведов. Существенную помощь призван оказать журнал «Советское финно-угроведение» оперативной информацией о книжных новинках и всех событиях в области финно-угристики. Решено также в 1977 г. провести симпозиум по актуальным проблемам финно-угорского языкознания и литературоведения (г. Ужгород). Намечено

проведение симпозиумов и по другим отраслям финно-угроведения, в частности — симпозиума по этногенезу народов Поволжья. Подчеркнута необходимость расширения тематики журнала «Советское финно-угроведение».

А. П. Феокистов (Москва)

\*

В г. Пензе 12—15 сентября 1974 г. состоялась V конференция по ономастике Поволжья. В конференции приняли участие языковеды, этнографы, географы, биологи и представители других наук из многих городов Поволжья, а также из Баку, Балашова, Кемерово, Майкопа, Ташкента и Элисты — всего 73 докладчика.

На пленарном заседании проблемно-методологические доклады сделали В. Д. Бондалетов (Пенза) — «Методы сравнительно-сопоставительного изучения ономастики» и В. А. Никонов (Москва) — «Основы названия». Оба ученых отстаивали справедливый тезис, что ономастика и по объекту исследования и, значит, по методике и методологии — наука прежде всего лингвистическая и не может развиваться вне языкознания, хотя и опирается на географию, историю человеческого общества, биологию, астрономию и т. д. В. Д. Бондалетов при этом на ряде убедительных примеров показал возможность и важность статистического изучения ономастики.

В этнонимической секции выступили с докладами: В. В. Пименов и Т. П. Федянович (Москва) — «Из этнонимии мордвы», Н. Д. Русинов (Горький) — «Белая Русь Волго-Окского междуречья» и Н. Ф. Мокшин (Саранск) — «Как мордва называла чувашей».

Из докладов по антропонимии одни были посвящены словообразованию, другие — фонетико-семантической истории, третьи — прошлому и современному использованию антропонимов. При этом анализировались названия восточнославянского, финского и тюркского употребления: О. Н. Столярова и Н. С. Комарова (Пенза) рассказали о степени употребительности в Пензенской обл. разных оценочных форм личных имен, Т. А. Кильдибекова и А. Н. Тарусина (Уфа) — о личных именах русских жителей Уфы, Э. В. Самсонова (Пенза) — о именах, фамилиях и прозвищах в дер. Волженка, Пензенской обл., Р. Х. Субаева (Казань) — о переменах татарских имен, отчеств и фамилий по материалам ЗАГС Татарии, Р. Л. Сельвина (Элиста) — об особенностях прошлого и современного состояния системы калмыцких личных имен, Т. П. Федянович (Москва) — о результатах сопоставления фамилий русского и мордовского населения Мор-

довии, И. Д. Воронин (Саранск) — о характере и причинах двухфамильности многих жителей Саранска в XVII—XIX вв., И. Д. Воронин (Саранск) и Г. В. Еремиян (Пенза) — об антропонимах Пензенщины в XVII в., Т. И. Тепляшина (Москва) — о замене тюркского именина русским (с добавлением русских отчеств и фамилий) у удмуртов Куединского района Пермской обл. на протяжении 1929—1970 гг., Э. М. Бравичева и Е. Ф. Данилина (Пенза) — об антропонимической системе села Капанска Пензенской обл., Н. Ф. Мокшин (Саранск) — о превращении мордовского названия племенного вождя *тышты* (из *техи* «верх» и *агы* «старик») в антропоним, Г. Ф. Саттаров и Р. Х. Субаева (Казань) — о парных именах в татарской антропонимии, С. Я. Макарова (Пенза) — о перифрастических заменах личных имен в художественной и публицистической литературе Поволжья, М. Г. Свотина (Балашов) — о наблюдениях над личными именами в произведениях публицистов XIX в. поволжского происхождения, В. И. Тагунова (Муром) — об отражении этико-эстетических взглядов жителей Поволжья в прозвищах, И. Т. Сергеев (Чебоксары) — о прозвищной функции некоторых антропонимов (вроде *Емеля*, *Иванушка*, *Олух*) в русских говорах Поволжья, Л. В. Сяляндина (Куйбышев) — о прозвищах в речи сельской молодежи Куйбышевской обл.

В прениях по антропонимическим докладам особенно дебатировался вопрос о научном определении прозвища: было выдвинуто несколько рабочих формулировок, но ни одна не оказалась достаточно полной и четкой, чтобы быть принятой.

Из докладов по топонимии некоторые представляли собою анализ происхождения и изменения семантики и форм отдельных топонимов или их групп, другие содержали анализ целых топонимических пластов и систем: В. А. Кучкин (Москва) рассказал о названиях московских волостей XIV в., И. В. Власова (Москва) — о топонимах на *-иза* в северном Заволжье, И. Г. Долгов и Г. Н. Несина (Волгоград) — о словообразовательных вариантах названий населенных пунктов Волгоградской обл., В. И. Тагунова (Муром) — о предположительно иранском происхождении топонимов с сочетанием *хр* в основе на территории Почья, Н. К. Пригарина (Волгоград) — о заволжской топонимии Волгоградской обл., И. Л. Минцизон (Горький) — о миграции населения в Нижегородском Поволжье по данным фитотопонимов, Г. В. Еремиян (Пенза) — о происхождении названий железнодорожных станций в Пензенской обл., А. Г. Шайхулов (Уфа) — о топонимах тюркского происхождения на территории Башкирии, Д. В. Цыганкин (Саранск) — об архаичных мордовских признаках в топонимии Мор-

довской АССР, Ф. Г. Гарипова (Казань) — об этнолингвистических пластах гидронимии татарского Заказанья, Р. З. Шакурова (Уфа) — о числительных и нумеративах в башкирской топонимии и о башкирских топонимических образованиях от названий типов построек, жилищ, стоянок и поселений, А. А. Камалов (Уфа) — о создателе первого топонимического словаря Башкирии П. И. Рычкова и о кыпчакских элементах в башкирской топонимии, Р. Х. Халикова (Уфа) — о топонимах в башкирских родословных книгах (шежере) XVI—XVIII вв., Ф. Х. Хисаметдинова (Уфа) — об особенностях гидронимов Белорецкого района Башкирии, Г. А. Архипов (пос. Яр Удмуртской АССР) — о переходе удмуртских географических терминов в топонимии, В. М. Петрушина (Пенза) — о микротопонимии с. Инкино Горьковской обл., В. В. Тикшаева (Пенза) — о микротопонимах г. Кузнецка Пензенской обл., Г. Г. Гареева и А. А. Камалов (Уфа) — о названиях улиц г. Уфы, А. С. Гантман (Пермь) — о микротопонимии Коми-Пермяцкого округа, Л. Г. Хабибов (Уфа) — о лексико-семантических особенностях микротопонимии бассейна р. Пьюй в Башкирии.

В прениях по топонимическим докладам наибольшие споры вызвали этимологические толкования и статистический анализ наименований.

По ктматологии состоялся доклад М. Н. Морозовой (Москва) «О названиях культурно-бытовых учреждений поволжских городов», а по космонимии сделали сообщения В. Д. Бондалетов — «Названия Млечного Пути на территории Поволжья» и Л. В. Карпова (Пенза) — «Названия обеих Медведиц на территории Пензенской обл.». Антропонимо-топонимическим оказался доклад Г. Ф. Саттарова — о монголизмах в ономастике Татарии.

В некоторых докладах была затронута экстрарегиональная проблематика. Так, Б. А. Старостин (Москва) указал на ряд новых методологических проблем исследования собственных имен, Е. Н. Полякова (Пермь) охарактеризовала источники изучения русских неполных и «печочных» имен прошлого, Б. Ф. Захаров (Саранск)

подверг анализу терминологически устойчивые сочетания с именами собственными в русском языке, В. А. Фролова (Майкоп) изложила свои приемы отграничения личных имен от прозвищ, Т. В. Непомнящая (Волгоград) сообщила о наблюдениях над лексико-семантическими особенностями названий городов советской эпохи, Т. И. Суркова (Пенза) — над морфологическим словообразованием псевдонимов русских писателей XIX—XX вв., А. Г. Силаева (Пенза) — над фонетической выразительностью антропонимов в художественной литературе, А. С. Гантман (Пермь), Е. Ф. Данилина (Пенза) и С. И. Зинин (Ташкент) поделились опытом вузовского преподавания спецкурсов по топонимике и антропонимике.

На заключительном пленарном заседании с анализом итогов конференции выступили В. А. Никонов, В. И. Тагунова, В. Н. Морозова, Н. Д. Русинов и В.\*Д. Бондалетов. Они констатировали, что V конференция по ономастике Поволжья, как и предыдущие, дала много нового материала для обобщений, для теоретического развития и прикладного использования ономастической науки. Вместе с тем было отмечено, что некоторые исследования по ономастике, как показали доклады, ограничиваются лишь систематизированным описанием фактов — без попытки их анализа, что при статистическом анализе ономастики обычно игнорируются математические методы теории вероятностей и теории информации, что ономатологи-нелингвисты прибегают к этимологическому анализу изучаемых явлений часто без достаточных знаний по теории исторического языкознания и по конкретной истории соответствующих языков, что ту же болезнь обнаруживают ономатологи-нелингвисты в попытках решить вопросы этнической истории с помощью топонимического и антропонимического материала. Наконец, было высказано сожаление, что на конференции не присутствовали представители иранского и балтийского языкознания, хотя в топонимии Поволжья имеются названия древнеиранского и древнебалтийского происхождения.

*Н. Д. Русинов (Горький)*

**СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ  
ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ  
В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»**

- БЕ — «Български език»  
ВЯ — «Вопросы языкознания»  
ВИ — «Вопросы истории»  
ВСЯ — «Вопросы славянского языкознания»  
ВФ — «Вопросы философии»  
ВДИ — «Вестник древней истории»  
ИАН ОЛЯ — «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка»  
ИАН ОТН — «Известия АН СССР. Отделение технических наук»  
«Р. яз. в шк.» — «Русский язык в школе»  
«Ин. яз. в шк.» — «Иностранные языки в школе»  
РФВ — «Русский филологический вестник»  
ЖМНП — «Журнал Министерства народного просвещения»  
ЗВО РАО — «Записки Восточного отделения Русского археологического общества»  
ИОРЯС — «Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук  
(Росс. АН), АН СССР»  
СБНУ — «Сборник за народни умотворения»  
ФН — «Доклады высшей школы. Филологические науки»  
ADAW — «Abhandl. der Deutschen (Berliner) Akad. der Wissenschaften», Klasse für  
Sprachen, Literatur und Kunst  
AfsIph — «Archiv für slavische Philologie»  
AKGW — «Abhandl. der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen»  
AL — «Acta linguistica»  
AO — «Archiv orientalni»  
APAW — «Abhandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften», Philosoph.-hist. Klasse  
BPTJ — «Biuletyn Polskiego towarzystwa językosnawczego»  
BSLP — «Bullétin de la Société de linguistique de Paris»  
BSOS — «Bulletin of the School of Oriental studies»  
BCLC — «Bullétin du Cercle Linguistique de Copenhague»  
BzNf — «Beiträge zur Namenforschung»  
CFS — «Cahiers F. de Saussure»  
IF — «Indogermanische Forschungen»  
IJ — «Indo-Iranian journal»  
IJAL — «International journal of American linguistics»  
JA — «Journ. asiatique»  
JASA — «Journ. of the Acoustical society of America»  
JEGPh — «Journ. of English and Germanic philology»  
JФ — «Јужнословенски филолог»  
JP — «Język polski»  
JRAS — «Journ. of the Royal Asiatic society»  
JRSS — «Journ. of the Royal statistical society»  
ISFOu — «Journ. de la Société finno-ougrienne»  
KZ — «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermani-  
schen Sprachen»

- MSLP — «Mémoires de la Société de linguistique de Paris»  
MSFOu — «Mémoires de la Société finno-ougrienne»  
MSOS — «Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin»  
NTS — «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap»  
PBB — «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur» (Tübingen u  
Halle)  
PMLA — «Publications' of the modern language association of America»  
REG — «Revue des études grecques»  
RESL — «Revue des études slaves»  
RF — «Romanische Forschungen»  
RKJL — «Rozprawy Komisji językowej Łódźk. t-wa naukowego»  
RKJW — «Rozprawy Komisji językowej Wrocławsk. t-wa naukowego»  
RLR — «Revue de linguistique romane»  
RO — «Rocznik orientalistyczny»  
SaS — «Slovo a slovesnost»  
SMS — «Sbornik matice slovenskej pre jazykozpyt, národopis a literárnu históriu»  
SDAW — «Sitzungsberichte der Deutschen Akad. der Wissenschaften», Phil.-hist. Klasse  
für Sprachen Literatur und Kunst  
SPAW — «Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften»  
Stud. or. — «Studia orientalia»  
SWAW — «Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften»  
TCLC — «Travaux du Cercle linguistique de Copenhague»  
TCLP — «Travaux du Cercle linguistique de Prague»  
UAJb — «Ural-Altäische Jahrbücher»  
UJB — «Ungarische Jahrbücher»  
ZfceltPh — «Zeitschrift für celtische Philologie»  
ZfPh — «Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft»  
ZfS — «Zeitschrift für Slavistik»  
ZfslPh — «Zeitschrift für slavische Philologie»  
ZfromPh — «Zeitschrift für romanische Philologie»  
ZfdPh — «Zeitschrift für deutsche Philologie»  
ZDMG — «Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft»

## CONTENTS

**Articles:** V. I. Georgiev (Sofia). Indo-European linguistics today; **Discussions:** A. S. Melničuk (Kiev). Philosophical problems of linguistics; A. M. Šerbak (Leningrad). On the origin of the verb in Turkic languages; D. J. Edel'man (Moscow). Genesis of the vigesimal system of numerals; Z. M. Volockaja (Moscow). On the comparative description of Slavonic languages; T. G. Vinokur (Moscow). Synonymy in its functional-stylistic aspect; **Materials and notes:** J. A. Ossoveckij (Moscow). On the language of Russian traditional folklore; E. V. Kuznečova (Sverdlovsk). Parts of speech and lexico-semantic word-groups; O. D. Kuznečova (Leningrad). Words with prothetic *j* in Russian territorial dialects; A. T. Krivonosov (Kalinin). The interpenetration pattern of unchangeable word-classes; E. Peruzzi (Florence). Mycaenean language elements in Latin; P. Ondrus (Bratislava). On the specific features and classification of social dialects; K. J. Khodova (Moscow). Variability and synonymy in the grammar of Old Slavonic nouns; **From the history of science:** A. A. Alekseev (Leningrad). Academician A. J. Sobolevskij as a historian of the Russian language.

## SOMMAIRE

**Articles:** V. I. Georgiev (Sofia). La linguistique indo-européenne aujourd'hui; **Discussions:** A. S. Mel'nicuk (Kiev). Problèmes philosophiques de la linguistique; A. M. Šerbak (Léningrad). Sur l'origine du verbe dans les langues turques; D. J. Edel'man (Moscou). A propos de la genèse du système vigesimal; de numéraux; Z. M. Volockaja (Moscou). Pour une description comparée des langues slaves; T. G. Vinokur (Moscou). La synonymie sous l'aspect fonctionnel et stylistique; **Matériaux etnotices:** J. A. Ossoveckij (Moscou). Sur la langue du folklore traditionnel russe; E. V. Kuznečova (Sverdlovsk). Parties du discours et groupes lexico-sémantiques; O. D. Kuznečova (Léningrad). Mots avec le *j* prothétique dans les parlers russes; A. T. Krivonosov (Kalinin). Système de la perméabilité dans les classes de mots invariables; E. Peruzzi (Florence). Eléments mycéniens en latin; P. Ondrus (Bratislava). Contribution à l'étude et à la classification des dialectes sociaux; K. J. Khodova (Moscou). Variabilité et synonymie grammaticales du nom en vieux-slave; **De l'histoire de la linguistique;** A. A. Alekseev (Léningrad). L'academicien A. J. Sobolevskij, historien de la langue russe.

The Editorial Board of the journal «Voprosy Jazykoznanija» expresses its appreciation to the Publishers who send us their books for review. The Editorial Board regrets that it cannot guarantee the reviewing of all the books received due to space limitations. Two offprints of each review will be sent to the Publishers. Books received are not returned.

•

Le Comité rédaction de «Voprosy Jazykoznanija» tient à exprimer sa profonde reconnaissance à toutes les Maisons d'édition qui lui font parvenir leurs nouvelles parutions pour critique. Le Comité de rédaction ne peut pas garantir la publication d'un compte-rendu pour chaque livre reçu à la rédaction. Les comptes-rendus seront publiés selon les possibilités de la rédaction. Deux tirages-à-part seront envoyés en ce cas aux Maisons d'édition respectives. Les livres reçus à la rédaction ne sont pas rendus aux éditeurs.

■

Die Redaktion Der Zeitschrift «Voprosy Jazykoznanija» spricht allen Verlagen, die uns Rezensionsexemplare zukommen lassen, ihren tiefempfundenen Dank aus. Die Redaktion gibt bekannt, daß leider nicht alle bei uns einlaufenden Bücher besprochen werden können. Die Rezensionen werden den Möglichkeiten unserer Zeitschrift entsprechend veröffentlicht. Der Verlag erhält zwei Sonderabdrücke. Die von der Redaktion erhaltenen Bücher werden nicht an den Herausgeber zurückgesandt.

## К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 24 стр., объем рецензии 10 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

4. При ссылках (в тексте и сносах) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

6. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

7. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и печатко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

8. Неприятые рукописи, как правило, не возвращаются.

9. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

10. Хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни. Объем хроникальной заметки — 3—5 стр.

Технический редактор *Т. Н. Сенченко*

---

Сдано в набор 27/VI-1975 г. Т-10580 Подписано к печати 8/IX-1975 г. Тираж 7085 экз.  
Зак. 2527 Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub> Усл. печ. л. 15.4 Бум. л. 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Уч.-изд. л. 17,3

---

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10